



Scan Kreyder - 02.05.2019 - STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

---

\* \* \*

Советская литература





Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ

---

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ



МОСКВА  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
1991

ББК 84Р7  
312

Составление, вступительная статья и примечания  
Никиты Заболоцкого

3  $\frac{4702010202-242}{028(01)-91}$  82-91

ISBN 5-280-01675-6

© Составление, вступительная статья,  
примечания. Издательство «Художест-  
венная литература», 1991 г.

---

## ПУТЬ ЗАБОЛОЦКОГО

«Моя жизнь навсегда связана с искусством. Вы это знаете. Вы знаете — каков путь писателя. Я отрекся от житейского благополучия, от «общественного положения», оторвался от своей семьи — для искусства. Вне его я ничто». Так писал Николай Алексеевич Заболоцкий в письме к своей будущей жене в конце 1928 года, когда после долгих и мучительных поисков он уже уверенно чувствовал себя в поэзии и готовил к печати свою первую книгу стихотворений «Столбцы».

Преданность своему делу была характерной чертой поэта, и, несмотря на трудную жизнь и неблагоприятные условия для развития и проявления его таланта в 30-х, 40-х и 50-х годах, он сумел вписать новое, весомое слово в русскую поэзию. Его литературное наследие сравнительно невелико — оно включает томик стихотворений и поэм, несколько томов поэтических переводов классических и современных советских и зарубежных поэтов, произведения для детей, немногочисленные статьи и заметки о литературе, письма. И за каждой его строкой встает образ сдержанного, не терпящего никакой позы, требовательного к себе, верного своим убеждениям, немного ироничного, проникновенного человека. А тем, кто пристальнее взглянется в личность Заболоцкого и вчитается в строки его стихотворений, откроется упорная работа мысли, преодоление страданий и сомнений, скрытая игра страстей и вдохновения. Недаром в одном из писем он писал: «Стихотворение подобно человеку — у него есть лицо, ум и сердце. Если человек не дикарь и не глупец, его лицо всегда более или менее спокойно. Так же спокойно должно быть и лицо стихотворения. Умный читатель под покровом внешнего спокойствия отлично видит все игралище ума и сердца».

Н. А. Заболоцкий родился в 1903 году в Казани, где его отец заведовал земской сельскохозяйственной фермой. Когда мальчику исполнилось семь лет, семья переехала в село Сернур (ныне это районный центр Марийской ССР) и уже в 1917 году в город Уржум Вятской губернии. Отец-агроном надеялся сделать из старшего сына своего преемника и не раз брал его в служебные поездки по окрестным полям и деревням.



С ранних лет поэт полюбил природу, узнал, как живут и трудятся крестьяне, понял, в чем смысл научного преобразования сельского хозяйства. Впечатления детства дали богатый материал для будущих размышлений Заболоцкого над взаимоотношениями человека и природы. «Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах,— писал он в автобиографическом очерке «Ранние годы»,— но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях». Но не поездки с отцом, не химические опыты в чулане родительского дома и даже не острые впечатления от лесов, полей и речек чудесного Вятского края решили судьбу Заболоцкого. Семилетним ребенком он выбрал свою профессию около отцовского книжного шкафа, где были собраны произведения русской и мировой классики, комплекты журнала «Нива». Потом он вспоминал, что с семилетнего возраста начал писать стихи, а к двенадцати годам уже порядочно знал русскую литературу. Книги так поразили воображение мальчика, что он твердо и на всю жизнь решил посвятить себя писательскому делу. Это было настолько фатально и почти сверхъестественно, что, будучи взрослым человеком, он сам удивлялся и в стихах, обращенных к своей музе, восклицал:

Ты сама меня выбрала,  
И сама ты мне душу пронзила,  
Ты сама указала мне  
На великое чудо земли...

В 1920 году, окончив Уржумское реальное училище, Заболоцкий покинул родительский дом и направился сначала в Москву, а на следующий год — в Петроград, где поступил на отделение языка и литературы Педагогического института имени А. И. Герцена. Будучи студентом, он настойчиво искал свой путь в поэзии, но долгое время собственного голоса не находил. К опыту старших современников он относился настороженно. После первого увлечения отверг в качестве непосредственных учителей И. Северянина, К. Бальмонта, А. Блока, С. Есенина, А. Ахматову, В. Маяковского. В юности его особенно интересовали символисты. Его привлекало их активное, личностное осмысление внешних проявлений жизни, но отталкивало стремление превратить объективное бытие лишь в символ, за которым скрываются собственные творческие опыты и фантазии. Из старых поэтов на всю жизнь полюбил Г. Державина, А. Пушкина, Ф. Тютчева, Е. Баратынского, Гете, с большим увлечением изучал поэзию О. Мандельштама и особенно В. Хлебникова. В круг своих интересов он включил важнейшие проблемы времени. В одном из писем конца 1921 года писал: «Родина, мораль, религия — современность — революция — точно тяжелая громада, висят над душой эти гнетущие вопросы». Заболоцкий-студент порой с отчаянием думал о своем неустроенном душевном хозяйстве, о своем «сердце-пустыре» (так он назвал свое стихотворение той поры), полном хаоса впечатлений и неупорядоченных чувств. В основу своей жизненной программы он возвел принцип самодисциплины и самосовершенствования, которому стремился следовать всегда. В автобиографии он писал: «В 1925 году я окончил институт. За

моей душой была объемистая тетрадь плохих стихов, мое имущество легко укладывалось в маленькую корзинку».

Два обстоятельства способствовали утверждению творческой позиции и своеобразной поэтической манеры Заболоцкого — его участие в литературном содружестве, называемом объединением реального искусства, сокращенно Обериу, и увлечение живописью П. Филонова, М. Шагала, К. Малевича, Питера Брейгеля. С новыми друзьями — поэтами Д. Хармсом, А. Введенским и другими обериутами Заболоцкого сближали стремление вырваться за рамки старых традиционных школ, увлечение стихами Хлебникова и настойчивые поиски новых приемов в поэзии. Обериуты пытались взглянуть на мир «голым глазом» с тем, чтобы увидеть его очищенным от привычных представлений и штампов. Для выражения своих наблюдений они широко применяли алогичную метафору, парадокс, неожиданные столкновения словесных смыслов. Однако, усваивая завоевания новой, авангардистской поэзии, Заболоцкий всегда придавал большое значение смысловой нагрузке стиха, что в конце концов привело к его отдалению от обериутов и к прояснению стиля.

В 20-х же годах проявилась другая важная особенность поэтической манеры Заболоцкого — умение видеть мир глазами художника-живописца и мыслить пространственными образами. Такая способность позволила ему использовать опыт не только поэзии, но и живописи, особенно любимого им Павла Филонова. Сам поэт сознавал, что его образная система тяготеет к творчеству определенного круга художников. Уже в конце жизни в подготовленную им книжку своих ранних стихов он вклеил и вложил репродукции нескольких картин Руссо, тем самым признав близость своих ранних произведений к живописной манере этого художника.

Итак, в 1926 году студенческий период ученичества, поисков, становления в поэзии как-то сразу перешел в стадию зрелости, и поэт стал работать как мастер, используя и совершенствуя найденный метод. Из написанных тогда стихотворений можно выделить четыре наиболее удачных: «Белая ночь», «Красная Бавария» («Вечерний бар»), «Лицо коня» и «Деревья» («В жилищах наших»). Первые два посвящены городской теме и открывают собой ряд произведений блестящего гротеска, преобладавшего в творчестве Заболоцкого 1926—1928 годов и принесшего ему известность среди любителей поэзии. Другие — «Лицо коня» и «В жилищах наших» — ознаменовали собой появление натурфилософского направления, которое начиная с 1929 года станет определять тематику Заболоцкого. Первые строчки одного из этих стихотворений как будто предсказывают и объясняют грядущую метаморфозу:

В жилищах наших  
Мы тут живем умно и некрасиво.  
Справляя жизнь, рождаясь от людей,  
Мы забываем о деревьях.

Рождение Заболоцкого-поэта происходило в трудные годы становления Советского государства, ликвидации разрухи после гражданской войны, введения новой экономической политики. Приехав в Петроград из далекой провинции, он увидел большой город со всеми его контрастами,

всем неприглядным и порочным, что заметно усугубилось трудностями переходного периода. Быт ограниченных обывателей города 20-х годов казался поэту особенно отталкивающим и уродливым. После жизни среди вятской природы молодой человек с удивлением первооткрывателя наблюдал грязные, мрачные каменные колодцы дворов, зловонные выгребные ямы, рынки и толкучки, наполненные спекулянтами, нищими и калекками, пошлость и бездуховность мещанской стихии города. Ему казалось, что пренебрежение естественным существованием человека в единстве и согласии с природой духовно обедняет городских жителей и приводит их к губительному подчинению вещам и быту. И он пишет об этом быте, сознательно гиперболизируя его отрицательные черты. Таковы «Красная Бавария», «Белая ночь», «Новый быт», «Ивановы», «Свадьба», «Народный дом». Но, чуждый и зловещий, город одновременно притягивал поэта особой привлекательностью и какой-то филоновской живописностью. Он признавался: «Знаю, что запутываюсь в этом городе, хотя дерусь против него». В результате в его городских стихах звучит не только гротеск сатиры, но и мотивы раблезианства, карнавальная пляска, цирковой феерии.

Первая книжка Заболоцкого «Столбцы» (1929 г., 22 стихотворения) выделялась своей оригинальностью даже на фоне разнообразия поэтических направлений в те годы и имела шумный успех. В печати появились отдельные одобрительные отзывы, автора заметили и поддержали В. А. Гофман, В. А. Каверин, С. Я. Маршак, Н. Л. Степанов, Н. С. Тихонов, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум... Однако время появления книжки было совсем неподходящим для ее объективной оценки. В условиях, когда в стране был выдвинут лозунг о неизбежном обострении классовой борьбы при наступлении социализма, рапповские критики стали искать классовых врагов в литературе и, в частности, дружно ополчились на Заболоцкого. Его дальнейшая творческая судьба осложнилась превратным, иногда прямо-таки враждебно-клеветническим толкованием его произведений. Но еще до этих яростных критических ударов поэт стал задумываться над путями своего дальнейшего творческого движения. Он чувствовал, что разработанный им блестящий, гротескный метод не универсален. Он годился для стилизованного, живописного изображения города, но не подходил для выражения откровенных душевных движений и мыслей о величии и трагизме природы. Еще в 1928 году в литературном приложении к газете «Ленинградская правда» были опубликованы стихотворения «Руки» и «Обед», свидетельствующие о новых поисках Заболоцкого. В начале следующего года он дополнил «Обед» строфой, тематически связанной с написанным в 1926 году стихотворением «В жилищах наших», строфой, в которой провозгласил свою основную тему:

...Когда б видали мы  
Не эти площади, не эти стены,  
а недра тепловатые земель,  
согретые весеннею истомой;  
когда б мы видели в сиянии лучей  
блаженное младенчество растений,—  
мы, верно б, опустились на колени  
перед кипящею кастрюлькой овощей.

Заболоцкий сделал как раз то, о чем написал: он отвел свой взор от площадей и стен города и преклонил колени перед растениями и животными, связанными с человеком родственными узами и ждущими избавления от вековечного взаимного уничтожения и страданий.

В 1929—1930 годах была написана поэма «Торжество земледелия», посвященная взаимоотношениям человека и природы. С самого начала работы был намечен ее стержень — от хаоса к научной упорядоченности мироздания, от эгоизма к мудрости коллективного преобразования земледелия и всей природы, от животного существования предков к победе разума. Поэту казалось, что все живое, пронизанное зачаточным грубым сознанием, ждет от человеческого разума прекращения бездумной эксплуатации растений и животных. Человек и его борьба за социальную справедливость представлялись ему залогом освобождения всей природы от изначальной жестокости, косности, подавления слабого сильным и началом вовлечения всех ее элементов в разумно устроенную жизнь. Заболоцкий хорошо помнил слова Хлебникова «Я вижу конские свободы и равноправие коров».

В круг интересов поэта все более входили философские проблемы естествознания. Он читал труды Платона, Энгельса, Вернадского, Григория Сковороды... В начале 1932 года познакомился с работами Циолковского, которые произвели на него неизгладимое впечатление. В письме к ученому и великому мечтателю писал: «...Ваши мысли о будущем Земли, человечества, животных и растений глубоко волнуют меня, и они очень близки мне. В моих ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их».

В начале 30-х годов были написаны поэмы «Безумный волк», «Деревья», «Птицы», несохранившаяся поэма «Облака», стихотворения «Школа Жуков», «Венчание плодами», «Лодейников» — произведения, развивающие натурфилософскую концепцию, которая явно или косвенно служила основой и для более поздних стихотворений Заболоцкого о природе. В основе этой концепции — представление о мироздании как единой системе, объединяющей живые и неживые формы материи. Вечное взаимодействие и взаимопревращение разнообразных материальных форм позволяло представить себе все сущее равно в едином составе чудного тела природы. И тогда смерть становилась неотъемлемым элементом великой жизни, а разум человека делался общим достоянием и животных, и птиц, и деревьев, и даже камней, рек и озер. А в могучем составе этого всеобъемлющего тела поэту чудился скрытый закон движения в сторону совершенствования мироздания и воцарения в нем нравственной чистоты и гармонии. Направляющей и организующей силой поступательного развития природы является присущее ей сознание, которое, по выражению К. А. Тимирязева, «глухо тлеет в низших существах и только яркой искрой вспыхивает в разуме человека». Поэтому именно человек призван взять на себя заботу о преобразовании «вековечной давилки» природы, руководствуясь в своей творческой деятельности ее же мудрыми законами.

Публикация «Торжества земледелия» в 1933 году вызвала новую волну травли Заболоцкого. Совсем недавно войдя в литературу, он уже оказался с клеймом поборника формализма и апологета чуждой идеологии. Составленная им новая, готовая к печати книга стихов (1933 г.) не смогла увидеть свет. Угрожающие политические обвинения в критических статьях и крушение надежд на сборник стихотворений все более убеждали поэта, что ему не дадут утвердиться в поэзии со своим собственным, оригинальным направлением. Это породило у него разочарование и творческий спад во второй половине 1933-го, 1934, 1935 годах. Вот тут и пригодился жизненный принцип поэта: «Надо работать и бороться за самих себя. Сколько неудач еще впереди, сколько разочарований, сомнений! Но если в такие минуты человек поколеблется — его песня спета. Вера и упорство. Труд и честность...» И Николай Алексеевич продолжал трудиться. Средства к существованию давала начатая еще в 1927 году работа в детской литературе — в 30-х годах он сотрудничал в журналах «Еж» и «Чиж», писал стихи и прозу для детей. Наиболее известны его перевод-обработка для юношества поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (в 50-х годах был сделан полный перевод поэмы), а также переложение книги Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» и романа Шарля де Костера «Тиль Уленшпигель».

Постепенно положение Заболоцкого в литературных кругах Ленинграда укреплялось. С женой и детьми он жил в «писательской надстройке» на Канале Грибоедова, активно участвовал в общественной жизни писателей города. Такие стихотворения, как «Прощание», «Север», «Горийская симфония», «Седов», получили одобрительные отзывы в печати, в 1937 году вышла его книжка, включающая семнадцать стихотворений («Вторая книга»). На рабочем столе Заболоцкого лежали начатые поэтическое переложение древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве» и своя поэма «Осада Козельска», стихотворения, переводы с грузинского... Но наступившее благополучие было обманчивым...

19 марта 1938 года Н. А. Заболоцкий был арестован и надолго оторван от литературы, от семьи, от свободного человеческого существования. В качестве обвинительного материала в его деле фигурировали злопыхательские критические статьи и клеветническая обзорная «рецензия», тенденциозно искажавшая существо и идейную направленность его творчества. До 1944 года он отбывал незаслуженное заключение в исправительно-трудовых лагерях на Дальнем Востоке и в Алтайском крае. С весны и до конца 1945 года уже вместе с семьей жил в Караганде.

В 1946 году Н. А. Заболоцкого восстановили в Союзе писателей, он получил разрешение жить в столице. Начался новый, московский период его творчества. Несмотря на все удары судьбы, он сумел сохранить внутреннюю целостность и остался верным делу своей жизни — как только появилась возможность, он вернулся к неосуществленным литературным замыслам. Еще в 1945 году в Караганде, работая чертежником в строительном управлении, Николай Алексеевич в основном завершил переложение «Слова о полку Игореве», а в Москве возобновил работу

над переводом грузинской поэзии. Прекрасно звучат его стихи из Г. Орбелиани, В. Пшавелы, Д. Гурамишвили, С. Чиковани — многих классических и современных поэтов Грузии. Переводил он и поэзию других народов СССР, немецкую классическую поэзию, а также итальянских, сербских, венгерских авторов.

Период возвращения к поэзии был не только радостным, но и трудным. Были счастливые минуты вдохновения, были сомнения, а порой и чувство бессилия выразить то многое, что скопилось в мыслях и искало путь к поэтическому слову. Не случайно в написанных тогда стихотворениях «Слепой» и «Гроза» звучит тема творчества, вдохновения. А в стихотворении «Уступи мне, скворец, уголок», невзирая на все свои испытания, он восторженно обратил свою душу «к мирозданию лицом» — со всеми его противоречиями, горестями и радостями. Но и сдерживал себя, еще не вполне доверяя свободе и возрождению своей творческой жизни. С грустной иронией намекая на прежний свой опыт, он писал:

Я и сам бы стараться горазд,  
Да шепнула мне бабочка-странница:  
«Кто бывает весною горласт,  
Тот без голоса к лету останется».

Заболоцкий сохранил свой голос. Стихотворения 1946 года, несомненно, относятся к его шедеврам. В них и последующих стихах, написанных поэтом после длительного перерыва, четко прослеживается преемственность творчества 30-х годов, особенно в том, что касается его натурфилософских представлений. Таковы произведения 40-х годов «Читайте, деревья, стихи Гезиода», «Я не ищу гармонии в природе», «Завещание», «Сквозь волшебный прибор Левенгука...». Но в новых стихах можно обнаружить и определенное развитие мысли поэта. Ранее Заболоцкий упорно искал смысл взаимопроникновения зла и добра, косности и мудрости, тьмы и разума. Ему казалось, что зло искупается общим оптимистическим направлением развития мира: от дикого хаоса — через вмешательство разума — к единому мировому сознанию и гармонии. В поэме 1933 года «Деревья» представитель науки Лесничий призывал к реальной оценке жизни и приветствовал в ней даже зло, если оно способствует грядущему утверждению справедливого мира. Но в такой позиции было определенное противоречие — неизбежность зла для торжества добра. В чем же тогда гарантия, что и разум не станет служить злу? И Заболоцкий все более утверждает в мысли, что совокупность законов природы неизбежно направляет развитие к торжеству высоких духовно-нравственных принципов. В такой закономерности проявляется та душа природы, которая так убедительно была изображена в стихотворении «Лесное озеро». Разум природы действует во имя торжества этических идеалов, а гармония природы представлялась поэту не только в освобождении от зла и насилия, а шире — в свободном проявлении тех законов, которые обуславливают справедливость, красоту, взаимную любовь, вдохновение, творчество.

Чем старше становился поэт, тем с большей настойчивостью он искал доказательства грядущего торжества всеобъемлющей души природы, проявлением которой является и душа человека. И тем более необходимым ему казалось сотрудничество разума и души. Недаром он писал жене из Алтайского края: «Живая человеческая душа теперь осталась единственно ценной». Когда свое программное стихотворение он начинал словами: «Я не ищу гармонии в природе», это не значило, что он не видел ее страдающую душу:

Когда огромный мир противоречий  
Насытится бесплодной игрой, —  
Как бы прообраз боли человеческой  
Из бездны вод встает передо мной.

Общая боль человека и природы может излечиться созидательным творчеством. В «Творцах дорог» и других стихотворениях о труде строителей Заболоцкий продолжает разговор о человеческих свершениях, начатый еще до 1938 года («Венчание плодами», «Север», «Седов»). Дела современников и свой опыт работы на восточных стройках он пытался соизмерить с перспективой создания стройной живой архитектуры природы.

В 50-х годах тема материальных метаморфоз в природе стала уходить вглубь стиха, становясь как бы его невидимым фундаментом и уступая место размышлениям над психологическими и нравственными связями человека и природы, над внутренним миром человека с его собственными чувствами и проблемами.

В стихотворениях московского периода появились ранее несвойственные Заболоцкому душевная открытость, иногда автобиографичность («Слепой», «В этой роще березовой», цикл «Последняя любовь»). Обострившееся внимание к живой человеческой душе привело его к психологически насыщенным жанрово-сюжетным зарисовкам («Жена», «Неудачник», «В кино», «Некрасивая девочка», «Старая актриса»), к наблюдениям над тем, как душевный склад и судьба отражаются в человеческой внешности («О красоте человеческих лиц», «Портрет»). В лицах людей он находит очарование картин Рокотова и Боттичелли. Для поэта гораздо большее значение стали иметь красота природы и ее воздействие на внутренний мир человека. Целый ряд замыслов и работ Заболоцкого был связан с его неизменным интересом к истории и эпической поэзии («Рубрук в Монголии» и др.). Постоянно совершенствовалась его поэтика; формулой его творчества стала провозглашенная им триада: мысль — образ — музыка.

Не было просто в московской жизни Николая Алексеевича. Творческий подъем, проявлявшийся в первые годы после возвращения, сменился спадом и почти полным переключением творческой активности на художественные переводы в 1949—1952 годах. Время было тревожным. Опасаясь, что его идеи снова будут использованы против него, Заболоцкий зачастую сдерживал себя и не позволял себе перенести на бумагу все

го, что созревало в сознании и просилось в стихотворение. Положение изменилось только после XX съезда партии, осудившего извращения, связанные с культом личности Сталина. В 1956 году Заболоцкий написал «Историю моего заключения», охватившую наиболее тяжелый период его тюремной жизни.

На новые веяния в жизни страны он откликнулся стихотворениями «Где-то в поле возле Магадана», «Противостояние Марса», «Казбек». Дышать стало легче. Достаточно сказать, что за последние три года жизни (1956—1958) Заболоцкий создал около половины всех произведений московского периода. Некоторые из них появились в печати. В 1957 году вышел четвертый, наиболее полный его прижизненный сборник (64 стихотворения и избранные переводы), который, однако, включал далеко не все, что хотел бы видеть в своей книге поэт.

С молодых лет он очень взыскательно относился к своим произведениям и к их подбору, считая, что нужно писать не отдельные стихотворения, а целую книгу. На протяжении жизни несколько раз составлял такие сборники, тщательно обдумывая их состав и композицию — свои идеальные своды, — со временем пополняя их новыми стихотворениями, прежде написанные — редактировал и в ряде случаев заменял другими вариантами. За несколько дней до смерти, в октябре 1958 года, Николай Алексеевич написал литературное завещание, в котором точно указал, что должно войти в его итоговое собрание, структуру и название книги. В этом томе объединил он свои смелые, гротескные стихотворения 20-х годов и классически ясные, гармоничные произведения более позднего периода, тем самым признав цельность своего пути.

Размышляя о своем творческом опыте, о взаимодействии содержания и формы произведения, о восприятии мастера будущими поколениями, Заболоцкий счел свой путь закономерным и правильным. В подтверждение своим мыслям он выписал из высокоценимого им «Дневника» Делакруа следующие фразы: «Нужно действительное отречение от тщеславия, чтобы сметь быть простым, если, конечно, под силу быть таким; доказательством даже у больших мастеров служит то, что они почти всегда начинают с излишеств, в молодости, когда все их возможности душат их, они отдают предпочтение напыщенности, остроумию... Они хотят больше блистать, чем трогать, они хотят, чтобы в изображенных ими лицах восхищались автором; они считают себя плоскими, когда на самом деле трогательны и ясны».

Николай Алексеевич никогда не забывал о своем творчестве 20-х годов, считал его неотделимой и необходимой составной частью всего своего поэтического наследия и, конечно, использовал опыт тех лет в последующей своей работе. Можно даже сказать, что в конце жизни у него появилось какое-то новое стремление активнее включать в свою поэзию элементы стиля «Столбцов». Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать стихи его цикла «Рубрук в Монголии» (1958), где ирония, особый юмор, даже гротеск сочетаются с классической ясностью и живописной образностью.



Н. А. Заболоцкий прожил нелегкую жизнь и умер в возрасте 55-ти лет, так и не увидев то время, когда его поэзия стала широко издаваться, переводиться на иностранные языки, всесторонне и серьезно изучаться литературоведами. Но он достиг той цели, к которой стремился на протяжении всего своего творчества,— он создал книгу, достойно продолжившую великую традицию русской философской лирики, и эта книга заняла свое место в сокровищнице классической литературы. Он имел полное право написать в своем «Завещании»:

О, я недаром в этом мире жил!  
И сладко мне стремиться из потемок,  
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,  
Доделал то, что я не довершил.

*НИКИТА ЗАБОЛОЦКИЙ*

# СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ

1926—1933

---

## ГОРОДСКИЕ СТОЛБЦЫ

### БЕЛАЯ НОЧЬ

Гляди: не бал, не маскарад,  
Здесь ночи ходят невпопад,  
Здесь, от вина неузнаваем,  
Летает хохот попугаем.  
Здесь возле каменных излучин  
Бегут любовники толпой,  
Один горяч, другой измучен,  
А третий книзу головой.  
Любовь стенает под листьями,  
Она меняется местами,  
То подойдет, то отойдет...  
А музы любят круглый год.

Качалась Невка у перил,  
Вдруг барабан заговорил —  
Ракеты, выстроившись крúгом,  
Вставали в очередь. Потом  
Они летели друг за другом,  
Вертя бенгальским животом.

Качали кольцами деревья,  
Спадали с факелов отрепья  
Густого дыма. А на Невке  
Не то сирены, не то девки,  
Но нет, сирены, — на заре,  
Все в синеватом серебре,  
Холодноватые, но звали  
Прижаться к палевым губам  
И неподвижным, как медали.  
Обман с мечтами пополам!

Я шел сквозь рощу. Ночь легла  
Вдоль по траве, как мел бела.  
Торчком кусты над нею встали  
В ножнах из разноцветной стали,  
И тосковали соловьи  
Верхом на веточке. Казалось,  
Они испытывали жалость,  
Как неспособные к любви.

А там вдали, где желтый бакен  
Подкарауливал шутих,  
На корточках привстал Елагин,  
Ополоснулся и затих:  
Он в этот раз накрыл двоих.

Вертя винтом, бежал моторчик  
С музыкой томной по бортам.  
К нему навстречу, рожи скорчив,  
Несутся лодки тут и там.  
Он их толкнет — они бежать.  
Бегут, бегут, потом опять  
Идут, задорные, навстречу.  
Он им кричит: «Я искалечу!»  
Они уверены, что нет...

И всюду сумасшедший бред.  
Листами сонными колышим,  
Он льется в окна, липнет к крышам,  
Вздывает дыбом волоса...  
И ночь, подобно самозванке,  
Открыв молочные глаза,  
Качается в спиртовой банке  
И просится на небеса.

1926

#### ВЕЧЕРНИЙ БАР

В глуши бутылочного рая,  
Где пальмы высохли давно,  
Под электричеством играя,  
В бокале плавало окно.  
Оно, как золото, блестело,  
Потом садилось, тяжелело,  
Над ним пивной дымок вился...  
Но это рассказать нельзя.

Звения серебряной цепочкой,  
Спадает с лестницы народ,

Трещит картонною сорочкой,  
С бугылкой водит хоровод.  
Сирена бледная за стойкой  
Гостей попотчует настойкой,  
Скосит глаза, уйдет, придет,  
Потом с гитарой на отлет  
Она поет, поет о милом,  
Как милого она любила,  
Как, ласков к телу и жесток,  
Впивался шелковый шнурок,  
Как по стаканам висла виски,  
Как, из разбитого виска  
Измученную грудь обрызгав,  
Он вдруг упал. Была тоска,  
И все, о чем она ни пела,  
Легло в бокал белее мела.

Мужчины тоже всё кричали,  
Они качались по столам,  
По потолкам они качали  
Бедлам с цветами пополам.  
Один рыдает, толстопузик,  
Другой кричит: «Я — Иисусик,  
Молитесь мне, я на кресте,  
В ладонях гвозди и везде!»  
К нему сирена подходила,  
И вот, тарелки оседлав,  
Бокалов бешеный конклав  
Зажегся, как паникадило.

Глаза упали, точно гири,  
Бокал разбили, вышла ночь,  
И жирные автомобили,  
Схватив под мышки Пикадилли,  
Легко откатывали прочь.  
А за окном в глуши времен  
Блистал на мачте лампирон.

Там Невский в блеске и тоске,  
В ночи переменивший краски,  
От сказки был на волоске,  
Ветрами вея без опаски.  
И как бы яростью объятый,  
Через туман, тоску, бензин,  
Над башней рвался шар крылатый  
И имя «Зингер» возносил.

1926

## ФУТБОЛ

Ликует форвард на бегу.  
Теперь ему какое дело!  
Недаром согнуто в дугу  
Его стремительное тело.  
Как плащ, летит его душа,  
Ключица стучается звонко  
О перехват его плаща.  
Танцует в ухе перепонка,  
Танцует в горле виноград,  
И шар перелетает ряд.

Его хватают наугад,  
Его отравую поят,  
Но башмаков железный яд  
Ему страшнее во сто крат.  
Назад!

Свалились в кучу беки,  
Опухшие от сквозняка,  
Но к ним через моря и реки,  
Просторы, площади, снега,  
Расправив пышные доспехи  
И накренья в меридиан,  
Несется шар.

В душе у форварда пожар,  
Гремят, как сталь, его колена,  
Но уж из горла бьет фонтан,  
Он падает, кричит: «Измена!»  
А шар вертится между стен,  
Дымится, пучится, хохочет,  
Глазок сожмет: «Спокойной ночи!»  
Глазок откроет: «Добрый день!»  
И форварда замучить хочет.

Четыре гола пали в ряд,  
Над ними трубы не гремят,  
Их сосчитал и тряпкой вытер  
Меланхолический голкипер  
И крикнул ночь. Приходит ночь.  
Бренча алмазною заслонкой,  
Она вставляет черный ключ  
В атмосферическую лунку.  
Открылся госпиталь. Увы,  
Здесь форвард спит без головы.

Над ним два медные копья  
Упрямый шар веревкой вяжут,  
С плиты загробная вода  
Стекает в ямки вырезные,  
И сохнет в горле виноград.  
Спи, форвард, задом наперед!

Спи, бедный форвард!  
Над землею  
Заря упала, глубока,  
Танцуют девочки с зарею  
У голубого ручейка.  
Всё так же вянут на покое  
В лиловом домике обои,  
Стареет мама с каждым днем...  
Спи, бедный форвард!  
Мы живем.

1926

#### О Ф О Р Т

И грянул на весь оглушительный зал:  
«Покойник из царского дома бежал!»

Покойник по улицам гордо идет,  
Его постояльцы ведут под уздцы,  
Он голосом трубным молитву поет  
И руки вздымает наверх.  
Он в медных очках, перепончатых рамках,  
Переполнен до горла подземной водой.  
Над ним деревянные птицы со стуком  
Смыкаются на створках крыла.  
А кругом громобой, цилиндров бряцанье  
И курчавое небо, а тут —  
Городская коробка с расстегнутой дверью  
И за стеклышком — розмарин.

1927

#### Б О Л Е З Н Ь

Больной, свалившись на кровать,  
Руки не может приподнять.  
Вспотевший лоб прямоуголен —  
Больной двенадцать суток болен.

Во сне он видит чьи-то рыла,  
Тупые, плотные, как дуб.  
Тут лошадь веки приоткрыла,  
Квадратный выставила зуб.  
Она грызет пустые склянки,  
Склонившись, Библию читает,  
Танцует, мочится в лоханки  
И голосом жены больного утешает.

«Жена, ты девушкой слыла.  
Увы, моя подруга,  
Как кожа нежная была  
В боках твоих упруга!  
Зачем же лошадь стала ты?  
Укройся в белые скиты  
И, ставя Богу свечку,  
Грызи свою уздечку!»

Но лошадь бьется, не идет,  
Наоборот, она довольна.  
Уж вечер. Лампа свет лиет  
На уголок застольный.  
Восходит поп среди двора,  
Он весь ругается и силы напрягает,  
Чугунный крест из серебра  
Через порог переставляет.  
Больному лучше. Поп хохочет,  
Закутавшись в святую епанчу.  
Больного он кропилом мочит,  
Потом с тарелки ест сычуг,  
Наполненный ячменной кашей,  
И лошадь называет он мамашей.

1928

### И Г Р А В С Н Е Ж К И

В снегу кипит большая драка.  
Как легкий бог, летит собака.  
Мальчишка бьет врага в живот.  
На елке тетерев живет.  
Уж ледяные свищут бомбы.  
Уж вечер. В зареве снега.  
В сугробах роя катакомбы,  
Мальчишки лезут на врага.  
Один, задрав кривые ноги,  
Скатился с горки, а другой

Воткнулся в снег, а двое новых,  
Мохнатых, скорченных, багровых,  
Сцепились вместе, бьются враз,  
Но деревянный ножик спас.

Закат погас. И день остановился.  
И великаном подошел шершавый конь.  
Мужик огромной тушею своей  
Сидел в стропилах крашенных саней,  
И в медной трубке огонек дымился.

Бой кончился. Мужик не шевелился.

1928

### Ч А С О В О Й

На карауле ночь густеет.  
Стоит, как башня, часовой.  
В его глазах одервенелых  
Четырехгранный вьется штык.  
Тяжеловесны и крылаты,  
Знамена пышные полка,  
Как золотые водопады,  
Пред ним свисают с потолка.  
Там пролетарий на стене  
Гремит, играя при луне,  
Там вой кукушки полковой  
Угрюмо тонет за стеной.  
Тут белый домик вырастает  
С квадратной башенкой вверху,  
На стенке девочка витает,  
Дудит в прозрачную трубу.  
Уж к ней сбегаются коровы  
С улыбкой бледной на губах...  
А часовой стоит впотьмах  
В шинели конусообразной,  
Над ним звезды пожарик красный  
И серп заветный в головах.  
Вот в щели каменные плит  
Мышиные просунулись лица,  
Похожие на треугольники из мела,  
С глазами траурными по бокам.  
Одна из них садится у окошка  
С цветочком музыки в руке.  
А день в решетку пальцы тянет,  
Но не достать ему знамен.



Он напрягается и видит:  
Стоит, как башня, часовой,  
И пролетарий на стене  
Хранит волшебное становье.  
Ему знамена — изголовье,  
А штык ружья: война — войне.  
И день доволен им вполне.

1927

## Н О В Ы Й Б Ы Т

Восходит солнце над Москвой,  
Старухи бегают с тоской:  
Куда, куда идти теперь?  
Уж Новый Быт стучится в дверь!  
Младенец, выхолоен и крупен,  
Сидит в купели, как султан.  
Прекрасный поп поет, как бубен,  
Паникадиллом осиян.  
Прабабка свечку зажигает,  
Младенец крепнет и мужает  
И вдруг, шагая через стол,  
Садится прямо в комсомол.

И время двинулось быстрее,  
Стареет папенька-отец,  
И за окошками в аллее  
Играет сваха в бубенец.  
Ступни младенца стали шире,  
От стали ширится рука.  
Уж он сидит в большой квартире,  
Невесту держит за рукав.  
Приходит поп, тряся ногами,  
В ладошке мощи бережет,  
Благословить желает стенки,  
Невесте крестик подарить.  
«Увы, — сказал ему младенец, —  
Уйди, уйди, кудрявый поп,  
Я — новый жизни ополченец,  
Тебе ж один остался гроб!»  
Уж поп тихонько плакать хочет,  
Стоит на лестнице, бормочет,  
Не зная, чем себе помочь.  
Ужель идти из дома прочь?

Но вот знакомые явились,  
Завод пропел: «Ура! Ура!»

И Новый Быт, даруя милость,  
В тарелке держит осетра.  
Варенье, ложечкой носимо,  
Шипит и падает в боржом.  
Жених, проворен нестерпимо,  
К невесте лепится ужом.  
И председатель на отвале,  
Чете играя похвалу,  
Приносит в выборгском бокале  
Вино солдатское, халву,  
И, принимая красный спич,  
Сидит на столике Ильич.

«Ура! Ура!» — поют заводы,  
Картошкой дым под небеса.  
И вот супруги, выпив соды,  
Сидят и чешут волоса.  
И стало все благоприятно:  
Явилась ночь, ушла обратно,  
И за окошком через миг  
Погасла свечка-пятерик.

1927

#### Д В И Ж Е Н И Е

Сидит извозчик, как на троне,  
Из ваты сделана броня,  
И борода, как на иконе,  
Лежит, монетами звеня.  
А бедный конь руками машет,  
То вытянется, как налим,  
То снова восемь ног сверкают  
В его блестящем животе.

1927

#### Н А Р Ы Н К Е

В уборе из цветов и крынок  
Открыл ворота старый рынок.

Здесь бабы толсты, словно кадки,  
Их шаль невиданной красы,  
И огурцы, как великаны,  
Прилежно плавают в воде.

Сверкают саблями селедки,  
Их глазки маленькие кротки,  
Но вот, разрезаны ножом,  
Они свиваются ужом.  
И мясо, властью топора,  
Лежит, как красная дыра,  
И колбаса кишкой кровавой  
В жаровне плавает корявой,  
И вслед за ней кудрявый пес  
Несет на воздух постный нос,  
И пасть открыта, словно дверь,  
И голова, как блюдо,  
И ноги точные идут,  
Сгибаясь медленно посередине.  
Но что это? Он с видом сожаленья  
Остановился наугад,  
И слезы, точно виноград,  
Из глаз по воздуху летят.

Калеки выстроились в ряд.  
Один играет на гитаре.  
Ноги обрубок, брат утрат,  
Его кормилец на базаре.  
А на обрубке том костыль,  
Как деревянная бутыль.

Росток руки другой нам кажется,  
Он ею хвастается, машет,  
Он палец вывихнул, урод,  
И визгнул палец, словно крот,  
И хрустнул кости перекресток,  
И сдвинулось лицо в наперсток.

А третий, закрутив усы,  
Глядит воинственным героем.  
Над ним в базарные часы  
Мясные мухи вьются роем.  
Он в банке едет на колесах,  
Во рту запрятан крепкий руль,  
В могилке где-то руки сохнут,  
В какой-то речке ноги спят.  
На долю этому герою  
Осталось брюхо с головою  
Да рот, большой, как рукоять,  
Рулем веселым управлять.

Вон бабка с неподвижным оком  
Сидит на стуле одиноком,

И книжка в дырочках волшебных  
(Для пальцев милая сестра)  
Поет чиновников служебных,  
И бабка пальцами быстра.

А вокруг — весы, как магелланы,  
Отрепья масла, жир любви,  
Уроды, словно истуканы,  
В густой расчетливой крови,  
И визг молитвенной гитары,  
И шапки полны, как тиары,  
Блестящей медью. Недалек  
Тот миг, когда в норе опасной  
Он и она — он пьяный, красный  
От стужи, пенья и вина,  
Безрукий, пухлый, и она —  
Слепая ведьма — спляшут мило  
Прекрасный танец-козерог,  
Да так, что затрещат стропила  
И брызнут искры из-под ног!

И лампа взвояет, как сурок.

1927

## И В А Н О В Ы

Стоят чиновные деревья,  
Почти влезая в каждый дом.  
Давно их кончено кочевье,  
Они в решетках, под замком.  
Шумит бульваров теснота,  
Домами плотно заперта.

Но вот все двери растворились,  
Повсюду шепот пробежал:  
На службу вышли Ивановы  
В своих штанах и башмаках.  
Пустые гладкие трамваи  
Им подают свои скамейки.  
Герои входят, покупают  
Билетов хрупкие дощечки,  
Сидят и держат их перед собой,  
Не увлекаясь быстрою ездой.

А там, где каменные стены,  
И рев гудков, и шум колес,

Стоят волшебные сирены  
В клубках оранжевых волос.  
Иные, дуньками одеты,  
Сидеть не могут взаперти.  
Прищелкивая в кастаньеты,  
Они идут. Куда идти,  
Кому нести кровавый ротик,  
У чьей постели бросить ботик  
И дернуть кнопку на груди?  
Неужто некуда идти?

О мир, свинцовый идол мой,  
Хлещи широкими волнами  
И этих девок упокой  
На перекрестке вверх ногами!  
Он спит сегодня, грозный мир:  
В домах спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,  
Где ждет меня моя невеста,  
Где стулья выстроились в ряд,  
Где горка — словно Арарат —  
Имеет вид отменно важный,  
Где стол стоит и трехэтажный  
В железных латах самовар  
Шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,  
Одной разбитой мостовой,  
Одним проплеванным амбаром,  
Одной мышшиною норой,  
Но будь к оружию готов:  
Целует девку — Иванов!

1928

### С В А Д Ь Б А

Сквозь окна хлещет длинный луч,  
Могучий дом стоит во мраке.  
Огонь раскинулся, горяч,  
Сверкая в каменной рубашке.  
Из кухни пышет дивным жаром.  
Как золотые битюги,  
Сегодня зреют там недаром  
Ковриги, бабы, пироги.  
Там кулебяка из кокетства

Сияет сердцем бытия.  
Над нею проклинает детство  
Цыпленок, синий от мытья.  
Он глазки детские закрыл,  
Наморщил разноцветный лобик  
И тельце сонное сложил  
В фаянсовый столовый гробик.  
Над ним не поп ревел обедню,  
Махая по ветру крестом,  
Ему кукушка не певала  
Коварной песенки своей:  
Он был закован в звон капусты,  
Он был томатами одет,  
Над ним, как крестик, опускался  
На тонкой ножке сельдерей.  
Так он почил в расцвете дней,  
Ничтожный карлик средь людей.

Часы гремят. Настала ночь.  
В столовой пир горяч и пылок.  
Графину винному невмочь  
Расправить огненный затылок.  
Мясистых баб большая стая  
Сидит вокруг, пером блистая,  
И лысый венчик горностая  
Венчает груди, ожирев  
В поту столетних королев.  
Они едят густые сласти,  
Хрипят в неутоленной страсти  
И, распуская животы,  
В тарелки жмутся и цветы.  
Прямые лысые мужья  
Сидят, как выстрел из ружья,  
Едва вытягивая шеи  
Сквозь мяса жирные траншеи.  
И пробиваясь сквозь хрусталь  
Многообразно однозвучный,  
Как сон земли благополучной,  
Парит на крылышках мораль.

О пташка божья, где твой стыд?  
И что к твоей прибавит чести  
Жених, приделанный к невесте  
И позабывший звон копыт?  
Его лицо передвижное  
Еще хранит следы венца,  
Кольцо на пальце золотое  
Сверкает с видом удальца,

И поп, свидетель всех ночей,  
Раскинув бороду забралом,  
Сидит, как башня, перед балом  
С большой гитарой на плече.

Так бей, гитара! Шире круг!  
Ревут бокалы пудовые.  
И вздрогнул поп, завыл и вдруг  
Ударил в струны золотые.  
И под железный гром гитары  
Подняв последний свой бокал,  
Несутся бешеные пары  
В нагие пропасти зеркал.  
И вслед за ними по засадам,  
Ополоумев от вытья,  
Огромный дом, виляя задом,  
Летит в пространство бытия.  
А там — молчанья грозный сон,  
Седые полчища заводов,  
И над становьями народов —  
Труда и творчества закон.

1928

#### Ф О К С Т Р О Т

В ботинках кожи голубой,  
В носках блистательного франта,  
Парит по воздуху герой  
В дыму гавайского джаз-банда.  
Внизу — бокалов воркотня,  
Внизу — ни ночи нет, ни дня,  
Внизу — на выступе оркестра,  
Как жрец, качается маэстро.  
Он бьет рукой по животу,  
Он машет палкой в пустоту,  
И легких галстуков извилина  
На грудь картонную пришпилена.

Ура! Ура! Герой парит —  
Гавайский фокус над Невою!  
А бал ревет, а бал гремит,  
Качая бледною толпою.  
А бал гремит, единорог,  
И бабы выставили в пляске  
У перекрестка гладких ног  
Чижа на розовой подвязке.

Смеется чиж — гляди, гляди!  
Но бабы дальше ускакали,  
И медным лесом впереди  
Гудит фокстрот на пьедестале.

И так играя, человек  
Родил в последнюю минуту  
Прекраснейшего из калек —  
Женоподобного Иуду.  
Не тронь его и не буди,  
Не пригодится он для дела —  
С цыплячьим знаком на груди  
Росток болезненного тела.  
А там, над бедною землей,  
Во славу винам и кларнетам  
Парит по воздуху герой,  
Стреляя в небо пистолетом.

1928

#### П Е К А Р Н Я

В волшебном царстве калачей,  
Где дым струится над пекарней,  
Железный крендель, друг ночей,  
Светил небесных светозарней.  
Внизу под кренделем — содом.  
Там тесто, выскочив из квашен,  
Встает подобьем белых башен  
И рвется в битву напролом.

Вперед! Настало время боя!  
Ломая тысячи преград,  
Оно ползет, урча и воя,  
И не желает лезть назад.  
Трещат столы, трясутся стены,  
С высоких балок льет вода.  
Но вот, подняв фонарь военный,  
В чугуна ударил тамада, —  
И хлебопеки сквозь туман,  
Как будто идолы в тиарах,  
Летят, играя на цимбалах  
Кастрюль неведомый канкан.

Как изукрашенные стяги,  
Лопаты ходят тяжело,  
И теста ровные корчаги



Плывут в квадратное жерло.  
И в этой, красной от натуги,  
Пещере всех метаморфоз  
Младенец-хлеб приподнял руки  
И слово стройно произнес.  
И пекарь огненной трубой  
Трубил о нем во мрак ночной.

А печь, наследника родив  
И стройное поправив чрево,  
Стоит стыдливая, как дева  
С ночною розой на груди.  
И кот, в почетном сидя месте,  
Усталой лапкой рыльце крестит,  
Зловонным хвостиком вертит,  
Потом кувшинчиком сидит.  
Сидит, сидит, и улыбнется,  
И вдруг исчез. Одно болотце  
Осталось в глиняном полу.  
И утро выплыло в углу.

1928

#### РЫБНАЯ ЛАВКА

И вот, забыв людей коварство,  
Вступаем мы в иное царство.

Тут тело розовой севрюги,  
Прекраснейшей из всех севрюг,  
Висело, вытянувши руки,  
Хвостом прицеплено на крюк.  
Под ней кета пылала мясом,  
Угри, подобные колбасам,  
В копченой пышности и лени  
Дымились, подогнув колени,  
И среди них, как желтый клык,  
Сиял на блюде царь-балык.

О самодержец пышный брюха,  
Кишечный бог и властелин,  
Руководитель гайный духа  
И помыслов архитриклин!  
Хочу тебя! Отдайся мне!  
Дай жрать тебя до самой глотки!  
Мой рот трепещет, весь в огне,  
Кишки дрожат, как готтентотки.  
Желудок, в страсти напряжен,

Голодный сок струями точит,  
То вытянется, как дракон,  
То вновь сожмется что есть мочи,  
Слюна, клубясь, во рту бормочет,  
И сжаты челюсти вдвойне...  
Хочу тебя! Отдайся мне!

Повсюду гром консервных банок,  
Ревут сиги, вскочив в ушат.  
Ножи, торчащие из ранок,  
Качаются и дребезжат.  
Горит садок подводным светом,  
Где за стеклянной стеной  
Плывут лещи, объяты бредом,  
Галлюцинацией, тоской,  
Сомненьем, ревностью, тревогой...  
И смерть над ними, как торгаш,  
Поводит бронзовой острогой.

Весы читают «Отче наш»,  
Две гирьки, мирно встав на блюде,  
Определяют жизни ход,  
И дверь звенит, и рыбы бьются,  
И жабры дышат наоборот.

1928

### ОБВОДНЫЙ КАНАЛ

В моем окне на весь квартал  
Обводный царствует канал.

Ломовики, как падишахи,  
Коня запутав медью блях,  
Идут, закутаны в рубахи,  
С нелепой важностью нерях.  
Вокруг пивные встали в ряд,  
Ломовики в пивных сидят.  
И в окна конских морд толпа  
Глядит, мотаясь у столба,  
И в окна конских морд собор  
Глядит, поставленный в упор.  
А там за ним, за морд собором,  
Течет толпа на полверсты,  
Кричат слепцы блестящим хором,  
Стальные вытянув персты.  
Маклак штаны на воздух мечет,

Ладонью бьет, поет как кречет:  
Маклак — владыка всех штанов,  
Ему подвластен ход миров,  
Ему подвластно толп движенье,  
Толпу томит штанов круженье,  
И вот она, забывши честь,  
Стоит, не в силах глаз отвести,  
Вся прелесть и изнеможенье.

Кричи, маклак, свисти уродом,  
Мечи штаны под облака!  
Но перед сомкнутым народом  
Иная движется река:  
Один сапог несет на блюде,  
Другой поет хвалу Иуде,  
А третий, грозен и румян,  
В кастрюлю бьет, как в барабан.  
И нету сил держаться боле,  
Толпа в плену, толпа в неволе,  
Толпа лунатиком идет,  
Ладони вытянув вперед.

А вокруг черны заводов замки,  
Высок под облаком гудок.  
И вот опять идут мустанги  
На колоннаде пышных ног.  
И воют жалобно телеги,  
И плещет взорванная грязь,  
И над каналом спят калеки,  
К пустым бутылкам прислонясь.

1928

#### БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ

Закинув на спину трубу,  
Как бремя золотое,  
Он шел, в обиде на судьбу.  
За ним бежали двое.  
Один, сжимая скрипки тень,  
Горбун и шаромыжка,  
Скрипел и плакал целый день,  
Как потная подмышка.  
Другой, искусник и борец,  
И чемпион гитары,  
Огромный нес в руках крестец  
С роскошной песнею Тамары.

На том крестце семь струн железных,  
И семь валов, и семь колков,  
Рукой построены полезной,  
Болтались в виде уголков.

На стогах солнце опускалось,  
Неслись извозчики гурьбой,  
Как бы фигуры пошехонцев  
На волокнистых лошадях.  
И вдруг в колодце между окон  
Возник трубы волшебный локон,  
Он прынул вверх тупым жерлом  
И заревел. Глухим орлом  
Был первый звук. Он, грохнув, пал.  
За ним второй орел предстал,  
Орлы в кукушек превращались,  
Кукушки в точки уменьшались,  
И точки, горло сжав в комок,  
Упали в окна всех домов.

Тогда горбатику, скрипочку  
Приплюснув подбородком,  
Слепил перстом улыбочку  
На личике коротком,  
И, визгнув поперечиной  
По маленьким струнам,  
Заплакал, искалеченный:  
— Тилим-там-там!

Система тронулась в порядке.  
Качались знаки вымысла.  
И каждый слушатель украдкой  
Слезой чистой вымылся,  
Когда на подоконниках  
Средь музыки и грохота  
Легла толпа поклонников  
В подштанниках и кофтах.

Но богослов житейской страсти  
И чемпион гитары  
Подъял крестец, поправил части  
И с песней нежно Тамары  
Уста отважно растворил.  
И все умолкло.  
Звук самодержавный,  
Глухой, как шум Куры,  
Роскошный, как мечта,  
Пронесся...

И в этой песне сделалась видна  
Тамара на кавказском ложе.  
Пред нею, полные вина,  
Шипели кубки дотемна  
И юноши стояли тоже.  
И юноши стояли,  
Махали руками,  
И страстные дикие звуки  
Всю ночь раздавались там...  
— Тилим-там-там!

Певец был строен и суров.  
Он пел, трудясь, среди дворов,  
Средь выгребных высоких ям  
Трудился он, могуч и прям.  
Вокруг него система кошек,  
Система окон, ведер, дров  
Висела, темный мир размножив  
На царства узкие дворов.  
Но что́ был двор? Он был трубою,  
Он был тоннелем в те края,  
Где был и я гоним судьбою,  
Где пропадала жизнь моя.  
Где сквозь мансардное окошко  
При лунном свете, вся дрожа,  
В глаза мои смотрела кошка,  
Как дух седьмого этажа.

1928

#### НА ЛЕСТНИЦАХ

Коты на лестницах упругих,  
Большие рыла приподняв,  
Сидят, как будды, на перилах,  
Ревут, как трубы, о любви.  
Нагие кошечки, стесняясь,  
Друг к дружке жмутся, извиняясь.  
Кокетки! Сколько их кругом!  
Они по кругу ходят боком,  
Они текут любовным соком,  
Они трясутся, на весь дом  
Распространяя запах страсти.  
Коты ревут, открывши пасти,—  
Они как дьяволы вверху  
В своем серебряном меху.

Один лишь кот в глухой чужбине  
Сидит, задумчив, не поет.  
В его взъерошенной овчине  
Справляют блохи хоровод.  
Отшельник лестницы печальной,  
Монах помойного ведра,  
Он мир любви первоначальной  
Напрасно ищет до утра.  
Сквозь дверь он чувствует квартиру,  
Где труд дневной едва лишь начат.  
Там от плиты и до сортира  
Лишь бабьи туловища скачут.  
Там примус выстроен, как дыба,  
На нем, от ужаса треща,  
Чахоточная воет рыба  
В зеленых масляных прыщах.  
Там трупы вымытых животных  
Лежат на противнях холодных  
И чугуны, купели слез,  
Венчают зла апофеоз.

Кот поднимается, трепещет.  
Сомненья нету: замкнут мир,  
И лишь одни помои плещут  
Туда, где мудрости кумир.  
И кот встает на две ноги,  
Идет вперед, подъяв лапы.  
Пропала лестница. Ни зги  
В глазах. Шарахаются бабы,  
Но поздно! Кот, на шею сев,  
Как дьявол, бьется, озверев,  
Рвет тело, жилы отворяет,  
Когтями кости вынимает...  
О, Боже, Боже, как нелеп!  
Сбесился он или ослеп?

Шла ночь без горечи и страха,  
И любопытным виден был  
Семейный сад — кошачья плаха,  
Где месяц медленный всходил.  
Деревья дружные качали  
Большими сжатыми телами,  
Нагие птицы верещали,  
Скача неверными ногами.  
Над ними, желтый скаля зуб,  
Висел кота холодный труп.

Монах! Ты висельником стал!  
Прощай. В моем окошке,  
Справляя дикий карнавал,  
Опять несутся кошки.  
И я на лестнице стою,  
Такой же белый, важный.  
Я продолжаю жизнь твою,  
Мой праведник отважный.

1928

#### КУПАЛЬЩИКИ

Кто, чернец, покинув печку,  
Лезет в ванну или тазик —  
Приходи купаться в речку,  
Отступись от безобразий!

Кто, кукушку в руку спрятав,  
В воду падает с размаха —  
Во главе плывет отряда,  
Только дым идет из паха.

Все, впервые сняв одежды  
И различные доспехи,  
Начинают как невежды,  
Но потом идут успехи.

Влага нежною гусыней  
Щиплет части юных тел  
И рукою водит синей,  
Если кто-нибудь вспотел.

Если кто-нибудь не хочет  
Оставаться долго мокрым —  
Трет себя сухим платочком  
Цвета воздуха и охры.

Если кто-нибудь томится  
Страстью или искушеньем —  
Может быстро охладиться,  
Отдыхая без движенья.

Если кто любить не может,  
Но изглодан весь тоскою,  
Сам себе теперь поможет,  
Тихо плавая с доскою.

О река, невеста, мамка,  
Всех вместившая на лоне,  
Ты не девка-полигамка,  
Но святая на иконе!

Ты не девка-полигамка,  
Но святая Парасковья,  
Нас, купальщиков, встречай,  
Где песок и молочай!

1928

## НЕЗРЕЛОСТЬ

Младенец кашку составляет  
Из манных зерен голубых.  
Зерно, как кубик, вылетает  
Из легких пальчиков двойных.  
Зерно к зерну — горшок наполнен,  
И вот, качаясь, он висит,  
Как колокол на колокольне,  
Квадратной силой знаменит.  
Ребенок лезет вдоль по чащам,  
Ореховые рвет листы,  
И над деревьями все чаще  
Его колеблются персты.  
И девочки, носимы вместе,  
К нему по воздуху плывут.  
Одна из них, снимая крестик,  
Тихонько падает в траву.

Горшок клубится под ногою,  
Огня субстанция жива,  
И девочка лежит нагою,  
В огонь откинув кружева.  
Ребенок тихо отвечает:  
«Младенец я и не окреп!  
Ужель твой ум не примечает,  
Насколько твой замысел нелеп?  
Красот твоих мне стыден вид,  
Закрой же ножки белой тканью,  
Смотри, как мой костер горит,  
И не готовься к поруганью!»  
И тихо взяв мешалку в руки,  
Он мудро кашу помешал,—  
Так он урок живой науки  
Душе несчастной преподавал.

1928



## НАРОДНЫЙ ДОМ

Народный Дом, курятник радости,  
Амбар волшебного житья,  
Корыто праздничное страсти,  
Густое пекло бытия!  
Тут шишаки красноармейские,  
А с ними дамочки житейские  
Несли задумчивым ручьем.  
Им шум столичный нипочем!  
Тут радость пальчиком водила,  
Она к народу шла потехою.  
Тут каждый мальчик забавлялся:  
Кто дамочку кормил орехами,  
А кто над пивом забывался.  
Тут гор американские хребты!  
Над ними девочки, богини красоты,  
В повозки быстрые запрятались,  
Повозки катятся вперед,  
Красотки нежные расплакались,  
Упав совсем на кавалеров...  
И много было тут других примеров.

Тут девка водит на аркане  
Свою пречистую собачку,  
Сама вспотела вся до нитки  
И грудки выехали вверх.  
А та собачка пречестная,  
Весенним соком налитая,  
Грибными ножками неловко  
Вдоль по дорожке шелестит.

Подходит к девке именитой  
Мужик роскошный, апельсинщик.  
Он держит тазик разноцветный,  
В нем апельсины аккуратные лежат.  
Как будто циркулем очерченные круги,  
Они волнисты и упруги;  
Как будто маленькие солнышки, они  
Легко катаются по жести  
И пальчикам лепечут: «Лезьте, лезьте!»

И девка, кушая плоды,  
Благодарит рублем прохожего.  
Она зовет его на «ты»,

Но ей другого хочется, хорошего.  
Она хорошего глазами ищет,  
Но перед ней качели свищут.

В качелях девочка-душа  
Висела, ножкою шурша.  
Она по воздуху летела,  
И теплой ножкою вертела,  
И теплой ручкою звала.

Другой же, видя преломленное  
Свое лицо в горбатом зеркале,  
Стоял молодчиком оплеванным,  
Хотел смеяться, но не мог.  
Желая знать причину искривления,  
Он как бы делался ребенком  
И шел назад на четвереньках,  
Под сорок лет — четвероног.

Но перед этим праздничным угаром  
Иные будто спасовали:  
Они довольны не амбаром радости,  
Они тут в молодости побывали.  
И вот теперь, шепча с бутылкою,  
Прощаясь с молодостью пылкой,  
Они скребут стакан зубами,  
Они губой его высасывают,  
Они приятелям рассказывают  
Свои веселия шальные.  
Ведь им бутылка словно матушка,  
Души медовая салопница,  
Целует слаще всякой девки,  
А холодит сильнее Невки.

Они глядят в стекло.  
В стекле восходит утро.  
Фонарь, бескровный, как глиста,  
Стрелой болтается в кустах.  
И по трамваям рай качается —  
Тут каждый мальчик улыбается,  
А девочка наоборот —  
Закрыв глаза, открыла рот  
И ручку выбросила теплую  
На приподнявшийся живот.

Трамвай, шатаясь, чуть идет.

## САМОВАР

Самовар, владыка брюха,  
Драгоценный комнат поп!  
В твоей грудке вижу ухо,  
В твоей ножке вижу лоб.

Император белых чашек,  
Чайников архимандрит,  
Твой глубокий ропот тяжек  
Тем, кто миру зло дарит.

Я же — дева неповинна,  
Как нетронутый цветок.  
Льется в чашку длинный-длинный,  
Тонкий, стройный кипяток.

И вся комната-малютка  
Расцветает вдалеке,  
Словно цветик-незабудка  
На высоком стебельке.

1930

## НА ДАЧЕ

Вижу около постройки  
Древо радости — орех.  
Дым, подобно белой тройке,  
Скачет в облако наверх.  
Вижу дачи деревянной  
Деревенские столбы.  
Белый, серый, оловянный  
Дым выходит из трубы.  
Вижу — ты, по воле мужа  
С животом, подобным тазу,  
Ходишь, зла и неуклюжа,  
И подходишь к тарантасу.  
В тарантасе тройка алых  
Чернокудрых лошадей.  
Рядом дядя на цимбалах  
Тешит праздничных людей.  
Гей, ящик! С тобою мама  
Да в селе высокий доктор.  
Полетела тройка прямо  
По дороге очень мокрой.  
Мама стонет, дядя гонит,  
Дядя давит лошадей,  
И младенец, плача, тонет  
Посреди больших кровей.

Пуповину отгрызала  
Мама зубом золотым.  
Тройка бешеная стала,  
Коренник упал. Как дым,  
Словно дым, клубилась степь,  
Ночь сидела на холме.  
Дядя ел чугунный хлеб,  
Развалившись на траве.  
А в далекой даче дети  
Пели, бегая в крокете,  
И ликуя и шутя,  
Легким шариком вертя.  
И цыганка молодая,  
Встав над ними, как божок,  
Предлагала, завывая,  
Ассирийский пирожок.

1929

#### НАЧАЛО ОСЕНИ

Старухи, сидя у ворот,  
Хлебали щи тумана, гари.  
Тут, горопяся на завод,  
Шел переулком пролетарий.  
Не быв задетым центром О,  
Он шел, скрепив периферию,  
И ветер ломался вокруг него.  
Приходит соболь из Сибири,  
И представляет яблок Крым,  
И девка, взяв рубля четыре,  
Ест плод, любуясь молодым.  
В его глазах — начатки знанья,  
Они потом уходят в руки,  
В его мозгу на состязанье  
Сошлись концами все науки.  
Как сон житейских геометрий,  
В необычайно крепком ветре  
Над ним домов бряцали оси,  
И в центре О мерцала осень.  
И к ней касаясь хордой, что ли,  
Качался клен, крича от боли,  
Качался клен, и выстрелом ума  
Казалась нам вселенная сама.

1928

## Ц И Р К

Цирк сияет, словно щит,  
Цирк на пальцах верещит,  
Цирк на дудке завывает,  
Душу в душу ударяет!  
С нежным личиком испанки  
И цветами в волосах  
Тут девочка, пресветлый ангел,  
Виясь, плясала вальс-казак.  
Она среди густого пара  
Стоит, как белая гагара,  
То с гитарой у плеча  
Реет, ноги волоча.  
То вдруг присвистнет, одинокая,  
Совьется маленьким ужом,  
И вновь несется, нежно охая,—  
Прелестный образ и почти что нагишом!  
Но вот одежды беспокойство  
Вкруг тела складками легло.  
Хотя напрасно!  
Членов нежное устройство  
На всех впечатление произвело.

Толпа встает. Все дышат, как сапожники,  
Во рту слюны навар кудрявый.  
Иные, даже самые безбожники,  
Полны таинственной отравой.  
Другие же, суя табак в пустую трубку,  
Облизываясь, мысленно целуют ту голубку,  
Которая пред ними пролетела.  
Пресветлая! Остаться не захотела!

Вой всюду в зале тут стоит,  
Кромешным духом все полны.  
Но музыка опять гремит,  
И все опять удивлены.  
Лошадь белая выходит,  
Бледным личиком вертя,  
И на ней при всем народе  
Сидит полновесное дитя.  
Вот, маша руками враз,  
Дитя, смеясь, сидит анфас,  
И вдруг, взмахнув ноги обмылком,  
Дитя сидит к коню затылком.  
А конь, как стражник, опустив  
Высокий лоб с большим пером,  
По кругу носится, спесив,  
Поставив ноги под углом.

Тут опять всеобщее изумленье,  
И похвала, и одобренье,  
И, как зверок, кусает зависть  
Тех, кто недавно улыбались  
Иль равнодушными казались.

Мальчишка, тихо хулиганя,  
Подружке на ухо шептал:  
«Какая тут сегодня баня!»  
И девку нежно обнимал.  
Она же, к этому привыкнув,  
Сидела тихая, не пикнув:  
Закон имея естества,  
Она желала сватовства.

Но вот опять арена скачет,  
Ход представленья снова начат.  
Два тоненькие мужика  
Стоят, сгибаясь, у шеста.  
Один, ладони поднимая,  
На воздух медленно ползет,  
То красный шарик выпускает,  
То вниз, нарядный, упадет  
И товарищу на плечи  
Тонкой ножкою встает.  
Потом они, смеясь опасно,  
Ползут наверх единоголосно  
И там, обнявшись наугад,  
На толстом воздухе стоят.  
Они дыханьем укрепляют  
Двойного тела равновесье,  
Но через миг опять летают,  
Себя по воздуху развесья.

Тут опять, восторга полон,  
Зал трясется, как кликуша,  
И стучит ногами в пол он,  
Не щадя чужие уши.  
Один старик интеллигентный  
Сказал, другому говоря:  
«Этот праздник разноцветный  
Посещаю я не зря.  
Здесь нахожу я греческие игры,  
Красоток розовые икры,  
Научных замечая лошадей,—  
Это не цирк, а прямо чародей!»  
Другой, плешивый, как колено,  
Сказал, что это несомненно.

На последний страшный номер  
Вышла женщина-змея.  
Она усердно ползала в соломе,  
Ноги в кольца завия.  
Проползав несколько минут,  
Она совсем лишилась тела.  
Кругом служители бегут:  
— Где? Где?  
Красотка улетела!

Тут пошел в народе ужас,  
Все свои хватают шапки  
И бросаются наружу,  
Имея девок полные охапки.  
«Воры! Воры!» — все кричали.  
Но воры были невидимки:  
Они в тот вечер угощали  
Своих друзей на Ситном рынке.  
Над ними небо было рыто  
Веселой руганью двойной,  
И жизнь трещала, как корыто,  
Летая книзу головой.

---

## СМЕШАННЫЕ СТОЛБЦЫ

### ЛИЦО КОНЯ

Животные не спят. Они во тьме ночной  
Стоят над миром каменной стеной.

Рогами гладкими шумит в соломе  
Покатая коровы голова.  
Раздвинув скулы вековые,  
Ее притиснул каменистый лоб,  
И вот косноязычные глаза  
С трудом вращаются по кругу.

Лицо коня прекрасней и умней.  
Он слышит говор листьев и камней.  
Внимательный! Он знает крик звериный  
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И зная всё, кому расскажет он  
Свои чудесные виденья?  
Ночь глубока. На темный небосклон  
Восходят звезд соединенья.  
И конь стоит, как рыцарь на часах,  
Играет ветер в легких волосах,  
Глаза горят, как два огромных мира,  
И грива стелется, как царская порфира.

И если б человек увидел  
Лицо волшебное коня,  
Он вырвал бы язык бессильный свой  
И отдал бы коню. Поистине достоин  
Иметь язык волшебный конь!  
Мы услышали бы слова.  
Слова большие, словно яблоки. Густые,



Как мед или крутое молоко.  
Слова, которые вонзаются, как пламя,  
И, в душу залетев, как в хижину огонь,  
Убогое убранство освещают.  
Слова, которые не умирают  
И о которых песни мы поем.

Но вот конюшня опустела,  
Деревья тоже разошлись,  
Скупое утро горы спеленало,  
Поля открыло для работ.  
И лошадь в клетке из оглобель,  
Повозку крытую влача,  
Глядит покорными глазами  
В таинственный и неподвижный мир.

1926

#### В Ж И Л И Щ А Х Н А Ш И Х

В жилищах наших  
Мы тут живем умно и некрасиво.  
Справляя жизнь, рождаясь от людей,  
Мы забываем о деревьях.

Они поистине металла тяжелей  
В зеленом блеске сомкнутых кудрей.

Иные, кроны поднимая к небесам,  
Как бы в короны спрятали глаза,  
И детских рук изломанная прелесть,  
Одетая в кисейные листы,  
Еще плодов удобных не наелась  
И держит звонкие плоды.

Так сквозь века, селенья и сады  
Мерцают нам удобные плоды.

Нам непонятна эта красота —  
Деревьев влажное дыханье.  
Вон дровосеки, позабыв топор,  
Стоят и смотрят, тихи, молчаливы.  
Кто знает, что подумали они,  
Что вспомнили и что открыли,  
Зачем, прижав к холодному стволу  
Свое лицо, неудержимо плачут?

Вот мы нашли поляну молодую,  
Мы встали в разные углы,  
Мы стали тоньше. Головы растут,  
И небо приближается навстречу.  
Затвердевают мягкие тела,  
Блаженно дервенеют вены,  
И ног проросших больше не поднять,  
Не опустить раскинутые руки.  
Глаза закрылись, времена отпали,  
И солнце ласково коснулось головы.

В ногах проходят влажные валы.  
Уж влага поднимается, струится  
И омывает листовенные лица:  
Земля ласкает детище свое.  
А вдалеке над городом дымится  
Густое фонарей копье.

Был город осликом, четырехстенным домом.  
На двух колесах из камней  
Он ехал в горизонте плотном,  
Сухие трубы накреня.  
Был светлый день. Пустые облака,  
Как пузыри морщинистые, вылетали.  
Шел ветер, огибая лес.  
И мы стояли, тонкие деревья,  
В бесцветной пустоте небес.

1926

#### ПРОГУЛКА

У животных нет названья.  
Кто им зваться повелел?  
Равномерное страданье —  
Их невидимый удел.  
Бык, беседа с природой,  
Удаляется в луга.  
Над прекрасными глазами  
Светят белые рога.  
Речка девочкой невзрачной  
Притаилась между трав,  
То смеется, то рыдает,  
Ноги в землю закопав.  
Что же плачет? Что тоскует?  
Отчего она больна?  
Вся природа улыбнулась,  
Как высокая тюрьма.

Каждый маленький цветочек  
Машет маленькой рукой.  
Бык седые слезы точит,  
Ходит пышный, чуть живой.  
А на воздухе пустынном  
Птица легкая кружится,  
Ради песенки старинной  
Нежным горлышком трудится.  
Перед ней сияют воды,  
Лес качается, велик,  
И смеется вся природа,  
Умирая каждый миг.

1929

### З М Е И

Лес качается, прохладен,  
Тут же разные цветы,  
И тела блестящих гадин  
Меж камнями завиты.  
Солнце жаркое, простое,  
Льет на них свое тепло.  
Меж камней тела устроя,  
Змеи гладки, как стекло.  
Прощумит ли сверху птица  
Или жук провоет смело,  
Змеи спят, запрятав лица  
В складках жареного тела,  
И загадочны и бедны,  
Спят они, открывши рот,  
А вверху едва заметно  
Время в воздухе плывет.  
Год проходит, два проходит,  
Три проходит. Наконец  
Человек тела находит —  
Сна тяжелый образец.  
Для чего они? Откуда?  
Оправдать ли их умом?  
Но прекрасных тварей груды  
Спит, разбросана кругом.  
И уйдет мудрец, задумчив,  
И живет, как нелюдим,  
И природа, вмиг наскучив,  
Как тюрьма стоит над ним.

1929

## ИСКУШЕНИЕ

Смерть приходит к человеку,  
Говорит ему: «Хозяин,  
Ты походишь на калеку,  
Насекомыми кусаем.  
Брось житье, иди за мною,  
У меня во гробе тихо.  
Белым саваном укрою  
Всех от мала до велика.  
Не грусти, что будет яма,  
Что с тобой умрет наука:  
Поле выпашется само,  
Рожь поднимется без плуга.  
Солнце в полдень будет жгучим,  
Ближе к вечеру прохладным.  
Ты же, опытом научен,  
Будешь белым и могучим  
С медным крестиком квадратным  
Спать во гробе аккуратном».

«Смерть, хозяйина не трогай,—  
Отвечает ей мужик.—  
Ради старости убогой  
Пощади меня на миг.  
Дай мне малую отсрочку,  
Отпусти меня. А там  
Я единственную дочку  
За труды тебе отдам».

Смерть не плачет, не смеется,  
В руки девицу берет  
И, как полымя, несется,  
И трава под нею гнется  
От избушки до ворот.  
Холмик во поле стоит,  
Дева в холмике шумит:  
«Тяжело лежать во гробе,  
Почернели ручки обе,  
Стали волосы как пыль,  
Из грудей растет ковыль.  
Тяжело лежать в могиле,  
Губки тоненькие сгнили,  
Вместо глазок — два кружка,  
Нету милого дружка!»

Смерть над холмиком летает  
И хохочет и грустит,  
Из ружья в него стреляет

И склоняясь говорит:  
«Ну, малютка, полно врать,  
Полно глотку в гробе драть!  
Мир над миром существует,  
Вылезай из гроба прочь!  
Слышишь, ветер в поле дует,  
Наступает снова ночь.  
Караваны сонных звезд  
Пролетели, пронеслись.  
Кончен твой подземный пост,  
Ну, попробуй, поднимись!»

Дева ручками взмахнула,  
Не поверила ушам,  
Доску вышибла, вспрыгнула,  
Хлоп! И лопнула по швам.

И течет, течет бедняжка  
В виде маленьких кишок.  
Где была ее рубашка,  
Там остался порошок.  
Изо всех отверстий тела  
Червяки глядят несмело,  
Вроде маленьких малюток  
Жидкость розовую пьют.

Была дева — стали щи.  
Смех, не смейся, подожди!  
Солнце встанет, глина треснет,  
Мигом девица воскреснет.  
Из берцовой из кости  
Будет деревце расти,  
Будет деревце шуметь,  
Про девицу песни петь,  
Про девицу песни петь,  
Сладким голосом звенеть:  
«Баю, баюшки, баю,  
Баю девочку мою!  
Ветер в поле улетел,  
Месяц в небе побелел.  
Мужики по избам спят,  
У них много есть котят.  
А у каждого кота  
Были красны ворота,  
Шубки синеньки у них,  
Все в сапожках золотых,  
Все в сапожках золотых,  
Очень, очень дорогих...»

1929

## МЕРКНУТ ЗНАКИ ЗОДИАКА

Меркнут знаки Зодиака  
Над просторами полей.  
Спит животное Собака,  
Дремлет птица Воробей.  
Толстозадые русалки  
Улетают прямо в небо,  
Руки крепкие, как репа,  
Груды круглые, как репа.  
Ведьма, сев на треугольник,  
Превращается в дымок.  
С лешачихами покойник  
Стройно пляшет кекуок.  
Вслед за ними бледным хором  
Ловят Муху колдуны,  
И стоит над косогором  
Неподвижный лик луны.

Меркнут знаки Зодиака  
Над постройками села,  
Спит животное Собака,  
Дремлет рыба Камбала.  
Колотушка тук-тук-тук,  
Спит животное Паук,  
Спит Корова, Муха спит,  
Над землей луна висит.  
Над землей большая плошка  
Опрокинутой воды.  
Леший вытащил бревешко  
Из мохнатой бороды.  
Из-за облака сирена  
Ножку выставила вниз,  
Людоед у джентльмена  
Неприличное отгрыз.  
Все смешалось в общем танце,  
И летят во все концы  
Гамадрилы и британцы,  
Ведьмы, блохи, мертвецы.

Кандидат былых столетий,  
Полководец новых лет,  
Разум мой! Уродцы эти —  
Только вымысел и бред.  
Только вымысел, мечтанье,  
Сонной мысли колыханье,  
Безутешное страданье,—  
То, чего на свете нет.

Высока земли обитель.  
Поздно, поздно. Спать пора!  
Разум, бедный мой воитель,  
Ты заснул бы до утра.  
Что сомненья? Что тревоги?  
День прошел, и мы с тобой —  
Полузвери, полубоги —  
Засыпаем на пороге  
Новой жизни молодой.

Колотушка тук-тук-тук,  
Спит животное Паук,  
Спит Корова, Муха спит,  
Над землей луна висит.  
Над землей большая плошка  
Опрокинутой воды.  
Спит растение Картошка.  
Засыпай скорей и ты!

1929

## ИСКУССТВО

Дерево растет, напоминая  
Естественную деревянную колонну.  
От нее расходятся члены,  
Одетые в круглые листья.  
Собрание таких деревьев  
Образует лес, дубраву.  
Но определение леса неточно,  
Если указать на одно формальное строение.

Толстое тело коровы,  
Поставленное на четыре окончания,  
Увенчанное храмовидной головою  
И двумя рогами (словно луна в первой четверти),  
Тоже будет непонятно,  
Также будет непостижимо,  
Если забудем о его значенье  
На карте живущих всего мира.

Дом, деревянная постройка,  
Составленная как кладбище деревьев,  
Сложенная как шалаш из трупов,  
Словно беседка из мертвецов, —  
Кому он из смертных понятен,

Кому из живущих доступен,  
Если забудем человека,  
Кто строил его и рубил?

Человек, владыка планеты,  
Государь деревянного леса,  
Император коровьего мяса,  
Саваоф двухэтажного дома,—  
Он и планетою правит,  
Он и леса вырубает,  
Он и корову зарежет,  
А вымолвить слова не может.

Но я, однообразный человек,  
Взял в рот длинную сияющую дудку,  
Дул, и, подчиненные дыханию,  
Слова вылетали в мир, становясь предметами.

Корова мне кашу варила,  
Дерево сказку читало,  
А мертвые домики мира  
Прыгали, словно живые.

1930

#### ВОПРОСЫ К МОРЮ

Хочу у моря я спросить,  
Для чего оно кипит?  
Пук травы зачем висит,  
Между волн его сокрыт?  
Это множество воды  
Очень дух смущает мой.  
Лучше б выросли сады  
Там, где слышен моря вой.  
Лучше б тут стояли хаты  
И полезные растенья,  
Звери бегали рогагы  
Для крестьян увеселенья.  
Лучше бы руду копать  
Там, где моря видим гладь,  
Сани делать, башни строить,  
Волка пулей беспокоить,  
Разводить медикаменты,  
Кукурузу молотить,  
Деве розовые ленты  
В виде опыта дарить.



В хороводе бы скакать,  
Змея под вечер пускать  
И дневные впечатленья  
В свою книжечку писать.

1930

## ВРЕМЯ

1

Ираклий, Тихон, Лев, Фома  
Сидели важно вокруг стола.  
Над ними дедовский фонарь  
Висел, роняя свет на пир.  
Фонарь был пышный и старинный,  
Но в виде женщины чугунной.  
Та женщина висела на цепях,  
Ей в спину наливали масло,  
Дабы лампада не погасла  
И не остаться всем впотьмах.

2

Благообразная вокруг  
Сияла комната для пира.  
У стен — с провизией сундук,  
Там — изображение кумира  
Из дорогого алебастра.  
В горшке цвела большая астра.  
И несколько стульев прекрасных  
Вокруг стояли стен однообразных.

3

Так в этой комнате жилой  
Сидело четверо пирующих гостей.  
Иногда они вскакивали,  
Хватались за ножки своих бокалов  
И пронзительно кричали: «Виват!»  
Светила лампа в двести ватт.  
Ираклий был лесной солдат,  
Имел ружья огромную тетерю,  
В тетере был большой курок.  
Нажав его перстом, я верю,  
Животных бить возможно впрок.

Ираклий говорил, изображая  
 Собой могучую фигуру:  
 «Я женщин с детства обожаю.  
 Они представляют собой роскошную клавиатуру,  
 Из которой можно извлекать аккорды».  
 Со стен смотрели морды  
 Животных, убитых во время перестрелки.  
 Часы двигали свои стрелки.  
 И не сдержав разбег ума,  
 Сказал задумчивый Фома:  
 «Да, женщины значение огромно,  
 Я в том согласен безусловно,  
 Но мысль о времени сильнее женщин. Да!  
 Споем песенку о времени, которую мы поем всегда».

ПЕСЕНКА О ВРЕМЕНИ

Легкий ток из чаши А  
 Тихо льется в чашу Бе,  
 Вяжет дева кружева,  
 Пляшут звезды на трубе.

Поворачивая ввысь  
 Андромеду и Коня,  
 Над землею поднялись  
 Кучи звездного огня.

Год за годом, день за днем  
 Звездным мы горим огнем,  
 Плачем мы, созвездий дети,  
 Тянем руки к Андромеде

И уходим навсегда,  
 Увидавши, как в трубе  
 Легкий ток из чаши А  
 Тихо льется в чашу Бе.

Тогда ударил вновь бокал,  
 И разом все «Виват!» вскричали,  
 И им в ответ, устроив бал,  
 Часы пять криков прокричали.  
 Как будто маленький собор,  
 Висящий крепко на гвозде,

Часы кричали с давних пор,  
Как надо двигаться звезде.  
Бездонный времени сундук,  
Часы — творенье адских рук!  
И все это прекрасно понимая,  
Сказал Фома, родиться мысли помогая:  
«Я предложил бы истребить часы!»  
И закрутив усы,  
Он посмотрел на всех спокойным глазом.  
Блестела женщина своим чугунным тазом.

7

А если бы они взглянули за окно,  
Они б увидели великое пятно  
Вечернего светила.  
Растенья там росли, как дудки,  
Цветы качались выше плеч,  
И в каждой травке, как в желудке,  
Возможно свету было течь.  
Мясных растений городок  
Пересекал воды поток.  
И, обнаженные, слагались  
В ладошки длинные листы,  
И жилы нижние купались  
Среди химической воды.

8

И с отвращеньем посмотрев в окошко,  
Сказал Фома: «Ни клюква, ни морошка,  
Ни жук, ни мельница, ни пташка,  
Ни женщины большая ляжка  
Меня не радуют. Имейте все в виду:  
Часы стучат, и я сейчас уйду».

9

Тогда встает безмолвный Лев,  
Ружье берет, остервенев,  
Влагает в дуло два заряда,  
Всыпает порох роковой  
И в середину циферблата  
Стреляет крепкою рукой.  
И все в дыму стоят, как боги,  
И шепчут, грозные: «Виват!»  
И женщины железной ноги  
Горят над ними в двести ватт.

И все растенья припадают  
К стеклу, похожему на клей,  
И с удивленьем наблюдают  
Могилу разума людей.

1933

## ИСПЫТАНИЕ ВОЛИ

А г а ф о н о в

Прошу садиться, выпить чаю.  
У нас варенья полон чан.

К о р н е е в

Среди посуды я различаю  
Прекрасный чайник англичан.

А г а ф о н о в

Твой глаз, Корнеев, наострился,  
Ты видишь Англии фарфор.  
Он в нашей келье появился  
Еще совсем с недавних пор.  
Мне подарил его мой друг,  
Открыв с посудною сундук.

К о р н е е в

Невероятна речь твоя,  
Приятель сердца Агафонов!  
Ужель могу поверить я:  
Предмет, достойный Пантеонов,  
Роскошный Англии призра́к,  
Который видом тешит зрак,  
Жжет душу, разум просветляет,  
Больных к художеству склоняет,  
Засохшим сердце веселит,  
А сам сияет и горит, —  
Ужель такой предмет высокий,  
Достойный лучшего венца,  
Отныне в хижине убогой  
Травкою лечит мудреца?

А г а ф о н о в

Да, это правда.

К о р н е е в

Боже правый!  
Предмет, достойный лучших мест,

Стоит, наполненный отравой,  
Где Агафонов кашу ест!  
Подумай только: среди ручек,  
Которы тонки, как зефир,  
Он мог бы жить в условиях лучших  
И почитаться как кумир.  
Властитель Англии туманной,  
Его поставивши в углу,  
Сидел бы весь благоуханный,  
Шепча посуде похвалу.  
Наследник пышною особой  
При нем ходил бы, сняв сапог,  
И в виде милости особой  
Едва за носик трогать мог.  
И вдруг такие небылицы!  
В простую хижину упав,  
Сей чайник носит нам водицы,  
Хотя не князь ты и не граф.

А г а ф о н о в

Среди различных лицедеев  
Я слышал множество похвал,  
Но от тебя, мой друг Корнеев,  
Таких речей не ожидал.  
Ты судишь, право, как лунатик,  
Ты весь от страсти изнемог,  
И жила вздулась, как канатик,  
Обезобразив твой висок.  
Ужели чайник есть причина?  
Возьми его! На что он мне!

К о р н е е в

Благодарю тебя, мужчина.  
Теперь спокоен я вполне.  
Прощай. Я весь еще рыдаю.  
(Уходит.)

А г а ф о н о в

Я духом в воздухе летаю,  
Я телом в келейке лежу  
И чайник снова в келью приглашу.

К о р н е е в  
(входит)

Возьми обратно этот чайник,  
Он ненавистен мне навек:  
Я был премудрости начальник,  
А стал пропащий человек.

А г а ф о н о в  
(обнимая его)

Хвала тебе, мой друг Корнеев,  
Ты чайник духом победил,  
Итак, бери его скорее:  
Я дарю тебе его изо всех сил.

1931

П О Э М А Д О Ж Д Я

В о л к

Змея почтенная лесная,  
Зачем ползешь, сама не зная,  
Куда идти, зачем спешить?  
Ужель спеша возможно жить?

З м е я

Премудрый волк, уму непостижим  
Тот мир, который неподвижен.  
И так же просто мы бежим,  
Как вылетает дым из хижин.

В о л к

Понять не трудно твой ответ.  
Куда как слаб рассудок змея!  
Ты от себя бежишь, мой свет,  
В движенье правду разумея.

З м е я

Я вижу, ты идеалист.

В о л к

Гляди: спадает с древа лист.  
Кукушка, песенку построя  
На двух тонах (дитя простое!),  
Поет внутри высоких роц.  
При солнце льется ясный дождь,  
Течет вода две-три минуты,  
Крестьяне бегают разуты,  
Потом опять сияет свет,  
Дождь миновал, и капель нет.  
Открой мне смысл картины этой.

## З м е я

Иди, с волками побеседуй,  
Они дадут тебе отчет,  
Зачем вода с небес течет.

## В о л к

Отлично. Я пойду к волкам.  
Течет вода по их бокам.  
Вода, как матушка, поет,  
Когда на нас тихонько льет.  
Природа в стройном сарафане,  
Главою в солнце упершись,  
Весь день играет на органе.  
Мы называем это: жизнь.  
Мы называем это: дождь,  
По лужам шлепанье малюток,  
И шум лесов, и пляски рощ,  
И в роще хохот незабудок.  
Или, когда угрюм орган,  
На небе слышен барабан,  
И войско туч пудов на двести  
Лежит вверху на каждом месте,  
Когда могучих вод поток  
Сшибает с ног лесного зверя,—  
Самим себе еще не веря,  
Мы называем это: Бог.

1931

## О Т Д Ы Х

Вот на площади квадратной  
Маслодельня, белый дом!  
Бык гуляет аккуратный,  
Чуть качая животом.  
Дремлет кот на белом стуле,  
Под окошком вьются гули,  
Бродит тетя Мариули,  
Звонко хлопая ведром.

Сепаратор, бог чухонский,  
Масла розовый король!  
Укrotи свой топот конский,  
Полюбить тебя позволь.  
Дай мне два кувшина сливок,  
Дай сметаны полведра,

Чтобы пел я возле ивок  
Вплоть до самого утра!

Маслодельни легкий стук,  
Масла маленький сундук,  
Что стучишь ты возле пашен,  
Там, где бык гуляет, важен,  
Что играешь возле ив,  
Стенку набок наклонив?

Спой мне, тетя Мариули,  
Песню легкую, как сон!  
Все животные заснули,  
Месяц в небо унесен.  
Безобразный, конопатый,

Словно толстый херувим,  
Дремлет дядя Волохатый  
Перед домиком твоим.  
Все спокойно. Вечер с нами!  
Лишь на улице глухой  
Слышу: бьется под ногами  
Заглушенный голос мой.

1930

#### П Т И Ц Ы

Колыхаясь еле-еле  
Всем ветрам наперерез,  
Птицы легкие висели,  
Как лампы среди небес.

Их глаза, как телескопики,  
Смотрели прямо вниз.  
Люди ползали, как клопики,  
Источники вились.

Мышь бежала возле пашен,  
Птица падала на мышь.  
Трупик, вмиг обезображен,  
Убираем был в камыш.

В камышах сидела птица,  
Мышку пальцами рвала,  
Изо рта ее водица  
Струйкой на землю текла.



И сдвигая телескопики  
Своих потухших глаз,  
Птица думала. На холмике  
Катился тарантас.

Тарантас бежал по полю,  
В тарантасе я сидел  
И своих несчастий долю  
Тоже на сердце имел.

1933

#### ЧЕЛОВЕК В ВОДЕ

Формы тела и ума  
Кто рубил и кто ковал?  
Там, где море-каурма,  
Словно идол, ходит вал.

Словно череп, безволос,  
Как червяк подземный, бел,  
Человек, расправив хвост,  
Перед волнами сидел.

Разворачивая ладони,  
Словно белые блины,  
Он качался на попоне  
Всем хребтом своей спины.

Каждый маленький сустав  
Был распарен и раздут.  
Море телом исхлестав,  
Человек купался тут.

Море телом просверлив,  
Человек нырял на дно.  
Словно идол, шел прилив,  
Заслоня дна пятно.

Человек, как гусь, как рак,  
Носом радостно трубя,  
Покидая дна овраг,  
Шел, бородку теребя.

Он размахивал хвостом,  
Он притоптывал ногой  
И кружился колесом,  
Безволосый и нагой.

А на жареной спине,  
Над безумцем хохоча,  
Инфузории одне  
Ели кожу лихача.

1930

### ЗВЕЗДЫ, РОЗЫ И КВАДРАТЫ

Звезды, розы и квадраты,  
Стрелы северного сиянья,  
Тонки, круглы, полосаты,  
Осеняли наши зданья.  
Осеняли наши дома  
Жезлы, кубки и колеса.  
В чердаках визжали кошки,  
Грохотали телескопы.  
Но машина круглым глазом  
В небе бегала напрасно:  
Все квадраты улетали,  
Исчезали жезлы, кубки.  
Только маленькая птичка  
Между солнцем и луною  
В дырке облака сидела,  
Во все горло песню пела:  
«Вы не вейтесь, звезды, розы,  
Улетайте, жезлы, кубки,—  
Между солнцем и луною  
Бродит утро за горами!»

1930

### ЦАРИЦА МУХ

Бьет крылом седой петух,  
Ночь повсюду наступает.  
Как звезда, царица мух  
Над болотом пролетает.  
Бьется крылышком отвесным  
Остов тела, обнажен,  
На груди пентакль чудесный  
Весь в лучах изображен.  
На груди пентакль печальный  
Между двух прозрачных крыл,  
Словно знак первоначальный  
Неразгаданных могил.

Есть в болоте странный мох,  
Тонок, розов, многоног,  
Весь прозрачный, чуть живой,  
Презираемый травой.  
Сирота, чудесный житель  
Удаленных бедных мест,  
Это он сулит обитель  
Мухе, реющей окрест.  
Муха, вся стуча крылами,  
Мускул грудки развернув,  
Опускается кругами  
На болота влажный туф.

Если ты, мечтой томим,  
Знаешь слово Элоим,  
Муху странную бери,  
Муху в банку посади,  
С банкой по полю ходи,  
За приметами следи.  
Если муха чуть шумит —  
Под ногою медь лежит.  
Если усиком ведет —  
К серебру тебя зовет.  
Если хлопает крылом —  
Под ногами злата ком.

Тихо-тихо ночь ступает,  
Слышен запах тополей.  
Меркнет дух мой, замирает  
Между сосен и полей.  
Спят печальные болота,  
Шевелятся корни трав.  
На кладбище стонет кто-то,  
Телом к холмику припав.  
Кто-то стонет, кто-то плачет,  
Льются звезды с высоты.  
Вот уж мох вдали маячит.  
Муха, муха, где же ты?

1930

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Где древней музыки фигуры,  
Где с мертвым бой клавиатуры,  
Где битва нот с безмолвием пространства —  
Там не ищи, поэт, душе своей убранства.

Соединив безумие с умом,  
Среди пустынных смыслов мы построим дом —  
Училище миров, неведомых доселе.  
Поэзия есть мысль, устроенная в теле.

Она течет, незримая, в воде —  
Мы воду воспоем усердными трудами.  
Она горит в полуночной звезде —  
Звезда, как полымя, бушует перед нами.

Тревожный сон коров и беглый разум птиц  
Пусть смотрят из твоих диковинных страниц,  
Деревья пусть поют и страшным разговором  
Пугает бык людей, тот самый бык, в котором  
Заключено безмолвие миров,  
Соединенных с нами крепкой связью.

Побит камнями и закидан грязью,  
Будь терпелив. И помни каждый миг:  
Коль музыки коснешься чутким ухом,  
Разрушится твой дом и, ревностный к наукам,  
Над нами посмеется ученик.

1932

### ПОДВОДНЫЙ ГОРОД

Птицы плавают над морем.  
Славен город Посейдон!  
Мы машиной воду роём.  
Славен город Посейдон!  
На трубе Чимальпопока  
Мы играем в окна мира:  
Под волнами спит глубоко  
Башен стройная порфира.  
В страшном блеске орихалка  
Город солнца и числа  
Спит, и буря, как весталка, —  
Буря волны принесла.

Море! Море! Морда гроба!  
Вечной гибели закон!  
Где легла твоя утроба,  
Умер город Посейдон.

Чуден вид его и страшен:  
Рыбой съедены до пят,  
Из больших окошек башен  
Люди длинные глядят.

Человек, носим волною,  
Едет книзу головою.  
Осьминог сосет ребенка,  
Только влас висит коронка.  
Рыба, пухлая, как мох,  
Вкруг колонны ловит блох.  
И над круглыми домами,  
Над фигурами из бронзы,  
Над могилами науки,  
Пирамидами владыки —  
Только море, только сон,  
Только неба синий тон.

1930

## ШКОЛА ЖУКОВ

### Женщины

Мы, женщины, повелительницы котлов,  
Изобретательницы каш,  
Толкачихи мира вперед, —  
Дни и ночи, дни и ночи,  
Полные любовного трудолюбия,  
Рождаем миру толстых красных младенцев.  
Как корабли, уходящие в дальнее плавание,  
Младенцы имеют полную оснастку органов:  
Это теперь пригодится, это — потом.  
Горы живого сложного мяса  
Мы кладем на руки человечества.  
Вы, плотники, ученые леса,  
Вы, каменщики, строители хижин,  
Вы, живописцы, покрывающие стены  
Загадочными фигурками нашей истории,  
Откройте младенцам глаза,  
Развяжите уши  
И толкните неопытный разум  
На первые подвиги.

### Плотники

Мы, плотники, ученые леса,  
Математики жизни деревьев,

Построим младенцам огромные колыбели  
На крепких дубовых ногах.  
Великие мореходы  
Получат кровати из клена:  
Строенье кленовых волокон  
Подобно морскому прибору.  
Ткачам, инженерам одежды,  
Прилична кровать из чинара:  
Чинар — это дерево-ткач,  
Плетущий себя самого.  
Ясень,  
На котором продолговатые облака,  
Будет учителем в небо полетов.  
Черные полосы лиственниц  
Научат строительству рельсов.  
Груша и липа —  
Наставницы маленьких девочек.  
Дерево моа похоже на мед —  
Пчеловодов учитель.  
Туя, крупы властелинша,—  
Урок земледельцу.  
Бурый орех как земля —  
Землекопу помощник.  
Учит каменья тесать  
И дома возводить — палисандра.  
Черное дерево — это металла двойник,  
Свет кузнецам,  
Воспитанье вождям и солдатам.

#### Ж и в о п и с ц ы

Мы нарисуем фигурки зверей  
И сцены из жизни растений.  
Тело коровы,  
Читающей курс Маслоделья,  
Вместо Мадонны  
Будет сиять над кроватью младенца.  
Мы нарисуем пляску верблюдов  
В могучих песках Самарканда,  
Там, где зеркальная чаша  
Бежит за движением солнца.  
Мы нарисуем  
Историю новых растений.  
Дети простых садоводов,  
Стали они словно бомбы.  
Первое их пробуждение  
Мы не забудем —  
Час, когда в ножке листа  
Обозначился мускул,

В теле картошки  
Зачаток мозгов появился  
И кукурузы глазок  
Открылся на кончике стебля.  
Злаков войну рисуем мы,  
Битву овса с воробьями —  
День, когда птица упала,  
Сраженная листьев ударом.  
Вот что рисуем мы  
На наших картинах.  
Тот, кто увидит их раз,  
Не забудет до гроба.

### К а м е н щ и к и

Мы поставим на улице сто изваяний.  
Из алебастра сделанные люди,  
У которых отпилены черепные крышки,  
Мозг исчез,  
А в дыры стеклянных глазниц  
Натекла дождевая вода,  
И в ней купаются голуби, —  
Сто безголовых героев  
Будут стоять перед миром,  
Держа в руках окончанья своих черепов.  
Каменные шляпы  
Сняли они со своих черепов,  
Как бы приветствуя будущее!  
Сто наблюдателей жизни животных  
Согласились отдать свой мозг  
И переложить его  
В черепные коробки ослов,  
Чтобы сияло  
Животных разумное царство.  
Вот добровольная  
Расплата человечества  
Со своими рабами!  
Лучшая жертва,  
Которую видели звезды!  
Пусть же подобье героев  
Отныне стоит перед миром младенцев.  
Маленькие граждане мира  
Будут играть  
У каменных ног истуканов,  
Будут бросать в черепа мудрецов  
Гладкие камушки-гальки,  
Бульканье вод будут слушать  
И разговоры голубок,

В каменной пазухе мира  
Жуков находить и кузнечиков.  
Жуки с неподвижными крыльями,  
Зародыши славных Сократов,  
Катают хлебные шарики,  
Чтобы сделаться умными.  
Кузнечики — это часы насекомых,  
Считают течение времени,  
Сколько кому осталось  
Свой ум развивать  
И когда передать его детям.  
Так, путешествуя  
Из одного тела в другое,  
Вырастает таинственный разум.  
Время кузнечика и пространство жука —  
Вот младенчество мира.

#### Ж е н щ и н ы

Ваши слова достойны уважения,  
Плотники, живописцы и каменщики!  
Ныне заложена первая  
Школа Жуков.

1931

#### О Т Д Ы Х А Ю Щ И Е К Р Е С Т Ь Я Н Е

Толпа высоких мужиков  
Сидела важно на бревне.  
Обычай жизни был таков,  
Досуги, милые вдвойне.  
Царя ли свергнут или разом  
Скотину волк на поле съест,  
Они сидят, гуторя басом,  
Про то да се узнав окрест.

Иногда во тьме ночной  
Приносят длинную гармошку,  
Извлекают резкие продолжительные звуки  
И на травке молодой  
Скачут страшными прыжками,  
Взявшись за руки, толпой.

Вот толпа несется, воеет,  
Слышен запах потной кожи,  
Музыканты рожи строят,  
На чертей весьма похожи.  
В громе, давке, кувырканые



«Эх, пошла! — кричат. — Наддай-ка!»  
Реют бороды бараньи,  
Стонет, воет балалайка.  
«Эх, пошла!» И дым столбом,  
От натуги бледны лица.  
Многоногий пляшет ком,  
Воет, стонет, веселится.

Но старцы сумрачной толпой  
Сидят на бревнах меж домами,  
И лунный свет, виясь столбами,  
Висит над ними как живой.  
Тогда, привязанные к хатам,  
Они глядят на этот мир,  
Обсуждают, что такое атом,  
Каков над воздухом эфир.  
И скажет кто-нибудь, печалясь,  
Что мы, пожалуй, не цари,  
Что наверху плывут, качаясь,  
Миров иные кубари.  
Гром мечут, искры составляют,  
Живых растеньями питают,  
А мы, приклеены к земле,  
Сидим, как птенчики в дупле.

Тогда крестьяне, созерцая  
Природы стройные холмы,  
Сидят, задумчиво мерцая  
Глазами страшной старины.  
Иной жуков наловит в шапку,  
Глядит, внимателен и тих,  
Какие есть у тварей лапки,  
Какие крылышки у них.  
Иной первоначальный астроном  
Слагает из бересты телескоп,  
И ворон с каменным крылом  
Стоит на крыше, словно поп.

А на вершинах Зодиака,  
Где слышен музыки орган,  
Двенадцать люстр плывут из мрака,  
Составив круглый караван.  
И мы под ними, как малютки,  
Сидим, считая день за днем,  
И, в кучу складывая сутки,  
Весь месяц в люстру отдаем.

1933

## БИТВА СЛОНОВ

Воин слова, по ночам  
Петь пора твоим мечам!

На бессильные фигурки существительных  
Кидаются лошади прилагательных,  
Косматые всадники  
Преследуют конницу глаголов,  
И снаряды междометий  
Рвутся над головами,  
Как сигнальные ракеты.

Битва слов! Значений бой!  
В башке Синтаксис — разбой.  
Европа сознания  
В пожаре восстания.  
Невзирая на пушки врагов,  
Стреляющие разбитыми буквами,  
Боевые слоны подсознания  
Вылезают и топчутся,  
Словно исполинские малютки.

Но вот, с рождения не евши,  
Они бросаются в таинственные бреши  
И с человечьими фигурками в зубах  
Счастливо поднимаются на задние ноги.  
Слоны подсознания!  
Боевые животные преисподней!  
Они стоят, приветствуя веселым воем  
Все, что захвачено разбоем.

Маленькие глазки слонов  
Наполнены смехом и радостью.  
Сколько игрушек! Сколько хлопущек!  
Пушки замолкли, крови покушав,  
Синтаксис домики строит не те,  
Мир в неуклюжей стоит красоте.  
Деревьев отброшены старые правила,  
На новую землю их битва направила.  
Они разговаривают, пишут сочинения,  
Весь мир неуклюжего полон значения!  
Волк вместо разбитой морды  
Приделал себе человечье лицо,  
Вытащил флейту, играет без слов  
Первую песню военных слонов.

Поэзия, сражение проиграв,  
Стоит в растерзанной короне.  
Рушились башен столетних Монбланы,  
Где цифры сияли, как будто полканы,  
Где меч силлогизма горел и сверкал,  
Проверенный чистым рассудком.  
И что же? Сражение он проиграл  
Во славу иным прибауткам!

Поэзия в великой муке  
Ломает бешеные руки,  
Клянет весь мир,  
Себя зарезать хочет,  
То, как безумная, хохочет,  
То в поле бросится, то вдруг  
Лежит в пыли, имея много мук.

На самом деле, как могло случиться,  
Что пала древняя столица?  
Весь мир к поэзии привык,  
Все было так понятно.  
В порядке конница стояла,  
На пушках цифры малевала,  
И на знаменах слово Ум  
Кивало всем, как добрый кум.  
И вдруг какие-то слоны,  
И все перевернулось!  
Поэзия начинает приглядываться,  
Изучать движение новых фигур,  
Она начинает понимать красоту неуклюжести,  
Красоту слона, выброшенного преисподней.

Сражение кончено. В пыли  
Цветут растения земли  
И слон, рассудком приручаем,  
Ест пироги и запивает чаем.

1931

## ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

*Поэма*

ПРОЛОГ

Нехороший, но красивый,  
Это кто глядит на нас?  
То мужик неторопливый  
Сквозь очки устал глаз.

Белых житниц отделенья  
Поднимались в отдаленье,  
Сквозь окошко хлеб глядел,  
В загородке конь сидел.  
Тут природа вся валялась  
В страшно диком беспорядке:  
Кой-где дерево шаталось,  
Там реки струилась прядка.  
Тут стояли две-три хаты  
Над безумным ручейком.  
Идет медведь продолговатый  
Как-то поздно вечером.  
А над ним, на небе тихом,  
Безобразный и большой,  
Журавель летает с гиком,  
Потрясая головой.  
Из клюва развевался свиток,  
Где было сказано: «Убыток  
Дают трехпольные труды».  
Мужик гладил конец бороды.

#### 1. БЕСЕДА О ДУШЕ

Ночь на воздух вылетает,  
В школе спят ученики.  
Вдоль по хижинам сверкают  
Маленькие ночники.  
Крестьяне, храбростью дыша,  
Собираются в кружок,  
Обсуждают, где душа?  
Или только порошок  
Остается после смерти?  
Или только газ вонючий?  
Скворешниц розовые жерди  
Поднялись над ними тучей.  
Крестьяне мрачны и обуты  
В большие валенки судьбы,  
Сидят. Усы у них раздуты  
На верху большой губы.  
Также шапки выделялись  
В виде толстых колпаков.  
Собаки пышные валялись  
Среди хозяйских сапогов.  
Мужик суровый, точно туча,  
Держал кувшинчик молока.  
Сказал: «Природа меня мучит,  
Превращая в старика.  
Когда, паша семейную десятину,

Иду, подобен исполину,  
Гляжу-гляжу, а предо мной  
Все кто-то движется толпой». —  
«Да, это правда. Дух животный, —  
Сказал в ответ ему старик, —  
Живет меж нами, как бесплотный  
Жилец развалин дорогих.  
Ныне, братцы, вся природа  
Как развалина какая!  
Животных уж не та порода  
Живет меж нами, но другая». —  
«Ты лжешь, старик! — в ответ ему  
Сказал стоящий тут солдат. —  
Таких речей я не пойму,  
Их только глупый слушать рад.  
Поверь, что я во многих битвах  
На скакуне носился, лих,  
Но никогда не знал молитвы  
И страшных ужасов твоих.  
Уверяю вас, друзья:  
Природа ничего не понимает  
И ей довериться нельзя». —  
«Кто ее знает? —  
Сказал пастух, лукаво помолчав. —  
С детства я — коров водитель,  
Но скажу вам, осерчав:  
Вся природа есть обитель.  
Вы, мужики, живя в миру,  
Любите свою избу,  
Я ж природы конуру  
Вместо дома избираю.  
Некоторые движения коровы  
Для меня ясней, чем ваши.  
Вы ж, с рожденья нездоровы,  
Не понимаете простого даже». —  
«Однако ты профан! —  
Прервал его другой крестьянин. —  
Прости, что я тебя прервал,  
Но мы с тобой бороться станем.  
Скажи по истине, по духу,  
Живет ли мертвецов душа?»

И все замолкли. Лишь старуха  
Сидела, спицами кружа.  
Деревня, хлев напоминая,  
Вокруг беседы поднималась:  
Там угол высился сарая,  
Тут чье-то дерево валялось.

Сквозь бревна тучные избенок  
Мерцали панцири заслонок,  
Светились печи, как кубы,  
С квадратным выступом трубы.  
Шесты таинственные зыбок  
Хрипели, как пустая кость.  
Младенцы спали без улыбок,  
Блохами съедены насквозь.  
Иной мужик, согнувшись в печке,  
Свирепо мылся из ведерка,  
Другой коню чинил уздечки,  
А третий кремнем в камень щелкал.  
«Мужик, иди спать!» —  
Баба из окна кричала.  
И вправду, ночь, как будто мать,  
Деревню ветерком качала.  
«Так! — сказал пастух лениво. —  
Вон средь кладбища могил  
Их душа плывет красиво,  
Описать же нету сил.  
Петел, сидя на березе,  
Уж двенадцать раз пропел.  
Скоро, ножки отморозя,  
Он вспорхнул и улетел.  
А душа пресветлой ручкой  
Машет нам издалека.  
Вся она как будто тучка,  
Платье вроде как река.  
Своими нежными глазами  
Все глядит она, глядит,  
А тело, съедено червями,  
В черном домике лежит.  
«Люди, — плачет, — что вы, люди!  
Я такая же, как вы,  
Только меньше стали груди  
Да прическа из травы.  
Меня, милую, берите,  
Скучно мне лежать одной.  
Хоть со мной поговорите,  
Поговорите хоть со мной!»

«Это бесконечно печально! —  
Сказал старик, закуривая трубку. —  
И я встречал ее случайно,  
Нашу милую голубку.  
Она, как столбичек, плыла  
С могилки прямо на меня  
И, верю, на тот свет звала,

Тонкой ручкою маня.  
Только я вбежал во двор,  
Она на столбик налетела  
И сгнула. Такое дело!»

«Ах, вот о чем разговор! —  
Воскликнул радостно солдат. —  
Тут суевериям большой простор,  
Но ты, старик, возьми назад  
Свои слова. Послушайте, крестьяне,  
Мое простое объяснение.  
Вы знаете, я был на поле брани,  
Носился, лих, под пули пенье.  
Теперь же я скажу иначе,  
Предмета нашего касаясь:  
Частицы фосфора маячат,  
Из могилы испаряясь.  
Влекомый воздуха теченьем,  
Столбик фосфора несется  
Повсюду, но за исключением  
Того случая, когда о твердое разобьется.  
Видите, как все это просто!»

Крестьяне сумрачно замолкли,  
Подбородки стали круче.  
Скворешниц розовых оглобли  
Поднялись над ними тучей.  
Догорали ночники,  
В школе спали ученики.  
Одна учительница тихо  
Смотрела в глубь седых полей,  
Где ночь плясала, как шутиха,  
Где плавал запах тополей,  
Где смутные тела животных  
Сидели, наполняя хлев,  
И разговор вели свободный,  
Душой природы овладев.

## 2. СТРАДАНИЯ ЖИВОТНЫХ

Смутные тела животных  
Сидели, наполняя хлев,  
И разговор вели свободный,  
Душой природы овладев.  
«Едва могу себя понять, —  
Молвил бык, смотря в окно. —

На мне сознания есть печать,  
Но сердцем я старик давно.  
Как понять мое сомненье?  
Как унять мою тревогу?  
Кажется, без потрясения  
День прошел, и слава богу!  
Однако тут не все так просто.  
На мне печаль как бы хомут.  
На дно коровьего погоста,  
Как видно, скоро повезут.  
О, стон гробовый!  
Вопль унылый!  
Там даже не построены могилы:  
Корова мертвая выброшена  
На кости рваные овечек;  
Подале, осердясь на коршуна,  
Собака чей-то труп калечит.  
Кой-где копыто, дотлевая,  
Дает питание растению,  
И череп сорванный седлает  
Червяк, сопутствуя гниению.  
Частицы шкурки и состав орбиты  
Тут же все лежат-лежат,  
Лишь капельки росы, налиты  
На них, сияют и дрожат».

Ответил конь:  
«Смерти бледная подкова  
Просвещенным не страшна.  
Жизни горькая основа  
Смертным более нужна.  
В моем черепе продолговатом  
Мозг лежит, как длинный студень.  
В своем домике покато  
Он совсем не жалкий трутень.  
Люди! Вы напрасно думаете,  
Что я мыслить не умею,  
Если палкой меня дуете,  
Нацепив шлею на шею.  
Мужик, меня ногами обхватив,  
Скачет, страшно дерясь кнутом,  
И я скачу, хоть некрасив,  
Хватая воздух жадным ртом.  
Кругом природа погибает,  
Мир качается, убог,  
Цветы, плача, умирают,  
Сметены ударом ног.  
Иной, почувствовав ушиб,



Закроет глазки и приляжет,  
А на спине моей мужик,  
Как страшный бог,  
Руками и ногами машет.  
Когда же, в стойло заключен,  
Стою, устал и удручен,  
Сознания бледное окно  
Мне открывается давно.  
И вот, от боли раскорячен,  
Я слышу: воют небеса.  
То зверь трепещет, предназначен  
Вращать систему колеса.  
Молю, откройте, откройте, друзья,  
Ужели все люди над нами князья?»

Конь стихнул. Все окаменело,  
Охвачено сознанием грубым.  
Животных составное тело  
Имело сходство с бедным трупом.  
Фонарь, наполнен керосином,  
Качал страдальческим огнем,  
Таким дрожащим и старинным,  
Что все сливал с небытием.  
Как дети хмурые страдания,  
Толпой теснились воспоминания  
В мозгу настойчивых животных,  
И раскололся мир двойной,  
И за обломком тканей плотных  
Простор открылся голубой.

«Вижу я погост унылый,—  
Молвил бык, сияя взором.—  
Там на дне сырой могилы  
Кто-то спит за косогором.  
Кто он, жалкий, весь в коростах,  
Полусъеденный, забытый,  
Житель бедного погоста,  
Грязным венчиком покрытый?  
Вкруг него томятся ночи,  
Руки бледные закинув,  
Вкруг него цветы бормочут  
В погребальных паутинах.  
Вкруг него, невидны людям,  
Но нетленны, как дубы,  
Возвышаются умные свидетели

его жизни —

Доски Судьбы<sup>1</sup>.  
И все читают стройными глазами  
Домыслы странного трупы,  
И мир животный с небесами  
Тут примирен прекрасно-глупо.  
И сотни-сотни лет пройдут,  
И внуки наши будут хилы,  
Но и они покой найдут  
На берегах такой могилы.  
Так человек, отпав от века,  
Зарытый в новгородский ил,  
Прекрасный образ человека  
В душе природы заронил».

Не в силах верить, все молчали.  
Конь грезил, выпятив губу.  
И ночь плясала, как в начале,  
Шутихой с крыши на трубу.  
И вдруг упала. Грянул свет,  
И шар поднялся величавый,  
И птицы пели над дубравой —  
Ночных свидетели бесед.

### 3. КУЛАК, ВЛАДЫКА БАТРАКОВ

Птицы пели над дубравой,  
Ночных свидетели бесед,  
И луч звезды кидал на травы  
Первоначальной жизни свет,  
И над высокою деревней,  
Еще превратна и темна,  
Опять в своей короне древней  
Вставала русская луна.

Монеты с головами королей  
Храня в тяжелых сундуках,  
Кулак гнезвился среди людей,  
Всегда испытывая страх.  
И рядом с ним гнездились боги  
В своих задумчивых божницах.  
Лохматы, немощны, двуноги,  
В коронах, латах, власяницах,  
С большими необыкновенными бородами,

---

<sup>1</sup> Произведение В. Хлебникова. Могила поэта в Новгородской губернии. (*Примеч. автора.*)

Ныне прах Хлебникова перенесен на Новодевичье кладбище в Москве. (*Примеч. ред.*)

Они глядели из-за стекл  
Там, где кулак, крестясь руками,  
Поклоны медленные кокал.

Кулак моленью предается.  
Пес лаает. Парка сторожит.  
А время кое-как несется  
И вниз по берегу бежит.  
Природа жалкий сок пускает,  
Растенья полны тишиной.  
Лениво злак произрастает,  
Короткий, немощный, слепой.  
Земля, нуждаясь в крепкой соли,  
Кричит ему: «Кулак, доколе?»  
Но чем земля ни угрожай,  
Кулак загубит урожай.  
Ему приятно истребленье  
Того, что будущего знаки.  
Итак, предавшись утомленью,  
Едва стоят, скучая, злаки.

Кулак, владыка батраков,  
Сидел, богатством возвеличен,  
И мир его, эгоцентричен,  
Был выше многих облаков.  
А ночь, крылами шевеля,  
Как ведьма, бегаёт по крыше,  
То ветер пустит на поля,  
То притаится и не дышит,  
То, ставню выдернув из окон,  
Кричит: «Вставай, проклятый ворон!»  
Идет над миром ураган,  
Держи его, хватай руками,  
Расставляй проволочные ограждения,  
Иначе вместе с потрохами  
Умрешь и будешь без движенья!

Сквозь битвы, громы и труды  
Я вижу ток большой воды,  
Днепр виден мне, в бетон зашитый,  
Огнями залитый Кавказ,  
Железный конь привозит жито,  
Чугунный вол привозит квас.  
Рычаг плугов и копыя борон  
Вздымают почву сотен лет,  
И ты пред нею, старый ворон,  
Отныне призван на ответ!»

Кулак ревет, на лавке сидя,  
Скребет ногтями черный бок,  
И лает пес, беду предвидя,  
Перед толпою многих ног.  
И слышен голос был солдата,  
И скрип дверей, и через час  
Одна фигура, бородата,  
Уже отъехала от нас.  
Изгнанник мира и скупец  
Сидел и слушал бубенец,  
С избою мысленно прощался,  
Как пьяный на возу качался.  
И ночь, строительница дня,  
Уже решительно и смело,  
Как ведьма, с крыши полетела,  
Телегу в пропасть наклоня.

#### 4. БИТВА С ПРЕДКАМИ

Ночь гремела в бочки, в банки,  
В дупла сосен, в дудки бури,  
Ночь под маской истуканки  
Выжгла ляписом лазури.  
Ночь гремела самодуркой,  
Все к чертям летело, к черту.  
Волк, ударен штукатуркой,  
Несся, плача, пряча морду.  
Вебрь, муха, все собранье  
Птиц повыдернуто с сосен,  
«Ах,— кричало,— наказанье!  
Этот ветер нам несносен!»  
В это время, грустно воя,  
Шел медведь, слезой накапав.  
Он лицо свое больное  
Нес на вытянутых лапах.  
«Ночь! — кричал.— Иди ты к шуту,  
Отвяжись ты, Вельзевулша!»  
Ночь кричала: «Буду! Буду!»  
Ну и ветер тоже дул же!  
Так, скажу, проклятый ветер  
Дул, как будто рвался порох!  
Вот каков был русский север,  
Где деревья без подпорок.

#### С о л д а т

Слышу бури страшный шум,  
Слышу ветра дикий вой,  
Но привычный знает ум:

Тут не черт, не домовой,  
Тут не демон, не русалка,  
Не бирюк, не лешачиха,  
Но простых деревьев свалка.  
После бури будет тихо.

#### П р е д к и

Это вовсе неизвестно,  
Хотя мысль твоя понятна.  
Посмотри: под нами бездна,  
Облаков несутся пятна.  
Только ты, дитя рассудка,  
От рожденья нездоров,  
Полагаешь — это шутка  
Столкновения ветров.

#### С о л д а т

Предки, полно вам, отстаньте!  
Вы, проклятые кроты,  
Землю трогать перестаньте,  
Открывая ваши рты.  
Непонятым наказаньем  
Вы готовы мне грозить.  
Объяснитесь на прощанье,  
Что желаете просить?

#### П р е д к и

Предки мы, и предки вам,  
Тем, которым столько дел.  
Мы столетье пополам  
Рассекаем и предел  
Представляем вашим бредням,  
Предпочтенье даем средним —  
Тем, которые рожают,  
Тем, которые поют,  
Никому не угрожают,  
Ничего не создают.

#### С о л д а т

Предки, как же? Ваша глупость  
Невозможна, хуже смерти!  
Ваша правда обернулась  
В косных неучей усердьи!  
Ночью, лежа на кровати,  
Вижу голую жену, —  
Вот она сидит без платья,  
Поднимаясь в вышину.  
Вся пропахла молоком...

Предки, разве правда в этом?  
Нет, клянуся молотком,  
Я желаю быть одетым!

#### П р е д к и

Ты дурак, жена не дура,  
Но природы лишь сосуд.  
Велика ее фигура,  
Два младенца грудь сосут.  
Одного под зад ладонью  
Держит крепко, а другой,  
Наполняя воздух вонью,  
На груди лежит дугой.

#### С о л д а т

Хорошо, но как понять,  
Чем приятна эта мать?

#### П р е д к и

Объясняем: женщин брюхо,  
Очень сложное на взгляд,  
Состоит жилищем духа  
Девять месяцев подряд.  
Там младенец в позе Будды  
Получает форму тела.  
Голова его раздута,  
Чтобы мысль в ней кипела,  
Чтобы пуповины провод,  
Крепко вставленный в пупок,  
Словно вытянутый хобот,  
Не мешал развитию ног.

#### С о л д а т

Предки, все это понятно,  
Но, однако, важно знать,  
Не пойдём ли мы обратно,  
Если будем лишь рожать?

#### П р е д к и

Дурень ты и старый мерин,  
Недоносок рыжей клячи!  
Твой рассудок непомерен,  
Верно, выдуман иначе.  
Ветры, бейте в крепкий молот,  
Сосны, бейте прямо в печень,  
Чтобы, надвое расколот,  
Был бродяга изувечен!

## С о л д а т

Прочь! Молчать! Довольно! Или  
Уничтожу всех на месте!  
Мертвецам — лежать в могиле,  
Марш в могилу и не лезьте!  
Пусть попы над вами стонут,  
Пусть над вами воют черти,  
Я же, предками не тронут,  
Буду жить до самой смерти!

В это время дуб, встревожен,  
Расколосся. В это время  
Волк пронесся, огорошен,  
Защищая лапой темя.  
Вепрь, муха, целый храмик  
Муравьев, большая выдра —  
Все летело вверх ногами,  
О деревья шкуру выдрал.  
Лишь солдат, закрытый шлемом,  
Застегнув свою шинель,  
Возвышался, словно демон  
Невоспитанных земель.  
И полуночная птица,  
Обитательница трав,  
Принесла ему водицы,  
Ветку дерева сломав.

### 5. НАЧАЛО НАУКИ

Когда полуночная птица  
Летала важно между трав,  
Крестьян задумчивые лица  
Открылись, бурю испытал.  
Над миром горечи и бед  
Звенел пастушеский кларнет,  
И пел петух, и утро было,  
И славословил хор коров,  
И над дубравой восходило  
Светило, полное даров.

Слава миру, мир земле,  
Меч владыкам и богатым!  
Утро вынесло в руке  
Возрожденья красный атом.  
Красный атом возрожденья,  
Жизни огненный фонарь.  
На земле его движенье  
Разливает киноварь.

Встали люди и коровы,  
Встали кони и волы.  
Вон солдат идет, багровый  
От сапог до головы.  
Посреди большого стада  
Кто он — демон или бог?  
И звезда его, крылата,  
Устремилась на восток.

#### С о л д а т

Коровы, мне приснился сон.  
Я спал, овчиною закутан,  
И вдруг открылся небосклон  
С большим животным институтом.  
Там жизнь была всегда здорова  
И посреди большого зданья  
Стояла стройная корова  
В венце неполного сознания.  
Богиня сыра, молока,  
Главой касаясь потолка,  
Стыдливо кутала сорочку  
И груди вкладывала в бочку.  
И десять струй с тяжелым треском  
В холодный падали металл,  
И приготовленный к поездкам  
Бидон, как музыка, играл.  
И опьяненная корова,  
Сжимая руки на груди,  
Стояла так, на все готова,  
Дабы к сознанию идти.

#### К о р о в ы

Странно слышать эти речи,  
Зная мысли человечьи.  
Что, однако, было дале?  
Как иные поступали?

#### С о л д а т

Я дале видел красный светоч  
В чертоге умного вола.  
Коров задумчивое вече  
Решало там свои дела.  
Осел, над ними гогоча,  
Бежал, безумное урча.  
Рассудка слабое растенье  
В его животной голове  
Сияло, как произведение,  
По виду близкое к траве.



Осел скитался по горам,  
Глодал чугунные картошки,  
А под горой машинный храм  
Выделявал кислородные лепешки.  
Там кони, химии друзья,  
Хлебали щи из ста молекул,  
Иные, в воздухе вися,  
Смотрели, кто с небес приехал.  
Корова в формулах и лентах  
Пекла пирог из элементов,  
И перед нею в банке рос  
Большой химический овес.

### К о н ь

Прекрасна эта сторона —  
Одни науки да проказы!  
Я, как бы выпивши вина,  
Солдата слушаю рассказы.  
Впервые ум смутился мой,  
Держу пари — я полон пота!  
Ужель не врешь, солдат молодой,  
Что с плугом кончится работа?  
Ужели кроме наших жил  
Потребен разум и так дале?  
Послушай, я ведь старожил,  
Пристали мне одни медали.  
Сто лет тружуся на сохе,  
И вдруг за химию! Хе-хе!

### С о л д а т

Молчи, проклятая каурка,  
Не рви рассказа до конца.  
Не стоят грязного окурка  
Твои веселые словца.  
Мой разум так же, как и твой,  
Горшок с опилками, не боле,  
Но над картиною такой  
Сумей быть мудрым поневоле.  
...Над Лошадиным институтом  
Вставала стройная луна.  
Научный отдых дан посудам,  
И близок час веретена.  
Осел, товарищем ведом,  
Приходит, голоден и хром.  
Его, как мальчика, питают,  
Ума растенье развивают.  
Здесь учат бабочек труду,  
Ужу дают урок науки —

Как делать пряжу и слюду,  
Как шить перчатки или брюки.  
Здесь волк с железным микроскопом  
Звезду вечернюю поет,  
Здесь конь с редиской и укропом  
Беседы длинные ведет.  
И хоры стройные людей,  
Покинув пастбища эфира,  
Спускаются на стогны мира  
Отведать пищи лебедей.

К о н ь

Ты кончил?

С о л д а т

Кончил.

К о н ь

Браво, браво!

Наплел, голубчик, на сто лет!  
Но как сладка твоя отравка,  
Как жжет меня проклятый бред!  
Солдат, мы наги здесь и босы,  
Нас давят плуги, жалят осы,  
Рассудки наши — ряд лачуг,  
И весь в пыли хвоста бунчук.  
В часы полуночного бденья,  
В дыму осенних вечеров,  
Солдат, слышал ли ты хрипенье  
Твоих замученных волов?  
Нам нет спасенья, нету права,  
Нас плуг зовет и ряд могил,  
И смерть — единая держава  
Для тех, кто немощен и хил.

С о л д а т

Стыдись, каурка, что с тобою?  
Наплел, чего не знаешь сам!  
Смотри-ка, кто там за горою  
Ползет, гремя, на смену вам?  
Большой, железный, двухэтажный,  
С чугунной мордой, весь в огне,  
Ползет владыка рукопашной  
Борьбы с природою ко мне.  
Воспряньте, умные коровы,  
Воспряньте, кони и быки!  
Отныне, крепки и здоровы,  
Мы здесь для вас построим кровы

С большими чашками муки.  
Разрушив царство сох и борон,  
Мы старый мир дотла снесем  
И букву А огромным хором  
Впервые враз произнесем!

И загремела даль лесная  
Глухим раскатом буквы А,  
И вылез трактор, громохая,  
Прорезав мордою века.  
И толпы немощных животных,  
Упав во прахе и пыли,  
Смотрели взором первородных  
На обновленный лик земли.

#### 6. М Л А Д Е Н Е Ц — М И Р

Когда собрание животных  
Победу славилло земли,  
Крестьяне житниц плодородных  
Свое имущество несли.  
Одни, огромны, бородаты,  
Приносят сохи и лопаты,  
Другие вынесли на свет  
Мотыги сотен тысяч лет.  
Как будто гряда черепов,  
Растет гора орудий пыток.  
И тракторист считал, суров,  
Труда столетнего убыток.

#### Т р а к т о р и с т

Странно, люди!  
Ум не счислит этих зол.  
Ударяя камнем в груди,  
Мчится древности козел.  
О крестьянин, раб мотыг,  
Раб лопат продолговатых,  
Был ты раб, но не привык  
Быть забавою богатых.  
Ты разрушил дом неволи,  
Ныне строишь ты колхоз.  
Трактор, воя, возит в поле  
Твой невиданный овес.  
Длиннонога и суха,  
Сгинь, мотыга и соха!  
Начинайся, новый век!  
Здравствуй, конь и человек!

## С о х а

Полно каркать издалече,  
Неразумный человек!  
Я, соха, царица жита,  
Кости трактору не дам.  
Мое туловище шито  
Крепким дубом по бокам.  
У меня на белом брюхе  
Под веселый хохот блох  
Скачет, тыча в небо руки,  
Частной собственности бог.  
Частной собственности мальчик  
У меня на брюхе скачет.  
Шар земной, как будто мячик,  
На его ладони зачат.  
То — держава, скипетр — меч!  
Гнитесь, люди, чтобы лечь!  
Ибо в днище ваших душ  
Он играет славы туш!

## Т р а к т о р и с т

О богиня!  
Ты погибла с давних пор!  
За тобою шел Добрыня  
Или даже Святогор.  
Мы же новый мир устроим  
С новым солнцем и травой.  
Чтобы каждый стал героем,  
Мы прощаемся с тобой.  
Хватайте соху за подмышки!

Бежали стаями мальчишки,  
Оторваны от алгебры задачи.  
Рой баб, неся в ладонях пышки,  
От страха падал на карачки.  
Из печки дым, летя по трубам,  
Носился длинным черным клубом,  
Петух пел песнь навеселе,  
Свет дня был виден на селе.  
Забитый бревнышком навозным,  
Шатался церкви длинный кокон,  
Струился свет по ликам грозным,  
Из пыльных падающий окон.  
На рейках книзу головой  
Висел мышей летучих рой,  
Как будто стая мертвых ведем  
Спасалась в Риме этом третьем.

И вдруг, урча, забил набат.  
Несома крепкими плечами,  
Соха плыла, как ветхий гад,  
Согнув оглобли калачами.  
Соха плыла и говорила  
Свои последние слова,  
Полуоткрытая могила  
Ее наставницей была.  
И новый мир, рожденный в муке,  
Перед задумчивой толпой  
Твердил вдали то Аз, то Буки,  
Качая детской головой.

#### 7. ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Утро встало. Пар тумана  
Закатился за поля.  
Как слепцы из каравана,  
Разбежались тополя.  
Хоры сеялок, отвесив  
Килограммы тонких зерен,  
Едут в ряд, и пахарь весел,  
От загара солнца черен.  
Также тут сидел солдат.  
Посреди крестьянских сел,  
Размышленьями богат,  
Он такую речь повел:  
«Славься, славься, Земледелье,  
Славься, пение машин!  
Бросьте, пахари, безделье,  
Будет ужин и ужин.  
Науку точную сноповязалок,  
Сечение вымени коров  
Пойми! Иначе будешь жалок,  
Умом дородным нездоров.  
Теория освобождения труда  
Умудрила наши руки.  
Славьтесь, добрые науки  
И колхозы-города!»

Замолк. Повсюду пробежал  
Гул веселых одобрений,  
И солдат, подняв фиал,  
Пиво пил для утоленья.  
Председатель многопожья  
И природы коновал,  
Он военное дреколье  
На серпы перековал.

И тяжелые, как дома,  
Разорвав черту межи,  
Вышли, трактором ведомы,  
Колесницы крепкой ржи.  
А на холме у реки  
От рождения впервые  
Ели черви гробовые  
Деревянный труп сохи.  
Умерла царица пашен,  
Коробейница старух!  
И растет над нею, важен,  
Сын забвения, лопух.  
И растет лопух унылый,  
И листом о камень бьет,  
И над ветхою могилой  
Память вечную поет.

1929—1930

## БЕЗУМНЫЙ ВОЛК

*Поэма*

### 1. РАЗГОВОР С МЕДВЕДЕМ

М е д в е д ь

Еще не ломаются своды  
Вечнозеленого дома.

Мы сидим еще не в клетке,  
Чтоб чужие есть объедки.

Мы живем под вольным дубом,  
Наслаждаясь знаньем грубым.

Мы простую воду пьем,  
Хвалим солнце и поем.

Волк, какое у тебя занятие?

В о л к

Я, задрав собаки бок,  
Наблюдаю звезд поток.  
Если ты меня встретишь  
Лежащим на спине  
И поднимающим кверху лапы,  
Значит, луч моего зрения  
Направлен прямо в небеса.

Потом я песни сочиняю,  
Зачем у нас не вертикальна шея.  
Намедни мне сказала ворожея,  
Что можно выправить ее.  
Теперь скажи занятие твое.

### М е д в е д ь

Помедлим. Я действительно встречал  
В лесу лежащую фигурку.  
Здрав две пары тонких ног,  
Она глядела на восток.  
И шерсть ее стояла дыбом,  
И, вся наверх устремлена,  
Она плыла, подобно рыбам,  
Туда, где неба пламена.  
Скажи мне, волк, откуда появилось  
У зверя вверх желание глядеть?  
Не лучше ль слушаться природы,  
Глядеть лишь под ноги да вбок,  
В людские лазить огороды,  
Кружиться около дорог?  
Подумай, в маленькой берлоге,  
Где нет ни окон, ни дверей,  
Мы будем царствовать, как боги,  
Среди животных и зверей.  
Иногда можно заниматься пустяками,  
Ловить пичужек на лету.  
Презрев револьверы, винтовки,  
Приятно у малиновок откусывать головки  
И вниз детенышам бросать,  
Чтобы могли они сосать.  
А ты не дело, волк, задумал,  
Что шею вывернуть придумал.

### В о л к

Медведь, ты правильно сказал,  
Ценю приятный сердцу довод.  
Я многих сам перекусал,  
Когда роскошен был и молод.  
Все это шутки прежних лет.  
Горизонтальный мой хребет  
С тех пор железным стал и твердым,  
И невозможно нашим мордам  
Глядеть, откуда льется свет.  
Меж тем вверху звезда сияет —  
Чигирь, волшебная звезда!  
Она мне душу вынимает,  
Сжимает судорогой уста.

Желаю знать величину вселенной  
И есть ли волки наверху!  
А на земле я, точно пленный,  
Жую овечью требуху.

#### М е д в е д ь

Имею я желание хохотать,  
Но воздержусь, чтоб волка не обидеть.  
Согласен он всю шею изломать,  
Чтобы Чигирь-звезду увидеть!

#### В о л к

Я закажу себе станок  
Для вывертывания шеи.  
Сам свою голову туда вложу,  
С трудом колеса поверну.  
С этой шеей вертикальной,  
Знаю, буду я опальный,  
Знаю, буду я смешон  
Для друзей и юных жен.  
Но чтобы истину увидеть,  
Скажи, скажи, лихой медведь,  
Ужель нельзя друзей обидеть  
И ласку женщины презреть?  
Волчьей жизни реформатор,  
Я, хотя и некрасив,  
Буду жить, как император,  
Часть науки откусив.  
Чтобы завесить разные места,  
Сошью себе рубаху из холста,  
В своей берлоге засвечу светильник,  
Кровать поставлю, принесу урыльник  
И постараюсь через год  
Дать своей науки плод.

#### М е д в е д ь

Еще не ломаются своды  
Вечнозеленого дома!  
Еще есть у нас такие представители,  
Как этот сумасшедший волк!  
Прошла моя нежная юность,  
Наступает печальная старость.  
Уже ничего не понимаю,  
Только листочки шумят над головой.  
Но пусть я буду консерватор,  
Не надо мне твоих идей,  
Я не философ, не оратор,  
Не астроном, не грамотей.



Медведь я! Конский я громила!  
Коровий Ассурбанипал!  
В мое задумчивое рыло  
Ничей не хлопал самопал!  
Я жрать хочу! Кусать желаю!  
С дороги прочь! Иду на вы!  
И уж совсем не понимаю  
Твоей безумной головы.  
Прощай. Я вижу, ты упорен.

### В о л к

Итак, с медведем я поссорен.  
Печально мне. Но, видит Бог,  
Медведь решиться мне помог.

### 2. МОНОЛОГ В ЛЕСУ

Над волчьей каменной избушкой  
Сияют солнце и луна.  
Волк разговаривает с кукушкой,  
Дает деревьям имена.  
Он в коленкоровой рубаше,  
В больших невиданных штанах  
Сидит и пишет на бумаге,  
Как будто в келейке монах.  
Вокруг него холмы из глины  
Подставляют солнцу одни половины,  
Другие половины лежат в тени.  
И так идут за днями дни.

### В о л к

*(бросая перо)*

Надеюсь, этой песенкой  
Я порастряс частицы мирозданья  
И в будущее ловко заглянул.  
Не знаю сам, откуда что берется,  
Но мне приятно песни составлять:  
Рукою в книжечке поставишь закорючку,  
А закорючка ангелом поет!  
Уж десять лет,  
Как я живу в избушке.  
Читаю книги, песенки пою,  
Имею частые с природой разговоры.  
Мой ум возвысился и шея зажила.  
А дни бегут. Уже седеет шкура,  
Спинной хребет трещит по временам.  
Крепись, старик. Еще одно усилие,  
И ты по воздуху, как пташка, полетишь.

Я открыл множество законов.  
Если растенье посадить в банку  
И в трубочку железную подуть —  
Животным воздухом наполнится растенье,  
Появятся на нем головка, ручки, ножки,  
А листики отсохнут навсегда.  
Благодаря моей душевной силе  
Я из растенья воспитал собачку —  
Она теперь, как матушка, поет.  
Из одной березы  
Задумал сделать я верблюда,  
Да воздуху в груди, как видно, не хватило:  
Головка выросла, а туловища нет.  
Загадки страшные природы  
Повсюду в воздухе висят.  
Бывало, их, того гляди, поймаешь,  
Весь напружинишься, глаза нальются кровью,  
Шерсть дыбом встанет, напрягутся жилы,  
Но миг пройдет — и снова как дурак.  
Приятно жить счастливому растенью —  
Оно на воздухе играет, как дитя.  
А мы ногой безумной оторвались,  
Бежим туда-сюда,  
А счастья нет как нет.

Однажды ямочку я выкопал в земле,  
Засунул ногу в дырку по колено  
И так двенадцать суток простоял.  
Весь отошал, не пивши и не евши,  
Но корнем все-таки не сделалась нога  
И я, увы, не сделался растеньем.

Однако  
Услышать многое еще способен ум.  
Бывало, ухом прислонюсь к березе  
И различаю тихий разговор.  
Береза сообщает мне свои переживанья,  
Учит управлению веток,  
Как шевелить корнями после бури  
И как расти из самого себя.

Итак, как будто бы я многое постиг,  
Имею право думать о почете.  
Куда там! Звери вокруг меня  
Ругаются, препятствуют занятиям  
И не дают в уединенье жить.  
Фигурки странные! Коров бы им душисть,  
Давить быков, рассудка не имея.

А на того, кто иначе живет,  
Клевещут, злобствуют, приделывают рожки.

А я от моего душевного переживанья  
Не откажусь ни в коей мере!  
В занятиях я, как мышка, поседел,  
При опытах тонул четыре раза,  
Однажды шерсть нечаянно поджег —  
Весь зад сгорел, а я живой остался.

Теперь еще один остался подвиг,  
А там... Не буду я скрывать,  
Готов я лечь в великую могилу,  
Закрывать глаза и сделаться землей.  
Тому, кто видел, как сияют звезды,  
Тому, кто мог с растеньем говорить,  
Кто понял страшное соединенье мысли —  
Смерть не страшна и не страшна земля.

Иди ко мне, моя большая сила!  
Держи меня! Я вырос, точно дуб,  
Я стал как бык, и кости как железо:  
Седой как лунь, я к подвигу готов.  
Гляди в меня! Моя глава сияет,  
Все сухожилия рвутся из меня.  
Сейчас залезу на большую гору,  
Скакну наверх, ногами оттолкнусь,  
Схвачусь за воздух страшными руками,  
Вздыху себя, потом опять скакну,  
Опять схвачусь, а тело выше, выше,  
И я лечу! Как пташечка, лечу!  
Я понимаю атмосферу!  
Все брюхо воздухом надуется, как шар.  
Давленье рук пространству не уступит,  
Усилье воли воздух победит.

Ничтожный зверь, червяк в звериной шкуре,  
Лесной босьяк в дурацком колпаке,  
Я — царь земли! Я — гладиатор духа!  
Я — Гарпагон, подъятый в небеса!

Я ухожу. Березы, до свиданья.  
Я жил как Бог и не видал страданья.

### 3. СОБРАНИЕ ЗВЕРЕЙ

#### П р е с е д а т е л ь

Сегодня годовщина смерти Безумного.  
Почтим его память.

В о л к и  
(поют)

Страшен, дети, этот год.  
Дом зверей ломает свод.

Балки старые трещат.  
Птицы круглые пищат.

Вырван бурей, стонет дуб.  
Волк стоит, ударен в пуп.

Две реки, покинув лог,  
Затопили сто берлог.

Встаньте, звери, встаньте враз,  
Ударяйте, звери, в таз!

Вместе с бурей из раки  
Тень Безумного летит.

Вся в крови его глава.  
На груди его трава.

Лапы вывернуты вбок.  
Из очей идет дымок.

Гряньте, звери, на трубе:  
«Кто ты, страшный? Что тебе?»

«Я — Летатель. Я — топор.  
Победитель ваших нор».

П р е с е д а т е л ь

Я помню ночь, которую поэты  
Изобразили в этой песне.  
Из дальней тундры вылетела буря,  
Рвала верхи дубов, вывертывала пни  
И ставила деревья вверх ногами.

Лес обезумел. Затрещали своды,  
Летели балки на голову нам.  
Шар молнии, огромный, как кастрюля,  
Скатился вниз, сквозь листья пролетел,  
И дерево, как свечка, загорелось.

Оно кричало страшно, словно зверь,  
Махало ветками, о помощи молило,  
А мы внизу стояли перед ним  
И двинуть пальцами от страха не умели.

Я побежал. И вот передо мною  
Возвысился сверкающий утес.  
Его вершина, гладкая, как череп,  
Едва дымилась в чудной красоте.

Опять скатилась молния. Я замер:  
Вверху, на самой высоте,  
Металась чуть заметная фигурка,  
Хватая воздух пальцами руки.

Я заревел. Фигурка подскочила,  
Ужасный вопль пронзил меня насквозь.  
На воздухе мелькнули морда, руки, ноги,  
И больше ничего не помню.

Наутро буря миновала.  
Лесных развалин догорал костер.  
Очнулся я. Утес еще дымился,  
И труп Безумного на камушках лежал.

В о л к - с т у д е н т

Мы все скорбим, почтенный председатель,  
По поводу безвременной кончины  
Безумного. Но я уполномочен  
Просить тебя ответить на вопрос,  
Предложенный комиссией студентов.

П р е д с е д а т е л ь

Говори.

В о л к - с т у д е н т

Благодарю. Вопрос мой будет краток.  
Мы знаем все, что старый лес погиб,  
И нет таких мучительных загадок,  
Которых мы распутать не могли б.

Мы новый лес сегодня созидаем.  
Еще совсем убогие вчера,  
Перед тобой мы ныне заседаем  
Как инженеры, судьи, доктора.

Горит, как смерч, великая наука.  
Волк ест пирог и пишет интеграл.  
Волк гвозди бьет, и мир дрожит от стука,  
И уж закончен техники квартал.

Итак, скажи, почтенный председатель,  
В наш трезвый мир зачем бросаешь ты,  
Как ренегат, отступник и предатель,  
Безумного нелепые мечты?

Подумай сам, возможно ли растение  
В животное мечтою обратить,  
Возможно ль полететь земли произведенью  
И тем себе бессмертие купить?

Мечты Безумного безумны от начала.  
Он отдал жизнь за них. Но что нам до него?  
Нам песня нового столетья прозвучала,  
Мы строим лес, а ты бежишь его!

#### В о л к и - и н ж е н е р ы

Мы, особенным образом складывая перекладины,  
Составляем мостик на другой берег земного счастья.  
Мы делаем электрических мужиков,  
Которые будут печь пироги.  
Лошади внутреннего сгорания  
Нас повезут через мостик страдания.  
И ямщик в стеклянной шапке  
Тихо песенку споет:

«Гай-да, тройка,  
Энергию утрой-ка!»

Таков полет строителей земли,  
Дабы потомки царствовать могли.

#### В о л к и - д о к т о р а

Мы, врачи и доктора,  
Толмачи зверей бедра.  
В черепа волков мы вставляем стеклянные трубочки.  
Мы наблюдаем занятия мозга,  
Нам не мешает больного прическа.

#### В о л к и - м у з ы к а н т ы

Мы скрипим на скрипках тела,  
Как наука нам велела.  
Мы смычком своих носов  
Пилим новых дней засов.

#### П р е д с е д а т е л ь

Медленно, медленно, медленно  
Двигается чудное время.

Точно клубки ниток, мы катимся вдаль,  
Оставляя за собой нитку наших дел.

Чудесное полотно выткали наши руки,  
Миллионы миль прошагали ноги.

Лес, полный горя, голода и бед,  
Стоит вдали, как огненный сосед.

Глядите, звери, в этот лес,  
Медведь в лесу кобылу ест,  
А мы едим большой пирог,  
Забыв дыру своих берлог.

Глядите, звери, в этот дол,  
Едомый зверем, плачет вол,  
А мы, построив свой квартал,  
Волшебный пишем интеграл.

Глядите, звери, в этот мир,  
Там зверь ютится, наг и сир,  
А мы, подняв науки меч,  
Идем от мира зло отсесть.

Медленно, медленно, медленно  
Двигается чудное время.

Я закрываю глаза и вижу стеклянное здание леса.  
Стройные волки, одетые в легкие платья,  
Преданы долгой научной беседе.  
Вот отделился один,  
Поднимает прозрачные лапы,  
Плавно взлетает на воздух,  
Ложится на спину,  
Ветер его на восток над долинами гонит.  
Волки внизу говорят:  
«Удалился философ,  
Чтоб лопухам преподавать  
Геометрию неба».

Что это? Странные виденья,  
Безумный вымысел души,  
Или ума произведение,—  
Студент ученый, разреши!

Мечты Безумного нелепы,  
Но видит каждый, кто не слеп:  
Любой из нас, пекущих хлеба,  
Для мира старого нелеп.

Века идут, года уходят,  
Но все живущее — не сон:  
Оно живет и превосходит  
Вчерашний истины закон.

Спи, Безумный, в своей великой могиле!  
Пусть отдыхает твоя обезумевшая от мыслей голова!  
Ты сам не знаешь, кто вырвал тебя из берлоги,  
Кто гнал тебя на одиночество, на страдание.

Ничего не видя впереди, ни на что не надеясь,  
Ты прошел по земле, как великий гладиатор мысли.  
Ты — первый взрыв цепей!  
Ты — река, породившая нас!

Мы, стоящие на границе веков,  
Рабочие молота нашей головы,  
Мы запечатали кладбище старого леса  
Твоим исковерканным трупом.

Лежи смирно в своей могиле,  
Великий Летатель Книзу Головой.  
Мы, волки, несем твое вечное дело  
Туда, на звезды, вперед!

1931

## Д Е Р Е В Ь Я

*Поэма*

ПРОЛОГ

Б о м б е е в

— Кто вы, кивающие маленькой головкой,  
Играете с жуком и божией коровкой?

Г о л о с а

— Я листьев солнечная сила.  
— Желудок я цветка.  
— Я пестика паникадило.  
— Я тонкий стебелек смиренного левкоя.  
— Я корешок судьбы.  
— А я лопух покоя.  
— Все вместе мы — изображение цветка,  
Его росток и направленье завитка.

Б о м б е е в

— А вы кто там, среди озер небес,  
Лежите, длинные, глазам наперерез?



## Г о л о с а

- Я облака большое очертанье.
- Я ветра колыханье.
- Я пар, поднявшийся из тела человека.
- Я капелька воды не более ореха.
- Я дым, сорвавшийся из труб.
- А я животных суп.
- Все вместе мы — сверкающие тучи,  
Собрание громов и спящих молний кучи.

## Б о м б е е в

- А вы, укромные, как шишечки и нити,  
Кто вы, которые под кустиком сидите?

## Г о л о с а

- Мы глазки жуковы.
- Я гусеницын нос.
- Я возникающий из семени овес.
- Я дудочка души, оформленной слегка.
- Мы не облекшиися телом потроха.
- Я то, что будет органом дыханья.
- Я сон грибка.
- Я свечки колыханье.
- Возникновенье глаза я на кончике земли.
- А мы нули.
- Все вместе мы — чудесное рожденье,  
Откуда ты свое ведешь происхожденье.

## Б о м б е е в

- Покуда мне природа спину давит,  
Покуда мне она свои загадки ставит,  
Я разыщу, судьбе наперекор,  
Своих отцов, и братьев, и сестер.

### 1. ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПИР

Когда обед был подан и на стол  
Положен был в воде вареный вол,  
И сто бокалов, словно сто подруг,  
Вокруг вола образовали круг,  
Тогда Бомбеев вышел на крыльцо  
И поднял кверху светлое лицо,  
И, руки протянув туда, где были рощи,  
Так произнес:  
«Вы, деревья, императоры воздуха,  
Одетые в тяжелые зеленые мантии,  
Расположенные по всей длине тела

В виде кружочков, и звезд, и коронок!  
Вы, деревья, бабы пространства,  
Уставленные множеством цветочных чашек,  
Украшенные белыми птицами-голубками!  
Вы, деревья, солдаты времени,  
Утыканые крепкими иголками могущества,  
Укрепленные на трехэтажных корнях  
И других неподвижных фундаментах!  
Одни из вас, достигшие предельного возраста,  
Черными лицами упираются в края атмосферы  
И напоминают мне крепостные сооружения,  
Построенные природой для изображения силы.  
Другие, менее высокие, но зато более стройные,  
Справляют по ночам деревянные свадьбы,  
Чтобы вечно и вечно цвела природа  
И всюду гремела слава ее.  
Наконец, вы, деревья-самовары,  
Наполняющие свои деревянные внутренности  
Водой из подземных колодцев!  
Вы, деревья-пароходы,  
Секущие пространство и плывущие в нем  
По законам древесного компаса!  
Вы, деревья-виолончели и деревья-дудки,  
Сотрясающие воздух ударами звуков,  
Составляющие мелодии лесов и роц  
И одиноко стоящих растений!  
Вы, деревья-топоры,  
Рассекающие воздух на его составные  
И снова составляющие его для постоянного равновесия!  
Вы, деревья-лестницы  
Для восхождения животных на высшие пределы воздуха!  
Вы, деревья-фонтаны и деревья-взрывы,  
Деревья-битвы и деревья-гробницы,  
Деревья — равнобедренные треугольники  
и деревья — сферы,  
И все другие деревья, названия которых  
Не поддаются законам человеческого языка,—  
Обращаюсь к вам и заклинаю вас:  
Будьте моими гостями!»

## 2. ПИР В ДОМЕ БОМБЕЕВА

Лесной чертог блистает, как лампада,  
Кумиры стройные стоят, как колоннада,  
И стол накрыт, и музыка гремит,  
И за столом лесной народ сидит.  
На алых бархатах, где раньше были панны,  
Сидит корявый дуб, отведав чистой ванны,

И стуло греческое, на котором Зина  
Свивала волосы и любовалась завитушками,  
Теперь согнулося: на нем сидит осина,  
Наполненная воробьями и кукушками.  
И сам Бомбеев среди пышных кресел  
Сидит один, и взор его невесел,  
И кудри падают с его высоких плеч,  
И чуть слышна его простая речь.

### Б о м б е е в

Послушайте, деревья, речь,  
Которая сейчас пред вами встанет,  
Как сложенная каменщиком печь.  
Хвала тому, кто в эту печь заглянет,  
Хвала тому, кто, встав среди камней,  
Уча другого, будет сам умней.

Я всю природу уподоблю печи.  
Деревья, вы ее большие плечи,  
Вы ребра толстые и каменная грудь,  
Вы шептуны с большими головами,  
Вы императоры с мохнатыми орлами,  
Солдаты времени, пустившиеся в путь!  
А на краю природы, на границе  
Живого с мертвым, умного с тупым,  
Цветут растений маленькие лица,  
Растет трава, похожая на дым.  
Клубочки спутанные, дудочки сырые,  
Сухие зонтики, в которых налит клей,  
Все в завитушках, некрасивые, кривые,  
Они ползут из дырочек, щелей,  
Из маленьких окошечек вселенной  
Сплошною перепутанною пеной.

Послушайте, деревья, речь  
О том, как появляется корова.  
Она идет горою, и багрова  
Улыбка рта ее, чтоб морду пересечь.  
Но почему нам кажется знакомым  
Все это тело, сложенное комом,  
И древний конус каменных копыт,  
И медленно качаемое чрево,  
И двух очей, повернутых налево,  
Тупой, безумный, полумертвый быт?  
Кто, мать она? Быть может, в этом теле  
Мы, как детеныши, когда-нибудь сидели?  
Быть может, к вымени горячему прильнув,

Лежали, щеки шариком надув?  
А мать-убийца толстыми зубами  
Рвала цветы и ела без стыда,  
И вместе с матерью мы становились сами  
Убийцами растений навсегда?

Послушайте, деревья, речь  
О том, как появляется мясник.  
Его топор сверкает, словно меч,  
И он к убийству издавна привык.  
Еще растеньями бока коровы полны,  
Но уж кровавые из тела хлещут волны,  
И, хлопая глазами, голова  
Летит по воздуху, и мертвая корова  
Лежит в пыли, для шей вполне готова,  
И мускулами двигает едва.  
А печка жизни все пылает,  
Горит, трещит элементар,  
И человек ладонью подсыпает  
В мясное варево сияющий кристалл.  
В желудке нашем исчезают звери,  
Животные, растения, цветы,  
И печки-жизни выпуклые двери  
Для наших мыслей крепко заперты.  
Но что это? Я слышу голоса!

З и н а

Как вспыхнула заката полоса!

Б о м б е е в

Стоит Лесничий на моем пороге.

З и н а

Деревья плачут в страхе и тревоге.

Л е с н и ч и й

Я жил в лесу внутри избушки,  
Деревья цифрами клеймил,  
И вдруг Бомбеев на опушке  
В лесные трубы затрубил.  
Деревья, длинными главами  
Нырять в туче грозовой,  
Умчались в поле. Перед нами  
Возникнул хаос мировой.  
Бомбеев, по какому праву,  
Порядок мой презрев,  
Похитил ты дубраву?

Бомбеев

Здесь я хозяин, а не ты,  
И нам порядок твой не нужен:  
В нем людоедства страшные черты.

Лесничий

Как к людоедству ты равнодушен!  
Однако за столом, накормлен и одет,  
Ужель ты сам не людоед?

Бомбеев

Да, людоед я, хуже людоеда!  
Вот бык лежит — остаток моего обеда.  
Но над его вареной головой  
Клянусь: окончится разбой,  
И правнук мой среди домов и грядок  
Воздвигнет миру новый свой порядок.

Лесничий

А ты подумал ли о том,  
Что в вашем веке золотом  
Любой комар, откладывая сто яичек в сутки,  
Пожрет и самого тебя, и сад, и незабудки?

Бомбеев

По азбуке читая комариной,  
Комар исполнится высокою доктриной.

Лесничий

Итак, устроив пышный пир,  
Я вижу: мыслью ты измерил целый мир,  
Постиг планет могучее движенье,  
Рожденье звезд и их происхождение,  
И весь порядок жизни мировой  
Есть только беспорядок пред тобой!  
Нет, ошибся ты, Бомбеев,  
Гордой мысли генерал!  
Этот мир не для злодеев,  
Ты его оклеветал.  
В своем ли ты решил уме,  
Что жизнь твоя равна чуме,  
Что ты, глотая свой обед,  
Разбойник есть и людоед?  
Да, человек есть башня птиц,  
Зверей вместилище лохматых,  
В его лице — миллионы лиц  
Четвероногих и крылатых.

И много в нем живет зверей,  
И много рыб со дна морей,  
Но все они в лучах сознания  
Большого мозга строят зданье.  
Сквозь рты, желудки, пищеводы,  
Через кишечную тюрьму  
Лежит центральный путь природы  
К благословенному уму.  
Итак, да здравствуют сраженья,  
И рев зверей, и ружей гром,  
И всех живых преображенье  
В одном сознание мировом!  
И в этой битве постоянной  
Я, неизвестный человек,  
Провозглашаю деревянный,  
Простой, дремучий, честный век.  
Провозглашаю славный век  
Больших деревьев, длинных рек,  
Прохладных гор, степей могучих,  
И солнце розовое в тучах,  
А разговор о годах лучших  
Пусть продолжает человек.  
Деревья, вас зовет природа  
И весь простой лесной народ,  
И все живое, род от рода  
Не отделяясь, вас зовет  
Туда, под своды мудрости лесной,  
Туда, где жук беседует с сосной,  
Туда, где смерть кончается весной,—  
За мной!

### 3. НОЧЬ В ЛЕСУ

Опять стоят туманные деревья,  
И дом Бомбеева вдали, как самоварчик,  
Жизнь леса продолжается, как прежде,  
Но все сложнее его работа.  
Деревья-императоры снимают свои короны,  
Вешают их на сучья,  
Начинается вращенье деревянных планеток  
Вокруг обнаженного темени.  
Деревья-солдаты, громоздясь друг на друга,  
Образуют дупла, крепости и завалы,  
Щелкают руками о твердую древесину,  
Играют на трубах, подбрасывают кости.  
Тут и там деревянные девочки  
Выглядывают из овражка,

Хочот их напоминает сухое постукивание,  
Потрескивание веток, когда по ним прыгает белка.  
Тогда выступают деревья-виолончели,  
Тяжелые сундуки струн облекаются звуками,  
Еще минута, и лес опоясан трубами чистых мелодий,  
Каналами песен лесного оркестра.  
Бомбы ли рвутся, смеются ли бабочки —  
Песня все шире да шире,  
И вот уж деревья-топоры начинают рассекать воздух  
И складывать его в ровные параллелограммы.  
Трение воздуха будит различных животных.  
Звери вздымают на лестницы тонкие лапы,  
Вверх поднимаются к плоским верхушкам деревьев  
И замирают вверху, чистые звезды увидев.  
Так над землей образуется новая плоскость:  
Снизу — животные, взявшие в лапы деревья,  
Сверху — одни вертикальные звезды.  
Но не смолкает земля. Уже деревянные девочки  
Пляшут, роняя грибы в муравейник.  
Прямо над ними взлетают деревья-фонтаны,  
Падая в воздух гигантскими чашками струек.  
Дале стоят деревья-битвы и деревья-гробницы,  
Листья их выпуклы и барельефам подобны.  
Можно здесь видеть возникшего снова Орфея,  
В дудку поющего. Чистою лиственной грудью  
Здесь окружают певца деревянные звери.  
Так возникает история в гуще зеленых  
Старых лесов, в кустарниках, ямах, оврагах,  
Так образуется летопись древних событий,  
Ныне закованных в листья и длинные сучья.  
Дале деревья теряют свои очертанья, и глазу  
Кажутся то треугольником, то полукругом —  
Это уже выражение чистых понятий,  
Дерево Сфера царствует здесь над другими.  
Дерево Сфера — это значок беспредельного дерева,  
Это итог числовых операций.  
Ум, не ищи ты его посредине деревьев:  
Он посредине, и сбоку, и здесь, и повсюду.

# СТИХОТВОРЕНИЯ

1932—1958

---

## Я НЕ ИЩУ ГАРМОНИИ В ПРИРОДЕ

Я не ищу гармонии в природе.  
Разумной соразмерности начал  
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе  
Я до сих пор, увы, не различал.

Как своенравен мир ее дремучий!  
В ожесточенном пении ветров  
Не слышит сердце правильных созвучий,  
Душа не чувствует стройных голосов.

Но в тихий час осеннего заката,  
Когда умолкнет ветер вдалеке,  
Когда сияньем немощным объята,  
Слепая ночь опустится к реке,

Когда, устав от буйного движенья,  
От бесполезно тяжкого труда,  
В тревожном полусне изнеможенья  
Затихнет потемневшая вода,

Когда огромный мир противоречий  
Насытится бесплодной игрой,—  
Как бы прообраз боли человеческой  
Из бездны вод встанет передо мной.

И в этот час печальная природа  
Лежит вокруг, вздыхая тяжело,  
И не мила ей дикая свобода,  
Где от добра неотделимо зло.



И снится ей блестящий вал турбины,  
И мерный звук разумного труда,  
И пенье труб, и зарево плотины,  
И налитые током провода.

Так, засыпая на своей кровати,  
Безумная, но любящая мать  
Таит в себе высокий мир дитяти,  
Чтоб вместе с сыном солнце увидеть.

1947

## О С Е Н Ь

Когда минует день и освещение  
Природа выбирает не сама,  
Осенних рощ большие помещения  
Стоят на воздухе, как чистые дома.  
В них ястребы живут, вороны в них ночуют,  
И облака вверху, как призраки, кочуют.

Осенних листьев сохлось вещество  
И землю всю устлало. В отдалении  
На четырех ногах большое существо  
Идет, мыча, в туманное селение.  
Бык, бык! Ужели больше ты не царь?  
Кленовый лист напоминает нам янтарь.

Дух Осени, дай силу мне владеть пером!  
В строенье воздуха — присутствие алмаза.  
Бык скрылся за углом,  
И солнечная масса  
Туманным шаром над землей висит,  
И край земли, мерцая, кровенит.

Вращая круглым глазом из-под век,  
Летит внизу большая птица.  
В ее движенье чувствуется человек.  
По крайней мере, он таится  
В своем зародыше меж двух широких крыл.  
Жук домик между листьев приоткрыл.

Архитектура Осени. Расположение в ней  
Воздушного пространства, рощи, речки,  
Расположение животных и людей,  
Когда летят по воздуху колечки  
И завитушки листьев, и особый свет —  
Вот то, что выберем среди других примет.

Жук домик между листьев приоткрыл  
И, рожки выставив, выглядывает,  
Жук разных корешков себе нарыл  
И в кучку складывает,  
Потом трубит в свой маленький рожок  
И вновь скрывается, как маленький божок.

Но вот приходит ветер. Все, что было чистым,  
Пространственным, светящимся, сухим,—  
Все стало серым, неприятным, мглистым,  
Неразличимым. Ветер гонит дым,  
Вращает воздух, листья валит ворохом  
И верх земли взрывает порохом.

И вся природа начинает леденеть.  
Лист клена, словно медь,  
Звонит, ударившись о маленький сучок.  
И мы должны понять, что это есть значок,  
Который посылает нам природа,  
Вступившая в другое время года.

1932

#### В Е Н Ч А Н И Е П Л О Д А М И

Плоды Мичурина, питомцы садовода,  
Вращенные усилиями народа,  
Распределенные на кучи и холмы,  
Как вы волнуете пытливые умы!  
Как вы сияете своим прозрачным светом,  
Когда, подобные светилам и кометам,  
Лежите, образуя вокруг нас  
Огромных яблоков живые вавилоны!  
Кусочки солнц, включенные в законы  
Людских судеб, мы породили вас  
Для новой жизни и для высших правил.  
Когда землей невежественно правил  
Животному подобный человек,  
Напоминали вы уродцев и калек  
Среди природы дикой и могучей.  
Вас червь глодал, и, налетая тучей,  
Хлестал вас град по маленьким телам,  
И ветер Севера бывал неласков к вам,  
И ястреб, роши царь, перед началом ночи  
Выклевывал из вас сияющие очи,  
И морщил кожу, и соки леденил.

Преданье говорит, что Змей определил  
Быть яблоку сокровищницей знаний.  
Во тьме веков и в сумраке преданий  
Встает пред нами рай, страна средь облаков,  
Страна, среди светил висящая, где звери  
С большими лицами блаженных чудачков  
Гуляют, учатся и молятся химере.  
И посреди сверкающих небес  
Стоит, как башня, дремлющее древо.  
Оно — центр сфер, и чудо из чудес,  
И тайна тайн. Направо и налево  
Огромные суки поддерживают свод  
Густых листов. И сумрачно и строго  
Сквозь яблоко вещает голос Бога,  
Что плод познания — запрещенный плод.

Теперь, когда, соперничая с тучей,  
Плоды, мы вызвали вас к жизни наилучшей,  
Чтобы, самих себя переборов,  
Вы не боялись северных ветров,  
Чтоб зерна в вас окрепли и созрели,  
Чтоб, дивно увеличиваясь в теле,  
Не знали вы в развитии преград,  
Чтоб наша жизнь была сплошной плодовый сад,—  
Скажите мне, какой чудесный клад  
Несете вы поведать человеку?

Я заключил бы вас в свою библиотеку,  
Я прочитал бы вас и вычислил закон,  
Хранимый вами, и со всех сторон  
Измерил вас, чтобы понять строенье  
Живого солнца и его кипенье.

О маленькие солнышки! О свечки,  
Заженные средь мякоти! Вы — печки,  
Распространяющие дивное тепло.  
Отныне все прозрачно и кругло  
В моих глазах. Земля в тяжелых сливах,  
И тысячи людей, веселых и счастливых,  
В ладонях держат персики, и барбарис  
На шее девушки, блаженствуя, повис.  
И новобрачные, едва поцеловавшись,  
Плядут на нас, из яблок приподнявшись,  
И мы венчаем их, и тысячи садов  
Венчают нас венчанием плодов.

Когда плоды Мичурин создавал,  
Преобразуя древний круг растений,

Он был Адам, который создавал  
Себя отцом грядущих поколений.  
Он был Адам и первый садовод,  
Природы друг и мудрости оплот,  
И прах его, разрушенный годами,  
Теперь лежит, увенчанный плодами.

1932—[1948]

### У Т Р Е Н Н Я Я П Е С Н Я

Могучий день пришел. Деревья встали прямо,  
Вздохнули листья. В деревянных жилах  
Вода закапала. Квадратное окошко  
Над светлою землею распахнулось,  
И все, кто были в башенке, сошлись  
Взглянуть на небо, полное сиянья.

И мы стояли тоже у окна.  
Была жена в своем весеннем платье,  
И мальчик на руках ее сидел,  
Весь розовый и голый, и смеялся,  
И, полный безмятежной чистоты,  
Смотрел на небо, где сияло солнце.

А там, внизу, деревья, звери, птицы,  
Большие, сильные, мохнатые, живые,  
Сошлись в кружок и на больших гитарах,  
На дудочках, на скрипках, на волынках  
Вдруг заиграли утреннюю песню,  
Встречая нас. И все кругом запело.

И все кругом запело так, что козлик  
И тот пошел скакать вокруг амбара.  
И понял я в то золотое утро,  
Что счастье человечества — бессмертно.

1932

### Л О Д Е Й Н И К О В

1

В краю чудес, в краю живых растений,  
Несовершенной мудростью дыша,  
Зачем ты просишь новых впечатлений  
И новых бурь, пытливая душа?

Не обольщайся призраком покоя:  
Бывает жизнь обманчива на вид.  
Настанет час, и утро роковое  
Твои мечты, сверкая, ослепит.

2

Лодейников, закрыв лицо руками,  
Лежал в саду. Уж вечер наступал.  
Внизу, постукивая тонкими звонками,  
Шел скот домой и тихо лопотал  
Невнятные свои воспоминанья.  
Травы холодное дыханье  
Струилось вдоль дороги. Жук летел.  
Лодейников открыл лицо и поглядел  
В траву. Трава пред ним предстала  
Стеной сосудов. И любой сосуд  
Светился жилками и плотью. Трепетала  
Вся эта плоть и вверх росла, и гуд  
Шел по земле. Прищелкивая по суставам,  
Пришлепывая, странно шевелясь,  
Огромный лес травы вытягивался вправо,  
Туда, где солнце падало, светясь.  
И то был бой травы, растений молчаливый бой.  
Одни, вытягиваясь жирною трубой  
И распутив листы, других собою мяли,  
И напряженные их сочлененья выделяли  
Густую слизь. Другие лезли в щель  
Между чужих листов. А третьи, как в постель,  
Ложились на соседа и тянули  
Его назад, чтоб выбился из сил.

И в этот миг жук в дудку задудил.  
Лодейников очнулся. Над селеньем  
Всходил туманный рог луны,  
И постепенно превращалось в пенье  
Шуршанье трав и тишины.  
Природа пела. Лес, подняв лицо,  
Пел вместе с лугом. Речка чистым телом  
Звенела вся, как звонкое кольцо.  
В тумане белом  
Трясли кузнечики сухими лапками,  
Жуки стояли черными охалками,  
Их голоса казались сучками.  
Блестя прозрачными очками,  
По лугу шел красавец Соколов,  
Играя на задумчивой гитаре.  
Цветы его касались сапогов

И наклонялись. Маленькие твари  
С размаху шлепались ему на грудь  
И, бешено подпрыгивая, падали,  
Но Соколов ступал по падали  
И равномерно продолжал свой путь.

Лодейников заплакал. Светляки  
Вокруг него зажгли свои лампадки,  
Но мысль его, увы, играла в прятки  
Сама с собой, рассудку вопреки.

3

В своей избушке, сидя за столом,  
Он размышлял, исполненный печали.  
Уже сгустились сумерки. Кругом  
Ночные птицы жалобно кричали.  
Из окон хаты шел дрожащий свет,  
И в полосе неверного сиянья  
Стояли яблони, как будто изваянья,  
Возникшие из мрака древних лет.  
Дрожащий свет из окон проливался  
И падал так, что каждый лепесток  
Среди туманных листьев выделялся  
Прозрачной чашечкой, открытой на восток.  
И все чудесное и милое растение  
Напоминало каждому из нас  
Природы совершенное творенье,  
Для совершенных вытканное глаз.

Лодейников склонился над листьями,  
И в этот миг привиделся ему  
Огромный червь, железными зубами  
Схвативший лист и прыгнувший во тьму.  
Так вот она, гармония природы,  
Так вот они, ночные голоса!  
Так вот о чем шумят во мраке воды,  
О чем, вздыхая, шепчутся леса!  
Лодейников прислушался. Над садом  
Шел смутный шорох тысячи смертей.  
Природа, обернувшаяся адом,  
Свои дела вершила без затей.  
Жук ел траву, жука клевала птица,  
Хорек пил мозг из птичьей головы,  
И страхом перекошенные лица  
Ночных существ смотрели из травы.  
Природы вековечная давяльня  
Соединяла смерть и бытие

В один клубок, но мысль была бессильна  
Соединить два таинства ее.

А свет луны летел из-за карниза,  
И, нарумянив серое лицо,  
Наследница хозяйская Лариса  
В суконной шляпке вышла на крыльцо.  
Лодейников ей был неинтересен:  
Хотелось ей веселья, счастья, песен,—  
Он был угрюм и скучен. За рекой  
Плясал девиц многообразный рой.  
Там Соколов ходил с своей гитарой.  
К нему, к нему! Он песни распевал,  
Он издевался над любой парой  
И, словно бог, красоток целовал.

4

Суровой осени печален поздний вид.  
Уныло спят безмолвные растенья.  
Над крышами пустынного селенья  
Заря небес болезненно горит.  
Закрылись двери маленьких избушек,  
Сад опустел, безжизненны поля,  
Вокруг деревьев мерзлая земля  
Покрыта ворохом блестящих завитушек,  
И небо хмурится, и мчится ветер к нам,  
Рубаху дерева сгибаю пополам.

О, слушай, слушай хлопанье рубах!  
Ведь в каждом дереве сидит могучий Бах,  
И в каждом камне Ганнибал тaitся...  
И вот Лодейникову по ночам не спится:  
В оркестрах бурь он слышит пред собой  
Напев лесов, тоскующий и страстный...  
На станции однажды в день ненастный  
Простился он с Ларисой молодой.

Как изменилась бедная Лариса!  
Все, чем прекрасна молодость была,  
Она по воле странного каприза  
Случайному знакомцу отдала.  
Еще в душе холодной Соколова  
Не высох след ее последних слез,—  
Осенний вихрь ворвался в мир былого,  
Разбил его, развеял и унес.

Ах, Лара, Лара, глупенькая Лара,  
Кто мог тебе, краса моя, помочь?  
Сквозь жизнь твою прошла его гитара  
И этот голос, медленный, как ночь.  
Дубы в ту ночь так сладко шелестели,  
Цвела сирень, черемуха цвела,  
И так тебе певцы ночные пели,  
Как будто впрямь невестой ты была.  
Как будто впрямь серебряной фатою  
Был этот сад сверкающий покрыт...  
И только выпь кричала за рекою  
Вплоть до зари и плакала навзрыд.

Из глубины безмолвного вагона,  
Весь сгорбившись, как немощный старик,  
В последний раз печально и влюбленно  
Лодейников взглянул на милый лик.  
И поезд тронулся. Но голоса растений  
Неслись вослед, качаясь и дрожа,  
И сквозь тяжелый мрак миротворенья  
Рвалась вперед бессмертная душа  
Растительного мира. Час за часом  
Бежало время. И среди полей  
Огромный город, возникая разом,  
Зажегся вдруг миллионами огней.  
Разрозненного мира элементы  
Теперь слились в один согласный хор,  
Как будто, пробуя лесные инструменты,  
Вступал в природу новый дирижер.  
Органам скал давал он вид забоев,  
Оркестрам рек — железный бег турбин  
И, хищника отвадив от разбоев,  
Торжествовал, как мудрый исполин.  
И в голоса нестройные природы  
Уже вплетался первый стройный звук,  
Как будто вдруг почувствовали воды,  
Что не смертелен тяжкий их недуг.  
Как будто вдруг почувствовали травы,  
Что есть на свете солнце вечных дней,  
Что не они во всей вселенной правы,  
Но только он — великий чародей.

Суровой осени печален поздний вид,  
Но посреди ночного небосвода  
Она горит, твоя звезда, природа,  
И вместе с ней душа моя горит.

1932—1947



## ПРОЩАНИЕ

*Памяти С. М. Кирова*

Прощание! Скорбное слово!  
Безгласное темное тело.  
С высот Ленинграда сурово  
Холодное небо глядело.  
И молча, без грома и пенья,  
Все три боевых поколенья  
В тот день бесконечной толпою  
Прошли, расставаясь с тобою.

В холодных садах Ленинграда,  
Забывая в траурном марше,  
Огромных дубов колоннада  
Стояла, как будто на страже.  
Казалось, высоко над нами  
Природа сомкнулась рядами  
И тихо рыдала и пела,  
Узнав неподвижное тело.

Но видел я дальние дали  
И слышал с друзьями моими,  
Как дети детей повторяли  
Его незабвенное имя.  
И мир исполински прекрасный  
Сиял над могилой безгласной,  
И был он надежен и крепок,  
Как сердца погибшего слепок.

1934

## НАЧАЛО ЗИМЫ

Зимы холодное и ясное начало  
Сегодня в дверь мою три раза простучало.  
Я вышел в поле. Острый, как металл,  
Мне зимний воздух сердце спеленал,  
Но я вздохнул и, разгибая спину,  
Легко сбежал с пригорка на равнину,  
Сбежал и вздрогнул: речки страшный лик  
Вдруг глянул на меня и в сердце мне проник.

Заковывая холодом природу,  
Зима идет и руки тянет в воду.

Река дрожит и, чуя смертный час,  
Уже открыть не может томных глаз,  
И все ее беспомощное тело  
Вдруг страшно вытянулось и оцепенело  
И, еле двигая свинцовою волной,  
Теперь лежит и бьется головой.

Я наблюдал, как речка умирала,  
Не день, не два, но только в этот миг,  
Когда она от боли застонала,  
В ее сознание, кажется, проник.  
В печальный час, когда исчезла сила,  
Когда вокруг не стало никого,  
Природа в речке нам изобразила  
Скользкий мир сознания своего.

И уходящий трепет размышленья  
Я, кажется, прочел в глухом ее томленьи,  
И в выраженьи волн предсмертные черты  
Вдруг уловил. И если знаешь ты,  
Как смотрят люди в день своей кончины,  
Ты взгляд реки поймешь. Уже до середины  
Смертельно почерневшая вода  
Чешуйками подергивалась льда.

И я стоял у каменной глазницы,  
Ловил на ней последний отблеск дня.  
Огромные внимательные птицы  
Смотрели с елки прямо на меня.  
И я ушел. И ночь уже спустилась.  
Крутился ветер, падая в трубу.  
И речка, вероятно, еле билась,  
Затвердевая в каменном гробу.

1935

#### ВЕСНА В ЛЕСУ

Каждый день на косогоре я  
Пропадаю, милый друг.  
Вешних дней лаборатория  
Расположена вокруг.

В каждом маленьком растеньице,  
Словно в колбочке живой,  
Влага солнечная пенится  
И кипит сама собой.

Эти колбочки исследовав,  
Словно химик или врач,  
В длинных перьях фиолетовых  
По дороге ходит грач.

Он штудирует внимательно  
По тетрадке свой урок  
И больших червей питательных  
Собирает детям впрок.

А в глуши лесов таинственных,  
Нелюдимый, как дикарь,  
Песню прадедов воинственных  
Начинает петь глухарь.

Словно идолище древнее,  
Обезумев от греха,  
Он рокошет за деревнею  
И колышет потроха.

А на кочках под осинами,  
Солнца праздную восход,  
С причитаньями старинными  
Водят зайцы хоровод.

Лапки к лапкам прижимаючи,  
Вроде маленьких ребят,  
Про свои обиды заячьи  
Монотонно говорят.

И над песнями, над плясками  
В эту пору каждый миг,  
Населяя землю сказками,  
Пламенеет солнца лик.

И, наверно, наклоняется  
В наши древние леса,  
И невольно улыбается  
На лесные чудеса.

1935

### ЗАСУХА

О солнце, раскаленное чрез меру,  
Угасни, смилуйся над бедною землей!  
Мир призраков колеблет атмосферу,  
Дрожит весь воздух ярко-золотой.

Над желтыми лохмотьями растений  
Плывут прозрачные фигуры испарений.  
Как страшен ты, костлявый мир цветов,  
Сожженных венчиков, расколотых листов,  
Обезображенных, обугленных головок,  
Где бродит стадо божиих коровок!

В смертельном обмороке бедная река  
Чуть шевелит засохшими устами.  
Украшив дно большими бороздами,  
Ползут улитки, высунув рога.  
Подводные кибиточки, повозки,  
Коробочки из перла и известки,  
Остановитесь! В этот страшный день  
Ничто не движется, пока не пала тень.  
Лишь вечером, как только за дубравы  
Опустится багровый солнца круг,  
Заплакав жалобно, придут в сознание травы,  
Вздохнут дубы, подняв остатки рук.

Но жизнь моя печальней во сто крат,  
Когда болеет разум одинокий  
И вымыслы, как чудища, сидят,  
Поднявши морды над гнилой осокой.  
И в обмороке смутная душа,  
И, как улитки, движутся сомненья,  
И на песках, колеблясь и дрожа,  
Встают, как уголь, черные растенья.

И чтобы снова исцелился разум,  
И дождь и вихрь пускай ударят разом!  
Ловите молнию в большие фонари,  
Руками черпайте кристальный свет зари,  
И радуга, упавшая на плечи,  
Пускай дома украсит человечьи.

Не бойтесь бурь! Пускай ударит в грудь  
Природы очистительная сила!  
Ей все равно с дороги не свернуть,  
Которую сознание начертило.  
Учительница, девственница, мать,  
Ты не богиня, да и мы не боги,  
Но все-таки как сладко понимать  
Твои бессвязные и смутные уроки!

## НОЧНОЙ САД

О, сад ночной, таинственный орган,  
Лес длинных труб, приют виолончелей!  
О, сад ночной, печальный караван  
Немых дубов и неподвижных елей!

Он целый день метался и шумел.  
Был битвой дуб, и тополь — потрясеньем.  
Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,  
Переплетались в воздухе осеннем.

Железный Август в длинных сапогах  
Стоял вдали с большой тарелкой дичи.  
И выстрелы гремели на лугах,  
И в воздухе мелькали тельца птичьи.

И сад умолк, и месяц вышел вдруг,  
Легли внизу десятки длинных теней,  
И толпы лип вздымали кисти рук,  
Скрывая птиц под купами растений.

О, сад ночной, о, бедный сад ночной,  
О, существа, заснувшие надолго!  
О, вспыхнувший над самой головой  
Мгновенный пламень звездного осколка!

1936

## ВСЕ, ЧТО БЫЛО В ДУШЕ

Все, что было в душе, все как будто опять потерялось,  
И лежал я в траве, и печалью и скукой томим,  
И прекрасное тело цветка надо мной поднималось,  
И кузнечик, как маленький сторож, стоял перед ним.

И тогда я открыл свою книгу в большом переплете,  
Где на первой странице растения виден чертеж.  
И черна и мертва, протянулась от книги к природе  
То ли правда цветка, то ли в нем заключенная ложь.

И цветок с удивленьем смотрел на свое отражение  
И как будто пытался чужую премудрость понять.  
Трепетало в листах непривычное мысли движенье,  
То усилие воли, которое не передать.

И кузничик трубу свою поднял, и природа внезапно  
проснулась,  
И запела печальная тварь славословье уму,  
И подобье цветка в старой книге моей шевельнулось  
Так, что сердце мое шевельнулось навстречу ему.

1936

#### В ЧЕРА, О СМЕРТИ РАЗМЫШЛЯЯ

Вчера, о смерти размышляя,  
Ожесточилась вдруг душа моя.  
Печальный день! Природа вековая  
Из тьмы лесов смотрела на меня.

И нестерпимая тоска разъединенья  
Пронзила сердце мне, и в этот миг  
Все, все услышал я — и трав вечерних пенье,  
И речь воды, и камня мертвый крик.

И я, живой, скитался над полями,  
Входил без страха в лес,  
И мысли мертвецов прозрачными столбами  
Вокруг меня вставали до небес.

И голос Пушкина был над листвою слышен,  
И птицы Хлебникова пели у воды.  
И встретил камень я. Был камень неподвижен,  
И проступал в нем лик Сковороды.

И все существованья, все народы  
Нетленное хранили бытие,  
И сам я был не детище природы,  
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!

1936

#### СЕВЕР

В воротах Азии, среди лесов дремучих,  
Где сосны древние стоят, купая в тучах  
Свои закованные холодом верхи;  
Где волка валит с ног дыханием пурги;  
Где холодом охваченная птица  
Летит, летит и вдруг, затрепетав,

Повиснет в воздухе, и кровь ее сгустится,  
И птица падает, замерзшая, стремглав;  
Где в желобах своих гробообразных,  
Составленных из каменного льда,  
Едва течет в глубинах рек прекрасных  
От наших взоров скрытая вода;  
Где самый воздух, острый и блестящий,  
Дает нам счастье жизни настоящей,  
Весь из кристаллов холода сложен;  
Где солнца шар короной окружен;  
Где люди с ледяными бородами,  
Надев на голову конический треух,  
Сидят в санях и длинными столбами  
Пускают изо рта оледенелый дух;  
Где лошади, как мамонты в оглоблях,  
Бегут, урча; где дым стоит на кровлях,  
Как изваяние, пугающее глаз;  
Где снег, сверкая, падает на нас  
И каждая снежинка на ладони  
То звездочку напомним, то кружок,  
То вдруг цилиндром блеснет на небосклоне,  
То крестиком опустится у ног;  
В воротах Азии, в объятиях метели,  
Где сосны в шубах и в тулупах ели, —  
Несметные богатства затая,  
Лежит в сугробах родина моя.

А дальше к Северу, где океан полярный  
Гудит всю ночь и перпендикулярный  
Над головою поднимает лед,  
Где, весь оледенелый, самолет  
Свой тяжкий винт едва-едва вращает  
И дальние зимовья навещает, —  
Там тень «Челюскина» среди отвесных плит,  
Как призрак царственный, над пропастью стоит.

Корабль недвижим. Призрак величавый,  
Что ты стоишь с твоею чудной славой?  
Ты — пар воображенья, ты — фантом,  
Но подвиг твой — свидетельство о том,  
Что здесь, на Севере, в середине льдов тяжелых,  
Разрезав моря каменную грудь,  
Флотилии огромных ледоколов  
Необычайный вырубил путь.  
Как бронтозавры каменного века,  
Они прошли, создання человека,  
Плавушие вместилища чудес,  
Бия винтами, льдам наперерез.

И вся природа мертвыми руками  
Простерлась к ним, но, брошенная вспять,  
Горой отчаянья легла над берегами  
И не посмела головы поднять.

1936

### ГОРИЙСКАЯ СИМФОНИЯ

Есть в Грузии необычайный город.  
Там буйволы, засунув шею в ворот,  
Стоят, как боги древности седой,  
Склонив рога над шумною водой.  
Там основапья каменные хижин  
Из первобытных сложены булыжин  
И тополя, расставленные в ряд,  
Подняв над миром трепетное тело,  
По-карталиински медленно шумят  
О подвигах великого картвела.

И древний холм в уборе ветхих башен  
Царитверху, и город, полный сил,  
Его суровым бременем украшен,  
Все племена в себе объединил.  
Взойди на холм, прислушайся к дыханью  
Камней и трав, и, сдерживая дрожь,  
Из сердца вырвавшийся гимн существованью  
Счастливый, ты невольно запоешь.

Как широка, как сладостна долина,  
Теченье рек как чисто и легко,  
Как цепи гор, слагаясь воедино,  
Преображенные, сияют далеко!  
Живой язык проснувшейся природы  
Здесь учит нас основам языка,  
И своды слов стоят, как башен своды,  
И мысль течет, как горная река.

Ты помнишь вечер? Солнце опускалось,  
Дымился неба купол голубой.  
Вся Карталиния в огнях переливалась,  
Мычали буйволы, качаясь над Курой.  
Замолкнул город, тих и неподвижен,  
И эта хижина, беднейшая из хижин,  
Казалась нам и меньше и темней.  
Но как влеклось мое сознание к ней!



Припоминая отрочества годы,  
Хотел понять я, как в такой глуши  
Образовался действием природы  
Первоначальный строй его души.  
Как он смотрел в небес огромный купол,  
Как гладил буйвола, как свой твердил урок,  
Как в тайниках души своей баюкал  
То, что еще и высказать не мог.

Привет тебе, о Грузия моя,  
Рожденная в страданиях и буре!  
Привет вам, виноградники, поля,  
Гром трактора и пенье чианури!  
Привет тебе, мой брат имеретин,  
Привет тебе, могучий карталинец,  
Мегрел задумчивый и ловкий осетин,  
И с виноградной чашей кахетинец!  
Привет тебе, могучий мой Кавказ,  
Короны гор и пропасти ущелий,  
Привет тебе, кто слышал в первый раз  
Торжественное пенье Руставели!

Приходит ночь, и песня на устах  
У всех, у всех от Мцхета до Сигнаха.  
Поет хевсур, весь в ромбах и крестах,  
Свой щит и меч повесив в Барисахо.  
Из дальних гор, из каменной избы  
Выходят сваны длинной вереницей,  
И воздух прорезает звук трубы,  
И скалы отвечают ей сторицей.  
И мы садимся около костров,  
Вздыхаем чашу дружеского пира,  
И «Мравалжамиер» гремит в стране отцов —  
Заздравный гимн проснувшегося мира.

И снова утро всходит над землею.  
Прекрасен мир в начале октября!  
Скрипит арба, народ бежит толпою,  
И персики, как нежная заря,  
Мерцают из раскинутых корзинок.  
О, двух миров могучий поединок!  
О, крепость мертвая на каменной горе!  
О, спор веков и битва в Октябре!  
Пронзен весь мир с подножья до зенита,  
Исчез племен несовершенный быт,  
И план, начертанный на скалах из гранита,  
Перед народами открыт.

1936

Он умирал, сжимая компас верный.  
 Природа мертвая, закованная льдом,  
 Лежала вокруг него, и солнца лик пещерный  
 Через туман просвечивал с трудом.  
 Лохматые, с ремнями на груди,  
 Свой легкий груз собаки чуть влачили.  
 Корабль, затертый в ледяной могиле,  
 Уж далеко остался позади.  
 И целый мир остался за спиною!  
 В страну безмолвия, где полюс-великан,  
 Увенчанный тиарой ледяною,  
 С меридианом свел меридиан;  
 Где полукруг полярного сиянья  
 Копьем алмазным небо пересек;  
 Где вековое мертвое молчанье  
 Нарушить мог один лишь человек,—  
 Туда, туда! В страну туманных бредней,  
 Где обрывается последней жизни нить!  
 И сердца стон, и жизни миг последний—  
 Все, все отдать, но полюс победить!

Он умирал посереде дороги,  
 Болезнями и голодом томим.  
 В цинготных пятнах ледяные ноги,  
 Как бревна, мертвые лежали перед ним.  
 Но странно! В этом полумертвом теле  
 Еще жила великая душа:  
 Превозмогая боль, едва дыша,  
 К лицу приблизив компас еле-еле,  
 Он проверял по стрелке свой маршрут  
 И гнал вперед свой поезд погребальный...  
 О край земли, угрюмый и печальный!  
 Какие люди побывали тут!

И есть на дальнем Севере могила...  
 Вдали от мира высится она.  
 Один лишь ветер воет там уныло,  
 И снега ровная блистает пелена.  
 Два верных друга, чуть живые оба,  
 Среди камней героя погребли,  
 И не было ему простого даже гроба,  
 Щепотки не было родной ему земли.  
 И не было ему ни почестей военных,  
 Ни траурных салютов, ни венков,  
 Лишь два матроса, стоя на коленях,  
 Как дети, плакали одни среди снегов.

Но люди мужества, друзья, не умирают!  
Теперь, когда над нашей головой  
Стальные вихри воздух рассекают  
И пропадают в дымке голубой,  
Когда, достигнув снежного зенита,  
Наш флаг над полюсом колеблется, крылат,  
И обозначены углом теодолита  
Восход луны и солнечный закат,—  
Друзья мои, на торжестве народном  
Помянем тех, кто пал в краю холодном!

Вставай, Седов, отважный сын земли!  
Твой старый компас мы сменили новым,  
Но твой поход на Севере суровом  
Забуть в своих походах не могли.  
И жить бы нам на свете без предела,  
Вгрызаясь в льды, меняя русла рек,—  
Отчизна воспитала нас и в тело  
Живую душу вдунула навек.  
И мы пойдем в урочища любые,  
И, если смерть застигнет у снегов,  
Лишь одного просил бы у судьбы я:  
Так умереть, как умирал Седов.

1937

#### ГОЛУБИНАЯ КНИГА

В младенчестве я слышал много раз  
Полузабытый прадедов рассказ  
О книге сокровенной... За рекою  
Кровавый луч зари, бывало, чуть горит,  
Уж спать пора, уж белой пеленою  
С реки ползет туман и сердце леденит,  
Уж бедный мир, забыв свои страданья,  
Затихнул весь, и только вдалеке  
Кузничик, маленький работник мирозданья,  
Все трудится, поет, не требуя вниманья,—  
Один, на непонятном языке...  
О тихий час, начало летней ночи!  
Деревня в сумерках. И возле темных хат  
Седые пахари, полузакрывши очи,  
На бревнах еле слышно говорят.

И вижу я сквозь темноту ночную,  
Когда огонь над трубкой вспыхнет вдруг,

То спутанную бороду седую,  
То жилы выпуклые истомленных рук.  
И слышу я знакомое сказанье,  
Как правда кривду вызвала на бой,  
Как одолела кривда, и крестьяне  
С тех пор живут обижены судьбой.  
Лишь далеко на океане-море,  
На белом камне, посредине вод,  
Сияет книга в золотом уборе,  
Лучами упираясь в небосвод.  
Та книга выпала из некой грозной тучи,  
Все буквы в ней цветами проросли,  
И в ней написана рукой судеб могучей  
Вся правда сокровенная земли.  
Но семь на ней повешено печатей,  
И семь зверей ту книгу стерегут,  
И велено до той поры молчать ей,  
Пока печати в бездну не спадут.

А ночь горит над тихою землею,  
Дрожащим светом залиты поля,  
И высоко плывут над головою  
Туманные ночные тополя.  
Как сказка — мир. Сказания народа,  
Их мудрость темная, но милая вдвойне,  
Как эта древняя могучая природа,  
С младенчества запали в душу мне...

Где ты, старик, рассказчик мой ночной?  
Мечтал ли ты о правде трудовой  
И верил ли в годину искупленья?  
Не знаю я... Ты умер, наг и сир,  
И над тобою, полные кипенья,  
Давно шумят иные поколенья,  
Угрюмый перестраивая мир.

1937

#### М Е Т А М О Р Ф О З Ы

Как мир меняется! И как я сам меняюсь!  
Лишь именем одним я называюсь,—  
На самом деле то, что именуют мной,—  
Не я один. Нас много. Я — живой.  
Чтоб кровь моя остынуть не успела,  
Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел  
Я отделил от собственного тела!

И если б только разум мой прозрел  
И в землю устремил пронзительное око,  
Он увидел бы там, среди могил, глубоко  
Лежащего меня. Он показал бы мне  
Меня, колеблемого на морской волне,  
Меня, летящего по ветру в край незримый,—  
Мой бедный прах, когда-то так любимый.

А я все жив! Все чище и полней  
Объемлет дух скопление чудных тварей.  
Жива природа. Жив среди камней  
И злак живой, и мертвый мой гербарий.  
Звено в звено и форма в форму. Мир  
Во всей его живой архитектуре —  
Орган поющий, море труб, клавир,  
Не умирающий ни в радости, ни в буре.

Как все меняется! Что было раньше птицей,  
Теперь лежит написанной страницей;  
Мысль некогда была простым цветком;  
Поэма шествовала медленным быком;  
А то, что было мною, то, быть может,  
Опять растет и мир растений множит.  
Вот так, с трудом пытаюсь развивать  
Как бы клубок какой-то сложной пряжи,  
Вдруг и увидишь то, что должно называть  
Бессмертием. О, суеверья наши!

1937

#### ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

Опять мне блеснула, окована сном,  
Хрустальная чаша во мраке лесном.

Сквозь битвы деревьев и волчи сраженья,  
Где пьют насекомые сок из растенья,  
Где буйствуют стебли и стонут цветы,  
Где хищная тварями правит природа,  
Пробрался к тебе я и замер у входа,  
Раздвинув руками сухие кусты.

В венце из кувшинок, в уборе осок,  
В сухом ожерелье растительных дудок  
Лежал целомудренной влаги кусок,  
Убежище рыб и пристанище уток.  
Но странно, как тихо и важно кругом!

Откуда в трущобах такое величье?  
Зачем не беснуется полчище птичье,  
Но спит, убаюкано сладостным сном?  
Один лишь кулик на судьбу негодует  
И в дудку растенья бессмысленно дует.

И озеро в тихом вечернем огне  
Лежит в глубине, неподвижно сияя,  
И сосны, как свечи, стоят в вышине,  
Смыкаясь рядами от края до края.  
Бездонная чаша прозрачной воды  
Сияла и мыслила мыслью отдельной.  
Так око больного в тоске беспредельной  
При первом сиянье вечерней звезды,  
Уже не сочувствуя телу больному,  
Горит, устремленное к небу ночному.  
И толпы животных и диких зверей,  
Просунув сквозь елки рогатые лица,  
К источнику правды, к купели своей  
Склонялись воды животворной напиться.

1938

#### СОЛОВЕЙ

Уже умолкала лесная капелла.  
Едва открывал свое горлышко чирик.  
В коронке листов соловьиное тело  
Одно, не смолкая, над миром звенело.

Чем больше я гнал вас, коварные страсти,  
Тем меньше я мог насмеяться над вами.  
В твоей ли, пичужка ничтожная, власти  
Безмолвствовать в этом сияющем храме?

Косые лучи, ударяя в поверхность  
Прохладных листов, улетали в пространство.  
Чем больше тебя я испытывал, верность,  
Тем меньше я верил в твое постоянство.

А ты, соловей, пригвожденный к искусству,  
В свою Клеопатру влюбленный Антоний,  
Как мог ты довериться, бешеный, чувству,  
Как мог ты увлечься любовной погоней?

Зачем, покидая вечерние рощи,  
Ты сердце мое разрываешь на части?  
Я болен тобою, а было бы проще  
Расстаться с тобою, уйти от напасти.

Уж так, видно, мир этот создан, чтоб звери,  
Родители первых пустынных симфоний,  
Твои восклицанья услышав в пещере,  
Мычали и выли: «Антоний! Антоний!»

1939

### С Л Е П О Й

С опрокинутым в небо лицом,  
С головой непокрытой,  
Он торчит у ворот,  
Этот проклятый богом старик.  
Целый день он поет,  
И напев его грустно-сердитый,  
Ударяя в сердца,  
Поражает прохожих на миг.

А вокруг старика  
Молодые шумят поколенья.  
Расцветая в садах,  
Сумасшедшая стонет сирень.  
В белом гроте черемух  
По серебряным листьям растений  
Поднимается к небу  
Ослепительный день...

Что ж ты плачешь, слепец?  
Что томишься напрасно весною?  
От надежды былой  
Уж давно не осталось следа.  
Черной бездны твоей  
Не укроешь весенней листвою,  
Полумертвых очей  
Не откроешь, увы, никогда.

Да и вся твоя жизнь —  
Как большая привычная рана.  
Не любимец ты солнцу,  
И природе не родственник ты.  
Научился ты жить  
В глубине векового тумана,  
Научился смотреть  
В вековое лицо темноты...

И боюсь я подумать,  
Что где-то у края природы  
Я такой же слепец  
С опрокинутым в небо лицом.

Лишь во мраке души  
Наблюдаю я вешние воды,  
Собеседую с ними  
Только в горестном сердце моем.

О, с каким я трудом  
Наблюдаю земные предметы,  
Весь в тумане привычек,  
Невнимательный, суетный, злой!  
Эти песни мои —  
Сколько раз они в мире пропеты!  
Где найти мне слова  
Для возвышенной песни живой?

И куда ты влечешь меня,  
Темная грозная муза,  
По великим дорогам  
Необъятной отчизны моей?  
Никогда, никогда  
Не искал я с тобою союза,  
Никогда не хотел  
Подчиняться я власти твоей,—

Ты сама меня выбрала,  
И сама ты мне душу пронзила,  
Ты сама указала мне  
На великое чудо земли...  
Пой же, старый слепец!  
Ночь подходит. Ночные светила,  
Повторяя тебя,  
Равнодушно сияют вдали.

1946

## У Т Р О

Петух запеваёт, светает, пора!  
В лесу под ногами гора серебра.  
Там черных деревьев стоят батальоны,  
Там елки как пики, как выстрелы — клены,  
Их корни как шкворни, сучки как стропила,  
Их ветры ласкают, им светят светила.  
Там дятлы, качаясь на дубе сыром,  
С утра вырубают своим топором  
Угрюмые ноты из книги дубрав,  
Короткие головы в плечи вобрав.



Рожденный пустыней,  
Колеблется звук,  
Колеблется синий  
На нитке паук.  
Колеблется воздух,  
Прозрачен и чист,  
В сияющих звездах  
Колеблется лист.

И птицы, одетые в светлые шлемы,  
Сидят на воротах забытой поэмы,  
И девочка в речке играет нагая  
И смотрит на небо, смеясь и мигая.  
Петух запекает, светает, пора!  
В лесу под ногами гора серебра.

1946

### Г Р О З А

Содрогаясь от мук, пробежала над миром зарница,  
Тень от тучи легла, и слилась, и смешалась с травой.  
Все труднее дышать, в небе облачный вал шевелится,  
Низко стелется птица, пролетев над моей головой.

Я люблю этот сумрак восторга, эту краткую ночь вдохновенья,  
Человеческий шорох травы, вещей холод на темной руке,  
Эту молнию мысли и медлительное появленье  
Первых дальних громов — первых слов на родном языке.

Так из темной воды появляется в мир светлоокая дева,  
И стекает по телу, замирая в восторге, вода,  
Травы падают в обморок, и направо бегут и налево  
Увидавшие небо стада.

А она над водой, над просторами круга земного,  
Удивленная, смотрит в дивном блеске своей наготы.  
И, играя громами, в белом облаке катится слово,  
И сияющий дождь на счастливые рвется цветы.

1946

### Б Е Т Х О В Е Н

В тот самый день, когда твои созвучья  
Преодолели сложный мир труда,  
Свет пересилил свет, прошла сквозь тучу туча,  
Гром двинулся на гром, в звезду вошла звезда.

И яростным охвачен вдохновеньем,  
В оркестрах гроз и трепете громов,  
Поднялся ты по облачным ступеням  
И прикоснулся к музыке миров.

Дубравой труб и озером мелодий  
Ты перевозмог нестройный ураган,  
И крикнул ты в лицо самой природе,  
Свой львиный лик просунув сквозь оргán.

И пред лицом пространства мирового  
Такую мысль вложил ты в этот крик,  
Что слово с воплем вырвалось из слова  
И стало музыкой, венчая львиный лик.

В рогах быка опять запела лира,  
Пастушьей флейтой стала кость орла,  
И понял ты живую прелесть мира  
И отделил добро его от зла.

И сквозь покой пространства мирового  
До самых звезд прошел девятый вал...  
Откройся, мысль! Стань музыкою, слово,  
Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!

1946

#### УСТУПИ МНЕ, СКВОРЕЦ, УГОЛОК

Уступи мне, скворец, уголок,  
Посели меня в старом скворешнике.  
Отдаю тебе душу в залог  
За твои голубые подснежники.

И свистит и бормочет весна.  
По колено затоплены тополи.  
Пробуждаются клены от сна,  
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.

И такой на полях кавардак,  
И такая ручьев околесица,  
Что попробуй, покинув чердак,  
Слома голову в рощу не броситься!

Начинай серенаду, скворец!  
Сквозь литавры и бубны истории  
Ты — наш первый весенний певец  
Из березовой консерватории.

Открывай представленья, свистун!  
Запрокинься головкою розовой,  
Разрывая сияние струн  
В самом горле у рощи березовой.

Я и сам бы стараться горазд,  
Да шепнула мне бабочка-странница:  
«Кто бывает весною горласт,  
Тот без голоса к лету останется».

А весна хороша, хороша!  
Охватило всю душу сиренями.  
Поднимай же скворешню, душа,  
Над твоими садами весенними.

Поселись на высоком шесте,  
Польхая по небу восторгами,  
Прилепись паутинкой к звезде  
Вместе с птичьими скороговорками.

Повернись к мирозданию лицом,  
Голубые подснежники чувствуя,  
С потерявшим сознание скворцом  
По весенним полям путешествуя.

1946

#### ЧИТАЙТЕ, ДЕРЕВЬЯ, СТИХИ ГЕЗИОДА

Читайте, деревья, стихи Гезиода,  
Дивись Оссиановым гимнам, рябина!  
Не меч ты поднимешь сегодня, природа,  
Но школьный звонок над щитом Кухулина.  
Еще заливаются ветры, как барды,  
Еще не смолкают березы Морвена,  
Но зайцы и птицы садятся за парты  
И к зверю девятая сходит Камена.  
Березы, вы школьницы! Полно калякать,  
Довольно скакать, задирая подолы!  
Вы слышите, как через бурю и слякоть  
Ревут водопады, спрягая глаголы?  
Вы слышите, как перед зеркалом речек,  
Под листьями ивы, под лапами ели,  
Как маленький Гамлет, рыдает кузнецик,  
Не в силах от вашей уйти канители?  
Опять ты, природа, меня обманула,  
Опять провела меня за нос, как сводня!  
Во имя чего среди ливня и гула  
Опять, как безумный, брожу я сегодня?

В который ты раз мне твердишь, потаскуха,  
Что здесь, на пороге всеобщего тленья,  
Не место бессмертным иллюзиям духа,  
Что жизнь продолжается только мгновенье!  
Вот так я тебе и поверил! Покуда  
Не вытряхнут душу из этого тела,  
Едва ли иного достоин я чуда,  
Чем то, от которого сердце запело.  
Мы, люди,— хозяева этого мира,  
Его мудрецы и его педагоги,  
Затем и поет Оссианова лира  
Над чащею леса, у края берлоги.  
От моря до моря, от края до края  
Мы учим и пестуем младшего брата,  
И бабочки, в солнечном свете играя,  
Садятся на лысое темя Сократа.

1946

#### ЕЩЕ ЗАРЯ НЕ ВСТАЛА НАД СЕЛОМ

Еще заря не встала над селом,  
Еще лежат в саду десятки теней,  
Еще блистает лунным серебром  
Замерзший мир деревьев и растений.

Какая ранняя и звонкая зима!  
Еще вчера был день прозрачно-синий,  
Но за ночь ветер вдруг сошел с ума,  
И выпал снег, и лег на листья иней.

И я смотрю, задумавшись, в окно.  
Над крышами соседнего квартала,  
Прозрачным пламенем своим окружено,  
Восходит солнце медленно и вяло.

Седых берез волшебные ряды  
Метут снега безжизненной куделью.  
В кристалл холодный убраны сады,  
Внезапно занесенные метелью.

Мой старый пес стоит, насторожась,  
А снег уже блистает перламутром,  
И все яснее чувствуется связь  
Души моей с холодным этим утром.

Так на заре просторных зимних дней  
Под сенью замерзающих растений  
Нам предстают свободней и полней  
Живые силы наших вдохновений.

1946

## В ЭТОЙ РОЩЕ БЕРЕЗОВОЙ

В этой роще березовой,  
Вдалеке от страданий и бед,  
Где колеблется розовый  
Немигающий утренний свет,  
Где прозрачной лавиною  
Льются листья с высоких ветвей,—  
Спой мне, иволга, песню пустынную,  
Песню жизни моей.

Пролетев над поляною  
И людей увидав с высоты,  
Избрала деревянную  
Неприметную дудочку ты,  
Чтобы в свежести утренней,  
Посетив человеческое жилье,  
Целомудренно бедной заутренней  
Встретить утро мое.

Но ведь в жизни солдаты мы,  
И уже на пределах ума  
Содрогаются атомы,  
Белым вихрем взметая дома.  
Как безумные мельницы,  
Машут войны крылами вокруг.  
Где ж ты, иволга, леса отшельница?  
Что ты смолкла, мой друг?

Окруженная взрывами,  
Над рекой, где чернеет камыш,  
Ты летишь над обрывами,  
Над руинами смерти летишь.  
Молчаливая странница,  
Ты меня провожаешь на бой,  
И смертельное облако тянется  
Над твоей головой.

За великими реками  
Встанет солнце, и в утренней мгле  
С опаленными веками  
Припаду я, убитый, к земле.  
Крикнув бешеным вороном,  
Весь дрожа, замолчит пулемет.  
И тогда в моем сердце разорванном  
Голос твой запоет.

И над рощей березовой,  
Над березовой рощей моей,

Где лавиною розовой  
Льются листья с высоких ветвей,  
Где под каплей божественной  
Холодеет кусочек цветка,—  
Встанет утро победы торжественной  
На века.

1946

## ВОЗДУШНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В крылатом домике, высоко над землей,  
Двумя ревущими моторами влекомый,  
Я пролетал вчера дорогой незнакомой,  
И облака, скользя, толпились подо мной.

Два бешеных винта, два трепета земли,  
Два грозных грохота, две ярости, две бури,  
Сливая лопасти с блистанием лазури,  
Влекли меня вперед. Гремели и влекли.

Лентообразных рек я видел перелив,  
Я различал полей зеленоватых призму,  
Туманно-синий лес, прижатый к организму  
Моей живой земли, гнезвился между нив.

Я к музыке винтов прислушивался, я  
Согласный хор винтов распределял на части,  
Я изучал их песнь, я понимал их страсти,  
Я сам изнемогал от счастья бытия.

Я посмотрел в окно, и сквозь прозрачный дым  
Блистательных хребтов суровые вершины,  
Торжественно скользя под грозный рев машины,  
Дохнули мне в лицо дыханьем ледяным.

И вскрикнула душа, узнав тебя, Кавказ!  
И солнечный поток, прорезав тело тучи,  
Упал, дымясь, на кристаллические кучи  
Огромных ледников, и вспыхнул, и погас.

И далеко внизу, расправив два крыла,  
Скользило подо мной подобье самолета.  
Казалось, из долин за нами гнался кто-то,  
Похитив свой наряд и перья у орла.

Быть может, это был неистовый Икар,  
Который вырвался из пропасти вселенной,  
Когда напев винтов с их тяжестью мгновенной  
Нанес по воздуху стремительный удар.

И вот он гонится над пропастью земли,  
Как привидение летающего грека,  
И славит хор винтов победу человека,  
И Грузия моя встречает нас вдали.

1947

### Х Р А М Г Э С

Плоскогорие Цалки, твою высоту  
Стерегут, обступив, Триалетские скалы.  
Ястреб в небе парит, и кричит на лету,  
И приветствует яростным воплем обвалы.

Здесь в бассейнах священная плещет форель,  
Здесь стада из разбитого пьют саркофага,  
Здесь с ума археологи сходят досель,  
Открывая гробницы на склоне оврага.

Здесь История пела, как дева, вчера,  
Но сегодня от грохота дрогнули горы,  
Титанических взрывов взвилась веера,  
И взметнулись ракет голубых метеоры.

Там, где волны в ущелье пробили проход,  
Многотонный бетон пересек горловину,  
И река, закипев у подземных ворот,  
Покатилась, бушуя, обратно в долину.

Словно пойманный зверь, зарычала она,  
Вырывая орешник, вздымая каменья,  
Заливая печальных гробниц письменя,  
Где давно позабытые спят поколенья.

Опустись, моя муза, в глубокий тоннель!  
Ты — подружка гидравлики, сверстница тока.  
Пред тобой в глубине иверийских земель  
Зажигается новое солнце Востока.

Ты послушай, как свищет стальной соловей,  
Как трепещет в бетоне железный вибратор,  
Опусти свои очи в зияющий кратер,  
Что уходит в скалу под ногою твоей.

Здесь грузинские юноши, дети страны,  
Словно зодчие мира, под звуки пандури  
Заклучили в трубу завывание бури  
И в бетон заковали кипенье волны.

Нас подхватит волна, мы помчимся с тобой,  
Мы по трубам низринемся в бездну ущелья,  
Где раструбы турбин в хороводе веселья  
Заливаются песней своей громовой.

Из пространств генератора мы полетим  
Высоко над землей по струне передачи,  
Мы забудем с тобою про все неудачи,  
Наслаждаясь мгновенным полетом своим.

Над Курою огромные звезды горят,  
Словно воины, встали вокруг кипарисы,  
И залитые светом кварталы Тбилиси  
О грядущих веках до утра говорят.

1947

#### САГУРАМО

Я твой родничок, Сагурамо,  
Наверно, вовек не забуду.  
Здесь каменных гор панорама  
Вставала, подобная чуду.

Здесь гор изумрудная груда  
В одежде из груш и кизила,  
Как некое древнее чудо,  
Навек мое сердце пленила.

Спускаясь с высот Зедазени,  
С развалин старинного храма,  
Я видел, как тропы оленье  
Бежали к тебе, Сагурамо.

Здесь птицы, как малые дети,  
Смотрели в глаза человечьи  
И пели мне песню о лете  
На птичьем блаженном наречье.

И в нише из древнего камня,  
Где ласточек плакала стая,  
Звучала струя родника мне,  
Дугою в бассейн упадая.



И днем, над работой склоняясь,  
И ночью, проснувшись в постели,  
Я слышал, как, в окна врываясь,  
Холодные струи звенели.

И мир превращался в огромный  
Певучий источник величья,  
И, песней его изумленный,  
Хотел его тайну постичь я.

И спутники Гурамишвили,  
Вставая из бездны столетий,  
К постели моей подходили,  
Рыдая, как малые дети.

И туч поднимались волокна,  
И дождь барабанил по крыше,  
И с шумом в открытые окна  
Врывались летучие мыши.

И сердце Ильи Чавчавадзе  
Гремело так громко и близко,  
Что молнией стала казаться  
Вершина егоobelиска.

Я вздрагивал, я просыпался,  
Я с треском захлопывал ставни,  
И снова мне в уши врывался  
Источник, звенящий на камне.

И каменный храм Зедазени  
Пылал над блистательным Мцхетом,  
И небо тропинки оленье  
Своим заливало рассветом.

1947

#### НОЧЬ В ПАСАНАУРИ

Сияла ночь, играя на пандури,  
Луна плыла в убежище любви,  
И снова мне в садах Пасанаури  
На двух Арагвах пели соловьи.

С Крестового спустившись перевала,  
Где в мае снег и каменистый лед,  
Я так устал, что не желал нимало  
Ни соловьев, ни песен, ни красот.

Под звуки соловьиного напева  
Я взял фонарь, разделся догола,  
И вот река, как бешеная дева,  
Мое большое тело обняла.

И я лежал, схватившись за камень,  
И надо мной, сверкая, выл поток,  
И камни шевелились в иступленье  
И бормотали, прыгая у ног.

И я смотрел на бледный свет огарка,  
Который колебался вдалеке,  
И с берега огромная овчарка  
Величественно двигалась к реке.

И вышел я на берег, словно воин,  
Холодный, чистый, сильный и земной,  
И гордый пес как божество спокоен,  
Узнав меня, улегся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,  
Изведав холод первобытных струй,  
Я принял в сердце первый звук пандури,  
Как в отрочестве — первый поцелуй.

1947

#### Я ТРОГАЛ ЛИСТЫ ЭВКАЛИПТА

Я трогал листья эвкалипта  
И твердые перья агавы,  
Мне пели вечернюю песню  
Аджарии сладкие травы.  
Магнолия в белом уборе  
Склоняла туманное тело,  
И синее-синее море  
У берега бешено пело.

Но в яростном блеске природы  
Мне снились московские рощи,  
Где синее небо бледнее,  
Растенья скромнее и проще.  
Где нежная иволга стонет  
Над светлым видением луга,  
Где взоры печальные клонит  
Моя дорогая подруга.

И вздрогнуло сердце от боли,  
И светлые слезы печали  
Упали на чаши растений,  
Где белые птицы кричали.  
А в небе, седые от пыли,  
Стояли камфарные лавры  
И в бледные трубы трубили,  
И в медные били литавры.

1947

У Р А Л

*Отрывок*

Зима. Огромная, просторная зима.  
Деревьев громкий треск звучит, как канонада.  
Глубокий мрак ночей выводит терема  
Сверкающих снегов над выступами сада.  
В одежде кристаллической своей  
Стоят деревья. Темные вороны,  
Сшибая снег с опущенных ветвей,  
Шарахаются, немощны и сонны.  
В оттенках грифеля клубится ворох туч,  
И звезды, пробиваясь посредине,  
Свой синеватый движущийся луч  
Едва влачат по ледяной пустыне.

Но лишь заря прорежет небосклон  
И встанет солнце, как, подобно чуду,  
Свет тысячи огней возникнет отовсюду,  
Частицами снегов в пространство отражен.  
И девственный пожар январского огня  
Вдруг упадет на школьный палисадник,  
И хоры петухов сведут с ума курятник,  
И зимний день всплывет, ликуя и звеня.

В такое утро русский человек,  
Какое б с ним ни приключилось горе,  
Не может тосковать. Когда на косогоре  
Вдруг заскрипел под валенками снег  
И большеглазых розовых детей  
Опять мелькнули радостные лица,—  
Лариса поняла: довольно ей томиться,  
Довольно мучиться. Пора очнуться ей!

В тот день она рассказывала детям  
О нашей родине. И в глубину времен,  
К прошедшим навсегда тысячелетьям

Был взор ее духовный устремлен.  
И дети видели, как в глубине веков,  
Образовавшись в огненном металле,  
Платформы двух земных материков  
Средь раскаленных лав затвердевали.  
В огне и буре плавала Сибирь,  
Европа двигала свое большое тело,  
И солнце, как огромный нетопырь,  
Сквозь желтый пар таинственно глядело.  
И вдруг, подобно льдинам в ледоход,  
Материки столкнулись. В небосвод  
Метнулся камень, образуя скалы;  
Расплавы звонких руд вонзились в интервалы  
И трещины пород; подземные пары,  
Как змеи, извиваясь меж камнями,  
Пустоты скал наполнили огнями  
Чудесных самоцветов. Все дары  
Блистательной таблицы элементов  
Здесь улеглись для наших инструментов  
И затвердели. Так возник Урал.

Урал, седой Урал! Когда в былые годы  
Шумел строительства первоначальный вал,  
Кто, покоритель скал и властелин природы,  
Коронай черных домин тебя короновал?  
Когда магнитогорские мартены  
Впервые выбросили свой стальной поток,  
Кто отворил твои безжизненные стены,  
Кто за собой сердца людей увлек  
В кипучий мир бессмертных пятилеток?  
Когда бы из могил восстал наш бедный предок  
И посмотрел вокруг, чтоб целая страна  
Вдруг сделалась ему со всех сторон видна,—  
Как изумился б он! Из черных недр Урала,  
Где царствуют топаз и турмалин,  
Пред ним бы жизнь невиданная встала,  
Наполненная пением машин.  
Он увидал бы мощные громады  
Магнитных скал, сползающих с высот,  
Он увидал бы полный сил народ,  
Трудающийся в громах подземной канонады,  
И землю он свою познал бы в первый раз...

Не отрывая от Ларисы глаз,  
Весь класс молчал, как бы замороженный.  
Лариса чувствовала: огонек, зажженный  
Ее словами, будет вечно жить  
В сердцах детей. И совершилось чудо:

Воспоминаний горестная гряда  
Вдруг перестала сердце ей томить.  
Что сердце? Сердце — воск. Когда ему блеснет  
Огонь сочувственный, огонь родного края,  
Растопится оно и, медленно сгорая,  
Навстречу жизни радостно плывет.

1947

## ГОРОД В СТЕПИ

1

Степным ветрам не писаны законы.  
Пирамидальный склон воспламеня,  
Всю ночь над нами тлеют терриконы —  
Живые горы дыма и огня.  
Куда ни глянь, от края и до края  
На пьедесталах каменных пород  
Стальные краны, в воздухе ныряя,  
Свой медленный свершают оборот.  
И вьется дым в искусственном ущелье,  
И за составом движется состав,  
И свищет ветер в бешеном веселье,  
Над Казахстаном крылья распластав.

2

Какой простор для мысли и труда!  
Какая сила дерзости и воли!  
Кто, чародей, в необозримом поле  
Воздвиг потомству эти города?  
Кто выстроил пролеты колоннад,  
Кто вылепил гирлянды на фронтонах,  
Кто среди степей разбил испепеленных  
Фонтанами взрывающийся сад?  
А ветер стонет, свищет и гудит,  
Рвет вымпела, над башнями играя,  
И изваянье Ленина стоит,  
В седые степи руку простирая.  
И степь пылает на исходе дня,  
И тень руки ложится на равнины,  
И в честь вождя заводят песнь акыны,  
Над инструментом голову склоня.  
И затихают шорохи и вздохи,  
И замолкают птичьи голоса,

И вопль певца из струнной суматохи,  
Как вольный беркут, мчится в небеса.  
Летит, летит, летит... остановился...  
И замер где-то в солнце... А внизу  
Переполох восторга прокатился,  
С туманных струн рассыпав бирюзу.  
Но странный голос, полный ликования,  
Уже вступил в особый мир чудес,  
И целый город, затаив дыханье,  
Следит за ним под куполом небес.  
И Ленин смотрит в глубь седых степей,  
И дуמוю чело его объято,  
И песнь летит, привольна и крылата,  
И, кажется, конца не будет ей.  
И далеко, в сиянии зари,  
В своих широких шляпах из брезента  
Шахтеры вторят звону инструмента  
И поднимают к небу фонари.

3

Гомер степей на пегой лошаденке  
Несется вдаль, стремительно красив.  
Вослед ему летят сизоворонки,  
Головки на закат поворотив.  
И вот, ступив ногой на солончак,  
Стоит верблюд, Ассаргадон пустыни,  
Дитя печали, гнева и гордыни,  
С тысячелетней тяжестью в очах.  
Косматый лебедь каменного века,  
Он плачет так, что слушать нету сил,  
Как будто он, скиталец и калека,  
Вкусив пространства, счастья не вкусил.  
Закинув темя за предел земной,  
Он медленно ворочает глазами,  
И тамариск, обрызганный слезами,  
Шумит пред ним серебряной волной.

4

Надев остроконечные папахи  
И наклонясь на гриву скакуна,  
Вокруг отар во весь опор казахи  
Несутся, вьются, стиснув стремяна.  
И стрепет, вылетев из-под копыт,  
Шарахается в поле, как лазутчик,  
И солнце жжет верхи сухих колючек,  
И на сто верст простор вокруг открыт.

И Ленин на холме Караганды  
Глядит в необозримые просторы,  
И вокруг него ликують птичьи хоры,  
Звенит домбра и плещет ток воды.  
И за составом движется состав,  
И льется уголь из подземной клетки,  
И ветер гонит тьму тысячелетий,  
Над Казахстаном крылья распластав.

1947

### В Т А Й Г Е

За высокий сугроб закатилась звезда,  
Блещет месяц — глазам невтерпеж.  
Кедр, владыка лесов, под наростами льда  
На бриллиантовый замок похож.

Посреди кристаллически-белых громад  
На седом телеграфном столбе,  
Оседлав изоляторы, совы сидят,  
И в лицо они смотрят тебе.

Запахнув на груди исполинский тулуп,  
Ты стоишь над землянкой звена.  
Крепко спит в тишине молодой лесоруб,  
Лишь тебе одному не до сна.

Обнимая огромный канадский топор,  
Ты стоишь, неподвижен и хмур.  
Пред тобой голубую пустыню простер  
Замурованный льдами Амур.

И далеко внизу полыхает пожар,  
Рассыпая огонь по реке,  
Это печи свои отворил сталевар  
В Комсомольске, твоём городке.

Это он подмигнул в ледяную тайгу,  
Это он побратался с тобой,  
Чтобы ты не заснул на своем берегу,  
Не замерз, околдован тайгой.

Так растёт человеческой дружбы зерно,  
Так в январской морозной пыли  
Два могучие сердца, сливаясь в одно,  
Пламенеют над краем земли.

1947

Рожок поет протяжно и уныло,—  
Давно знакомый утренний сигнал!  
Покуда медлит сонное светило,  
В свои права вступает аммонал.  
Над крутизною старого откоса  
Уже трещат бикфордовы шнуры,  
И вдруг — удар, и вздрогнула береза,  
И взвыло чрево каменной горы.  
И выдохнув короткий белый пламень  
Под напряженьем многих атмосфер,  
Завыл, запел, взлетел под небо камень,  
И заволокся дымом весь карьер.  
И равномерным грохотом обвала  
До глубины своей потрясена,  
Из тьмы лесов трущоба простонала,  
И, простонав, замолкнула она.  
Поет рожок над дальнею горою,  
Восходит солнце, заливая лес,  
И мы бежим нестройною толпою,  
Подняв ломы, громам наперерез.  
Так под напором сказочных гигантов,  
Работающих тысячами рук,  
Из недр вселенной ад поднялся Дантов  
И, грохнув наземь, раскололся вдруг.  
При свете солнца разлетелись страхи,  
Исчезли толпы духов и теней.  
И вот лежит, сверкающий во прахе,  
Подземный мир блистательных камней.  
И все черней становится и краше  
Их влажный и неправильный излом.  
О, эти расколовшиеся чаши,  
Обломки звезд с оторванным крылом!  
Кубы и плиты, стрелы и квадраты,  
Мгновенно отвердевшие грома,—  
Они лежат передо мной, разъяты  
Одним усилием светлого ума.  
Еще прохлада дышит вековая  
Над грудью их, еще курится пыль,  
Но экскаватор, черный ковш вздымая,  
Уж сыплет их, урча, в автомобиль.

Угрюмый Север хмурился ревниво,  
Но с каждым днем все жарче и быстрее



Навстречу льдам Берингова пролива  
Неслась струя тропических морей.  
Под непрерывный грохот аммонала,  
Весенними лучами озарен,  
Уже летел, раскинув опахала,  
Огромный, как ракета, махаон.  
Сиятельный и пышный самозванец,  
Он, как светило, вздрагивал и плыл,  
И вслед ему неслась толпа созданий,  
Подвесив тельца меж лазурных крыл.  
Кузнечики, согретые лучами,  
Отщелкивали в воздухе часы,  
Тяжелый жук, летающий скачками,  
Влачил, как шлейф, гигантские усы.  
И сотни тварей, на своей свирели  
Однообразный поднимая вой,  
Ползли, толклись, метались, пили, ели,  
Вились, как столб, над самой головой.  
И в куполе звенящих насекомых,  
Среди болот и неподвижных мхов,  
С вершины сопки, зноем опаленных,  
Вздыхался мир невиданных цветов.  
Соперничая с блеском небосвода,  
Здесь, посредине хлябей и камней,  
Казалось, в небо бросила природа  
Всю ярость красок, собранную в ней.  
Над суматохой лиственных сплетений,  
Над ураганом зелени и трав  
Здесь расцвела сама душа растений,  
Огромные цветы образовав.  
Когда горят над сопками Стожары  
И пенье сфер проносится вдали,  
Колокола и сонные гитары  
Им нежно откликаются с земли.  
Есть хор цветов, не уловимый ухом,  
Концерт тюльпанов и квартет лилей.  
Быть может, только бабочкам и мухам  
Он слышен ночью посреди полей.  
В такую ночь соперница лазурей,  
Вся сопка дышит, звуками полна,  
И тварь земная музыкальной бурей  
До глубины души потрясена.  
И засыпая в первобытных норах,  
Твердит она уже который век  
Созвучья тех мелодий, о которых  
Так редко вспоминает человек.

Рожок гудел, и сопка клокотала,  
 Узкоколейка пела у реки.  
 Подобье циклопического вала  
 Пересекало древний мир тайги.  
 Здесь, в первобытном капище природы,  
 В необозримом вареве болот,  
 Врубаясь в лес, проваливаясь в воды,  
 Срываясь с круч, мы двигались вперед.  
 Нас ветер бил с Амура и Амгуни,  
 Трубил нам лось, и волк нам выл вослед,  
 Но все, что здесь до нас лежало втуне,  
 Мы подняли и вынесли на свет.  
 В стране, где кедром светят метеоры,  
 Где молится березам бурундук,  
 Мы отворили заступами горы  
 И на восток пробились и на юг.  
 Охотский вал ударил в наши ноги,  
 Морские птицы прянули из трав,  
 И мы стояли на краю дороги,  
 Сверкающие заступы подняв.

1947

### ЗАВЕЩАНИЕ

Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя  
 И, погасив свечу, опять отправлюсь я  
 В необозримый мир туманных превращений,  
 Когда миллионы новых поколений  
 Наполнят этот мир сверканием чудес  
 И довершат строение природы,—  
 Пускай мой бедный прах покроют эти воды,  
 Пусть приютит меня зеленый этот лес.

Я не умру, мой друг. Дыханием цветов  
 Себя я в этом мире обнаружу.  
 Многовековый дуб мою живую душу  
 Корнями обовьет, печален и суров.  
 В его больших листах я дам приют уму,  
 Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,  
 Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли  
 И ты причастен был к сознанию моему.

Над головой твоей, далекий правнук мой,  
 Я в небе пролечу, как медленная птица,

Я вспыхну над тобой, как бледная зарница,  
Как летний дождь прольюсь, сверкая над травой.  
Нет в мире ничего прекрасней бытия.  
Безмолвный мрак могил — томление пустое.  
Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:  
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.

Не я родился в мир, когда из колыбели  
Глаза мои впервые в мир глядели,—  
Я на земле моей впервые мыслить стал,  
Когда почуял жизнь безжизненный кристалл,  
Когда впервые капля дождевая  
Упала на него, в лучах изнемогая.

О, я недаром в этом мире жил!  
И сладко мне стремиться из потемок,  
Чтоб, взяв меня в ладонь, ты, дальний мой потомок,  
Доделал то, что я не довершил.

1947

#### Ж Е Н А

Откинув со лба шевелюру,  
Он хмуро сидит у окна.  
В зеленую рюмку микстуру  
Ему наливает жена.

Как робко, как пристально-нежно  
Болезненный светится взгляд,  
Как эти кудряшки потешно  
На тощей головке висят!

С утра он все пишет да пишет,  
В неведомый труд погружен.  
Она еле ходит, чуть дышит,  
Лишь только бы здравствовал он.

А скрипнет под ней половица,  
Он брови взметнет,— и тотчас  
Готова она провалиться  
От взгляда пронзительных глаз.

Так кто же ты, гений вселенной?  
Подумай: ни Гёте, ни Дант  
Не знали любви столь смиренной,  
Столь трепетной веры в талант.

О чем ты скребешь на бумаге?  
Зачем ты так вечно сердит?  
Что ищешь, копаясь во мраке  
Своих неудач и обид?

Но коль ты хлопочешь на деле  
О благе, о счастье людей,  
Как мог ты не видеть доселе  
Сокровища жизни своей?

1948

### ЖУРАВЛИ

Вылетев из Африки в апреле  
К берегам отеческой земли,  
Длинным треугольником летели,  
Утопая в небе, журавли.

Вытянув серебряные крылья  
Через весь широкий небосвод,  
Вел вожак в долину изобилья  
Свой немногочисленный народ.

Но когда под крыльями блеснуло  
Озеро, прозрачное насквозь,  
Черное зияющее дуло  
Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,  
Быстрый пламень вспыхнул и погас,  
И частица дивного величья  
С высоты обрушилась на нас.

Два крыла, как два огромных горя,  
Обняли холодную волну,  
И, рыданью горестному вторя,  
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,  
В искупленье собственного зла  
Им природа снова возвратила  
То, что смерть с собою унесла:

Гордый дух, высокое стремленье,  
Волю непреклонную к борьбе,—  
Все, что от былого поколенья  
Переходит, молодость, к тебе.

А вожак в рубашке из металла  
Погружался медленно на дно,  
И заря над ним образовала  
Золотого зарева пятно.

1948

#### ПРОХОЖИЙ

Исполнен душевной тревоги,  
В треухе, с солдатским мешком,  
По шпалам железной дороги  
Шагает он ночью пешком.

Уж поздно. На станцию Нара  
Ушел предпоследний состав.  
Луна из-за края амбара  
Сияет, над кровлями встав.

Свернув в направлении к мосту,  
Он входит в весеннюю глушь,  
Где сосны, склоняясь к погосту,  
Стоят, словно скопища душ.

Тут летчик у края аллеи  
Покоится в ворохе лент,  
И мертвый пропеллер, белея,  
Венчает его монумент.

И в темном чертоге вселенной,  
Над сонною этой листвою  
Встает тот нежданно мгновенный,  
Пронзающий душу покой,

Тот дивный покой, пред которым,  
Волнуясь и вечно спеша,  
Смолкает с опущенным взором  
Живая людская душа.

И в легком шуршании почек,  
И в медленном шуме ветвей  
Невидимый юноша-летчик  
О чем-то беседует с ней.

А тело бредет по дороге,  
Шагая сквозь тысячи бед,  
И горе его, и тревоги  
Бегут, как собаки, вослед.

1948

## ЧИТАЯ СТИХИ

Любопытно, забавно и тонко:  
Стих, почти не похожий на стих.  
Бормотанье сверчка и ребенка  
В совершенстве писатель постиг.

И в бессмыслице скомканной речи  
Изошренность известная есть.  
Но возможно ль мечты человечьи  
В жертву этим забавам принести?

И возможно ли русское слово  
Превратить в щебетанье щегла,  
Чтобы смысла живая основа  
Сквозь него прозвучать не могла?

Нет! Поэзия ставит преграды  
Нашим выдумкам, ибо она  
Не для тех, кто, играя в шарады,  
Надевает колпак колдуна.

Тот, кто жизнью живет настоящей,  
Кто к поэзии с детства привык,  
Вечно верует в животворящий,  
Полный разума русский язык.

1948

## КОГДА ВДАЛИ УГАСНЕТ СВЕТ ДНЕВНОЙ

Когда вдали угаснет свет дневной  
И в черной мгле, склоняющейся к хатам,  
Все небо заиграет надо мной,  
Как колоссальный движущийся атом,—

В который раз томит меня мечта,  
Что где-то там, в другом углу вселенной,  
Такой же сад, и та же темнота,  
И те же звезды в красоте нетленной.

И может быть, какой-нибудь поэт  
Стоит в саду и думает с тоскою,  
Зачем его я на исходе лет  
Своей мечтой туманной беспокою.

1948

## ОТТЕПЕЛЬ

Оттепель после метели.  
Только утихла пурга,  
Разом сугробы осели  
И потемнели снега.

В клочьях разорванной тучи  
Блещет осколок луны.  
Сосен тяжелые сучья  
Мокрого снега полны.

Падают, плаваются, льются  
Льдинки, втыкаясь в сугроб.  
Лужи, как тонкие блюдца,  
Светятся около троп.

Пусть молчаливой дремотой  
Белые дышат поля,  
Неизмеримой работой  
Занята снова земля.

Скоро проснутся деревья,  
Скоро, построившись в ряд,  
Птиц перелетных кочевья  
В трубы весны затрубят.

1948

## ПРИБЛИЖАЛСЯ АПРЕЛЬ К СЕРЕДИНЕ

Приближался апрель к середине,  
Бил ручей, упавая с откоса,  
День и ночь грохотал на плотине  
Деревянный лоток водосброса.

Здесь, под сенью дряхлеющих ветел,  
Из которых любая — калека,  
Я однажды, гуляя, заметил  
Незнакомое мне человека.

Он стоял и держал пред собою  
Непечатого хлеба ковригу  
И свободной от груза рукою  
Перелистывал старую книгу.

Лоб его бороздила забота,  
И здоровьем не выдалось тело,  
Но упорная мысли работа  
Глубиной его сердца владела.

Пробежав за страницей страницу,  
Он вздымал удивленное око,  
Наблюдая ручьев вереницу,  
Устремленную в пену потока.

В этот миг перед ним открывалось  
То, что было незримо доселе,  
И душа его в мир поднималась,  
Как дитя из своей колыбели.

А грачи так безумно кричали,  
И так яростно ветлы шумели,  
Что, казалось, остаток печали  
Отнимать у него не хотели.

1948

#### П О З Д Н Я Я В Е С Н А

Осветив черепицу на крыше  
И согрев древесину сосны,  
Поднимается выше и выше  
Запоздалое солнце весны.

В розовато-коричневом дыме  
Не покрытых листьями ветвей,  
Весь пронизан лучами косыми,  
Бьет крылом и поет соловей.

Как естественно здесь повторенье  
Лаконически-медленных фраз,  
Точно малое это творенье  
Их поет специально для нас!

О любимые сердцем обманы,  
Заблужденья младенческих лет!  
В день, когда зеленеют поляны,  
Мне от вас избавления нет.

Я, как древний Коперник, разрушил  
Пифагорово пенье светил  
И в основе его обнаружил  
Только лепет и музыку крыл.

1948



## ПОЛДЕНЬ

Понемногу вступает в права  
Ослепительно знойное лето.  
Раскаленная солнцем трава  
Испареньями влаги одета.

Пожелтевший от зноя лопух  
Развернул розоватые латы  
И стоит, задыхаясь от мух,  
Под высокими окнами хаты.

Есть в расцвете природы моей  
Кратковременный миг пресыщенья,  
Час, когда перламутровый клей  
Выделяют головки растенья.

Утомились орудья любви,  
Страсть иссякла, но пламя бывшее  
Дотлевает и бродит в крови,  
Уж не тело, но ум беспокоя.

Но к полудню заснет и оно,  
И в середине небесного свода  
Лишь смертельного зноя пятно  
Различит, замирая, природа.

1948

## ЛЕБЕДЬ В ЗООПАРКЕ

Сквозь летние сумерки парка  
По краю искусственных вод  
Красавица, дева, дикарка —  
Высокая лебедь плывет.

Плывет белоснежное диво,  
Животное, полное грез,  
Колебя на лоне залива  
Лиловые тени берез.

Головка ее шелковиста,  
И мантия снега белей,  
И дивные два аметиста  
Мерцают в глазницах у ней.

И светлое льется сиянье  
Над белым изгибом спины,  
И вся она как изваянье  
Приподнятой к небу волны.

Скрежещут над парком трамваи,  
Скрипит под машинами мост,  
Истошно кричат попугаи,  
Поджав перламутровый хвост.

И звери сидят в отдаленье,  
Приделаны к выступам нор,  
И смотрят фигуры оленье  
На воду сквозь тонкий забор.

И вся мировая столица,  
Весь город сверкающий наш,  
Над маленьким парком теснится,  
Этаж громоздя на этаж.

И слышит, как в сказочном мире  
У самого края стены  
Крылатое диво на лире  
Поет нам о счастье весны.

*1948*

## СКВОЗЬ ВОЛШЕБНЫЙ ПРИБОР ЛЕВЕНГУКА

Сквозь волшебный прибор Левенгука  
На поверхности капли воды  
Обнаружила наша наука  
Удивительной жизни следы.

Государство смертей и рождений,  
Нескончаемой цепи звено,—  
В этом мире чудесных творений  
Сколь ничтожно и мелко оно!

Но для бездн, где летят метеоры,  
Ни большого, ни малого нет,  
И равно беспредельны просторы  
Для микробов, людей и планет.

В результате их общих усилий  
Зажигается пламя Плеяд,  
И кометы летят легкокрылей,  
И быстрее созвездья летят.

И в углу невысокой вселенной,  
Под стеклом кабинетной трубы,  
Тот же самый поток неизменный  
Движет тайная воля судьбы.

Там я звездное чую дыханье,  
Слышу речь органических масс  
И стремительный шум созиданья,  
Столь знакомый любому из нас.

1948

#### Т Б И Л И С С К И Е Н О Ч И

Отчего, как восточное диво,  
Черноока, печальна, бледна,  
Ты сегодня всю ночь молчаливо  
До рассвета сидишь у окна?

Распластались во мраке платаны,  
Ночь брильянтовой чашей горит,  
Дремлют горы, темны и туманны,  
Кипарис, как живой, говорит.

Хочешь, завтра под звуки пандури,  
Сквозь вина золотую струю  
Я умчу тебя в громе и буре  
В ледяную отчизну мою?

Вскрикнул кони, разломится время,  
И по руслу реки до зари  
Полетим мы, забытые всеми,  
Разрывая лучей янтари.

Я закутаю смуглые плечи  
В снежный ворох сибирских полей,  
Будут сосны гореть, словно свечи,  
Над мерцаньем твоих соболей.

Там, в огромном безмолвном просторе,  
Где поет, торжествуя, пурга,  
Позабудешь ты южное море,  
Золотые его берега.

Ты наутро поднимешь ресницы:  
Пред тобой, как лесные царьки,  
Золотые песцы и куницы  
Запоют, прибежав из тайги.

Поднимая мохнатые лапки,  
Чтоб тебя не обидел мороз,  
Принесут они в лапках охапки  
Перламутровых северных роз.

Гордый лось с голубыми рогами  
На своей величавой трубе,  
Окруженный седыми снегами,  
Песню свадьбы сыграет тебе.

И багровое солнце, пылая  
Всей громадой холодных огней,  
Как живой великан, дорогая,  
Улыбнется печали твоей.

Что случилось сегодня в Тбилиси?  
Льется воздух, как льется вино.  
Спят стрижи на оконном карнизе,  
Кипарисы глядятся в окно.

Сквозь туманную дымку вуали  
Пробиваются брызги огня.  
Посмотри на меня, генацвале,  
Оглянись, посмотри на меня!

1948

#### НА РЕЙДЕ

Был поздний вечер. На террасах  
Горы, сползающей на дно,  
Дремал поселок, опоясав  
Лазурной бухточки пятно.

Туманным кругом акварели  
Лежала в облаке луна,  
И звезды еле-еле тлели,  
И еле двигалась волна.

Под равномерный шум прибоя  
Качались в бухте корабли.  
И вдруг, утробным воем воя,  
Все море вспыхнуло вдали.

И в ослепительном сплетенье  
Огней, пронзивших небосвод,  
Гигантский лебедь, белый гений,  
На рейде встал электроход.

Он встал над бездной вертикальной  
В тройном созвучии октав,  
Обрывки бури музыкальной  
Из окон щедро раскидав.

Он весь дрожал от этой бури,  
Он с морем был в одном ключе,  
Но тяготел к архитектуре,  
Подняв антенну на плече.

Он в море был явлением смысла,  
Где электричество и звук,  
Как равнозначащие числа,  
Передо мной предстали вдруг.

1949

#### ГУРЗУФ

В большом полукружии горных пород,  
Где, темные ноги разув,  
В лазурную чашу сияющих вод  
Спускается сонный Гурзуф,  
Где скалы, вступая в зеркальный затон,  
Стоят по колено в воде,  
Где море поет, подперев небосклон,  
И зеркалом служит звезде,—  
Лишь здесь я познал превосходство морей  
Над нашею тесной землей,  
Услышал медлительный ход кораблей  
И отзвук равнины морской.  
Есть таинство отзвуков. Может быть, нас  
Затем и волнует оно,  
Что каждое сердце предчувствует час,  
Когда оно канет на дно.  
О, что бы я только не отдал взамен  
За то, чтобы даль донесла  
И стон Персефоны, и пенье сирен,  
И звон боевого весла!

1949

## С В Е Т Л Я К И

Слова — как светляки с большими фонарями.  
Пока рассеян ты и не всмотрелся в мрак,  
Ничтожно и темно их девственное пламя  
И неприметен их одушевленный прах.

Но ты взгляни на них весною в южном Сочи,  
Где олеандры спят в торжественном цвету,  
Где море светляков горит над бездной ночи  
И волны в берег бьют, рыдая на лету.

Сливая целый мир в единственном дыханье,  
Там из-под ног твоих земной уходит шар,  
И уж не их огни твердят о мирозданье,  
Но отдаленных гроз колеблется пожар.

Дыхание фанфар и бубнов незнакомых  
Там медленно гудит и бродит в вышине.  
Что жалкие слова? Подобье насекомых!  
И все же эта тварь была послушна мне.

1949

## Б А Ш Н Я Г Р Е М И

Ух, башня проклятая! Сто ступеней!  
Соратник огню и железу,  
По выступам ста треугольных камней  
Под самое небо я лезу.

Винтом извивается башенный ход,  
Отверстие, пробитое в камне.  
Сорвись-ка! Никто и костей не найдет.  
Вгрызается в сердце тоска мне.

А следом за мною, в холодном поту,  
Как я, распростершие руки,  
Какие-то люди ползут в высоту,  
Таща самопалы и луки.

О черные стены бряцает кинжал,  
На шлемах сияние брезжит.  
Доносится снизу, заполнив провал,  
Кольчуг несмолкаемый скрежет.

А там, в подземелье соборных руин,  
Где царская скрыта гробница,  
Леван-полководец, Леван-властелин  
Из каменной ниши стучится:

«Вперед, кахетинцы, питомцы орлов!  
Да здравствует родина наша!  
Вовеки не сгинет отеческий кров  
Под черной пятой кизилбаша!»

И мы на последнюю всходим ступень,  
И солнце ударило в очи,  
И в сердце ворвался стремительный день  
Всей силой своих полномочий.

В парче винограда, в живом янтаре,  
Где дуб переплелся с гранатом,  
Кахетия пела, гордясь в октябре  
Своим урожаем богатым.

Как пламя, в марани струилось вино,  
Веселье лилось из давилен,  
И был кизилбаш, позабытый давно,  
Пред этой страной бессилён.

И реял над нею свободный орлан,  
Вздувающий перья на шлеме,  
И так же, как некогда витязь Леван,  
Стерег опустевшую Греми.

1950

#### СТАРАЯ СКАЗКА

В этом мире, где наша особа  
Выполняет неясную роль,  
Мы с тобою состаримся оба,  
Как состарился в сказке король.

Догорает, светясь терпеливо,  
Наша жизнь в заповедном краю,  
И встречаем мы здесь молчаливо  
Неизбежную участь свою.

Но когда серебрястые пряди  
Над твоим засверкают виском,  
Разорву пополам я тетради  
И с последним расстанусь стихом.

Пусть душа, словно озеро, плещет  
У порога подземных ворот  
И багровые листья трепещут,  
Не касаясь поверхности вод.

1952

#### ОБЛЕТАЮТ ПОСЛЕДНИЕ МАКИ

Облетают последние маки,  
Журавли улетают, трубя,  
И природа в болезненном мраке  
Не похожа сама на себя.

По пустынной и голой аллее,  
Шелестя облетевшей листвой,  
Отчего ты, себя не жалея,  
С непокрытой бредешь головой?

Жизнь растений теперь затаилась  
В этих странных обрубках ветвей.  
Ну а что же с тобой приключилось,  
Что с душой приключилось твоей?

Как посмел ты красавицу эту,  
Драгоценную душу твою,  
Отпустить, чтоб скиталась по свету,  
Чтоб погибла в далеком краю?

Пусть непрочны домашние стены,  
Пусть дорога уводит во тьму,—  
Нет на свете печальней измены,  
Чем измена себе самому.

1952

#### ВОСПОМИНАНИЕ

Наступили месяцы дремоты...  
То ли жизнь действительно прошла,  
То ль она, закончив все работы,  
Поздней гостьей села у стола.

Хочет пить — не нравятся ей вина,  
Хочет есть — кусок не лезет в рот.  
Слушает, как шепчется рябина,  
Как щегол за окнами поет.



Он поет о той стране далекой,  
Где едва заметен сквозь пургу  
Бугорок могилы одинокой  
В белом кристаллическом снегу.

Там в ответ не шепчется береза,  
Корневищем вправленная в лед.  
Там над нею в обруче мороза  
Месяц окровавленный плывет.

1952

#### ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ

В широких шляпах, длинных пиджаках,  
С тетрадями своих стихотворений,  
Давным-давно рассыпались вы в прах,  
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,  
Где все разъято, смешано, разбито,  
Где вместо неба — лишь могильный холм  
И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке  
Поет синклит беззвучных насекомых,  
Там с маленьким фонариком в руке  
Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?  
Легко ли вам? И все ли вы забыли?  
Теперь вам братья — корни, муравьи,  
Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры — цветики гвоздик,  
Соски сирени, щепочки, цыплята...  
И уж не в силах вспомнить ваш язык  
Там наверху оставленного брата.

Ему еще не место в тех краях,  
Где вы исчезли, легкие, как тени,  
В широких шляпах, длинных пиджаках,  
С тетрадями своих стихотворений.

1952

#### С О Н

Жилец земли, пятидесяти лет,  
Подобно всем счастливый и несчастный,  
Однажды я покинул этот свет  
И очутился в местности безгласной.

Там человек едва существовал  
Последними остатками привычек,  
Но ничего уж больше не желал  
И не носил ни прозвищ он, ни кличек.  
Участник удивительной игры,  
Не вглядываясь в скученные лица,  
Я там ложился в дымные костры  
И поднимался, чтобы вновь ложиться.  
Я уплывал, я странствовал вдали,  
Безвольный, равнодушный, молчаливый,  
И тонкий свет исчезнувшей земли  
Отталкивал рукой неторопливой.  
Какой-то отголосок бытия  
Еще имел я для существованья,  
Но уж стремилась вся душа моя  
Стать не душой, но частью мирозданья.  
Там по пространству двигались ко мне  
Сплетения каких-то матерьялов,  
Мосты в необозримой вышине  
Висели над ущельями провалов.  
Я хорошо запомнил внешний вид  
Всех этих тел, плывущих из пространства:  
Сплетенье ферм, и выпуклости плит,  
И дикость первобытного убранства.  
Там тонкостей не видно и следа,  
Искусство форм там явно не в почете,  
И не заметно тягостей труда,  
Хотя весь мир в движенье и работе.  
И в поведенье тамошних властей  
Не видел я малейшего насилья,  
И сам, лишенный воли и страстей,  
Все то, что нужно, делал без усилья.  
Мне не было причины не хотеть,  
Как не было желания стремиться,  
И был готов я странствовать и впредь,  
Коль то могло на что-то пригодиться.  
Со мной бродил какой-то мальчуган,  
Болтал со мной о массе пустяковин.  
И даже он, похожий на туман,  
Был больше материален, чем духовен.  
Мы с мальчиком на озеро пошли,  
Он удочку куда-то вниз закинул  
И нечто, долетевшее с земли,  
Не торопясь, рукою отодвинул.

1953

## ВЕСНА В МИСХОРЕ

### 1. ИУДИНО ДЕРЕВО

Когда, страдая от простуды,  
Ай-Петри высится в снегу,  
Кривое деревце Иуды  
Цветет на южном берегу.  
Весна блуждает где-то рядом,  
А из долин уже глядят  
Цветы, напитанные ядом  
Коварства, горя и утрат.

### 2. ПТИЧЬИ ПЕСНИ

Пусть в зеленую книгу природы  
Не запишутся песни синиц, —  
Величайшие наши рапсоды  
Происходят из общества птиц.  
Пусть не слушает их современник,  
Путешествуя в этом краю, —  
Им не нужно ни славы, ни денег  
За бессмертную песню свою.

### 3. У Ч А Н - С У

Внимая собственному вою,  
С недостижимых высот  
Висит над самой головою  
Громада падающих вод.  
И веет влажная прохлада  
Вокруг нее, и каждый куст,  
Обрызган пылью водопада,  
Смеется тысячами уст.

### 4. У М О Р Я

Посмотри, как весною в Мисхоре,  
Где серебряный пенится вал,  
Непрерывно работает море,  
Разрушая окраины скал.  
Час настанет, и в сердце поэта,  
Разрушая последние сны,  
Вместо жизни останется эта  
Роковая работа волны.

1953

## ПОРТРЕТ

Любите живопись, поэты!  
Лишь ей, единственной, дано  
Души изменчивой приметы  
Переносить на полотно.

Ты помнишь, как из тьмы былого,  
Едва закутана в атлас,  
С портрета Рокотова снова  
Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза — как два тумана,  
Полуулыбка, полушlach,  
Ее глаза — как два обмана,  
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,  
Полувосторг, полуиспуг,  
Безумной нежности припадок,  
Предвосхищенье смертных мук.

Когда потемки наступают  
И приближается гроза,  
Со дна души моей мерцают  
Ее прекрасные глаза.

1953

\* \* \*

Я воспитан природой суровой,  
Мне довольно заметить у ног  
Одуванчика шарик пуховой,  
Подорожника твердый клинок.

Чем обычной простое растение,  
Тем живее волнует меня  
Первых листьев его появленье  
На рассвете весеннего дня.

В государстве ромашек, у края,  
Где ручей, задыхаясь, поет,  
Пролежал бы всю ночь до утра я,  
Запрокинув лицо в небосвод.

Жизнь потоком светящейся пыли  
Все текла бы, текла сквозь листья,  
И туманные звезды светили,  
Заливая лучами кусты.

И, внимая весеннему шуму  
Посреди очарованных трав,  
Все лежал бы и думал я думу  
Беспредельных полей и дубрав.

1953

## П О Э Т

Черен бор за этим старым домом,  
Перед домом — поле да овсы.  
В нежном небе серебристым комом  
Облако невиданной красоты.  
По бокам туманно-лиловато,  
Посредине грозно и светло,—  
Медленно плывущее куда-то  
Раненого лебедя крыло.  
А внизу на стареньком балконе —  
Юноша с седою головой,  
Как портрет в старинном медальоне  
Из цветов ромашки полевой.  
Шурит он глаза свои косые,  
Подмосковным солнышком согрет,—  
Выкованный грозами России  
Собеседник сердца и поэт.  
А леса, как ночь, стоят за домом,  
А овсы, как бешеные, прут...  
То, что было раньше незнакомым,  
Близким сердцу делается тут.

1953

## Д О Ж Д Ъ

В тумане облачных развалин  
Встречая утренний рассвет,  
Он был почти нематериален  
И в формы жизни не одет.

Зародыш, выкормленный тучей,  
Он волновался, он кипел,  
И вдруг, веселый и могучий,  
Ударил в струны и запел.

И засияла вся дубрава  
Молниеносным блеском слез,  
И листья каждого сустава  
Зашевелились у берез.

Натянут тысячами нитей  
Меж хмурым небом и землей,  
Ворвался он в поток событий,  
Повиснув книзу головой.

Он падал издали, с наклоном  
В седые скопища дубрав,  
И вся земля могучим лоном  
Его пила, затрепетав.

1953

#### НОЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ

Расступились на площади зданья,  
Листья клена целуют звезду.  
Нынче ночью — большое гулянье,  
И веселье, и праздник в саду.

Но когда пиротехник из рощи  
Бросит в небо серебряный свет,  
Фантастическим выстрелам ночи  
Не вполне доверайся, поэт.

Улетит и погаснет ракета,  
Потускнеют огней вороха...  
Вечно светит лишь сердце поэта  
В целомудренной бездне стиха.

1953

#### НЕУДАЧНИК

По дороге, пустынной обочиной,  
Где лежат золотые пески,  
Что ты бродишь такой озабоченный,  
Умирая весь день от тоски?

Вон и старость, как ведьма глазастая,  
Притаилась за ветхой ветлой.  
Целый день по кустарникам шастая,  
Наблюдает она за тобой.

Ты бы вспомнил, как в ночи походные  
Жизнь твоя, загораясь в борьбе,  
Руки девичьи, крылья холодные,  
Положила на плечи тебе.

Милый взор, истомленно-внимательный,  
Залил светом всю душу твою,  
Но подумал ты трезво и тщательно  
И вернулся в свою колею.

Крепко помнил ты старое правило —  
Осторожно по жизни идти.  
Осторожная мудрость направила  
Жизнь твою по глухому пути.

Пролетела она в одиночестве  
Где-то здесь, на задворках села,  
Не спросила об имени-отчестве,  
В золотые дворцы не ввела.

Поистратил ты разум недюжинный  
Для каких-то бессмысленных дел.  
Образ той, что сияла жемчужиной,  
Потускнел, побледнел, отлетел.

Вот теперь и ходи и рассчитывай,  
Сумасшедшие мысли тая,  
Да смотри, как под тенью ракитовой  
Усмехается старость твоя.

Не дорогой ты шел, а обочиной,  
Не нашел ты пути своего,  
Осторожный, всю жизнь озабоченный,  
Неизвестно, во имя чего!

1953

## ХОДОКИ

В зипунах домашнего покроя,  
Из далеких сел, из-за Оки,  
Шли они, неведомые, трое —  
По мирскому делу ходоки.

Русь металась в голоде и буре,  
Все смешалось, сдвинутое враз.  
Гул вокзалов, крик в комендатуре,  
Человечье горе без прикрас.

Только эти трое почему-то  
Выделялись в скопище людей,  
Не кричали бешено и люто,  
Не ломали строй очередей.

Всматриваясь старыми глазами  
В то, что здесь наделала нужда,  
Горевали путники, а сами  
Говорили мало, как всегда.

Есть черта, присущая народу:  
Мыслит он не разумом одним,—  
Всю свою душевную природу  
Наши люди связывают с ним.

Оттого прекрасны наши сказки,  
Наши песни, сложенные в лад.  
В них и ум и сердце без опаски  
На одном наречье говорят.

Эти трое мало говорили.  
Что слова! Была не в этом суть.  
Но зато в душе они скопили  
Многое за долгий этот путь.

Потому, быть может, и таились  
В их глазах тревожные огни  
В поздний час, когда остановились  
У порога Смольного они.

Но когда радушный их хозяин,  
Человек в потертом пиджаке,  
Сам работой до смерти измаян,  
С ними говорил накоротке,

Говорил о скудном их районе,  
Говорил о той поре, когда  
Выйдут электрические кони  
На поля народного труда,

Говорил, как жизнь расправит крылья,  
Как, воспрянув духом, весь народ  
Золотые хлебы изобилья  
По стране, ликуя, понесет,—

Лишь тогда тяжелая тревога  
В трех сердцах растаяла, как сон,  
И внезапно видно стало много  
Из того, что видел только он.



И котомки сами развязались,  
Серой пылью в комнате пыли,  
И в руках стыдливо показались  
Черствые ржаные кренделя.

С этим угощением безыскусным  
К Ленину крестьяне подошли.  
Ели все. И горьким был и вкусным  
Скудный дар истерзанной земли.

1954

#### ВОЗВРАЩЕНИЕ С РАБОТЫ

Вокруг села бродили грозы,  
И часто, полные тоски,  
Удары молнии сквозь слезы  
Ломали небо на куски.

Хлестало, словно из баклаги,  
И над собранием берез  
Пир электричества и влаги  
Сливался в яростный хаос.

А мы шагали по дороге  
Среди кустарников и трав,  
Как древнегреческие боги,  
Трезубцы в облако подняв.

1954

#### ШАКАЛЫ

Среди черноморских предгорий,  
На первой холмистой гряде,  
Высокий стоит санаторий,  
Купая ступени в воде.

Давно уже черным сапфиром  
Склонился над ним небосклон,  
Давно уж над дремлющим миром  
Молчит ожерелье колонн.

Давно, утомившись от зноя,  
Умолкли концерты цикад,  
И люди в тиши и покое  
Давно в санатории спят.

Лишь там, наверху, по оврагам,  
Средь зарослей горной реки,  
Полночным окутаны мраком,  
Не гаснут всю ночь огоньки.

На всем полукружье залива,  
То там появляясь, то тут,  
И хищно они и трусливо  
Мерцают, мигают, снуют.

Сперва боязливо и тонко,  
Потом все слышней и слышней  
С холмов верещанье ребенка  
Доносится к миру людей.

И вот уже плачем и визгом  
Наполнен небесный зенит.  
Луна перламутровым диском  
Испуганно в чашу глядит.

И видит: теснясь друг за другом  
И мордочки к небу задрав,  
Шакалы сидят полукругом  
За темными листьями трав.

О чем они воют и плачут?  
Кого проклиная, вопят?  
Под ними у моря маячит  
Колонн ослепительный ряд.

Там мир золотого сиянья,  
Там жизнь, непонятная им...  
Не эти ли светлые зданья  
Клянут они воплем своим?

Но меркнет луна Черноморья,  
И солнце встает в синеву,  
И враз умолкают предгорья,  
Туманом укутав траву.

И звери по краю потока  
Трусливо бегут в тростники,  
Где в каменных норах глубоко  
Беснуются их двойники.

1954

## В К И Н О

Утомленная после работы,  
Лишь за окнами стало темно,  
С выраженьем тяжелой заботы  
Ты пришла почему-то в кино.

Ражий малый в коричневом фраке,  
Как всегда, выбиваясь из сил,  
Плед с эстрады какие-то враки  
И бездарно и нудно острил.

И смотрела когда на него ты  
И вникала в остроты его,  
Выраженье тяжелой заботы  
Не сходило с лица твоего.

В низком зале, наполненном густо,  
Ты смотрела, как все, на экран,  
Где напрасно пыталось искусство  
К правде жизни припутать обман.

Озабоченных черт не меняли  
Судьбы призрачных, плоских людей,  
И тебе удавалось едва ли  
Сопоставить их с жизнью своей.

Одинока, слегка седовата,  
Но еще моложава на вид,  
Кто же ты? И какая утрата  
До сих пор твое сердце томит?

Где твой друг, твой единственно милый,  
Соучастник далекой весны,  
Кто наполнил живительной силой  
Бесприютное сердце жены?

Почему его нету с тобою?  
Неужели погиб он в бою  
Иль, оторван от дома судьбою,  
Пропадает в далеком краю?

Где б он ни был, но в это мгновенье  
Здесь, в кино, я уверился вновь:  
Бесконечно людское терпенье,  
Если в сердце не гаснет любовь.

1954

## БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Ангел, дней моих хранитель,  
С лампой в комнате сидел.  
Он хранил мою обитель,  
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,  
От товарищей вдали,  
Я дремал. И друг за другом  
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем  
В тонкой капсуле пелен  
Иудейским поселенцем  
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой  
Трепетали мы. Но тут  
В белом домике с верандой  
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,  
Я резвился на песке.  
Мать с Иосифом, счастливы,  
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса  
Отдыхал, и светлый Нил,  
Словно выпуклая линза,  
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,  
В этом радужном огне  
Духи, ангелы и дети  
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея  
Возвратиться нам домой  
И простерла Иудея  
Перед нами образ свой —

Нищету свою и злобу,  
Нетерпимость, рабский страх,  
Где ложилась на трущобу  
Тень распятого в горах,—

Вскрикнул я и пробудился...  
И у лампы близ огня  
Взор твой ангельский светился,  
Устремленный на меня.

1955

## О С Е Н Н И Е П Е Й З А Ж И

### 1. П О Д Д О Ж Д Е М

Мой зонтик рвется, точно птица,  
И вырывается, треща.  
Шумит над миром и дымится  
Сырая хижина дождя.  
И я стою в переплетеньи  
Прохладных вытянутых тел,  
Как будто дождик на мгновенье  
Со мною слиться захотел.

### 2. О С Е Н Н Е Е У Т Р О

Обрываются речи влюбленных,  
Улетает последний скворец.  
Целый день осыпаются с кленов  
Силуэты багровых сердец.  
Что ты, осень, наделала с нами!  
В красном золоте стынет земля.  
Пламя скорби свистит под ногами,  
Ворохами листвы шевеля.

### 3. П О С Л Е Д Н И Е К А Н Н Ы

Все то, что сияло и пело,  
В осенние скрылось леса,  
И медленно дышат на тело  
Последним теплом небеса.  
Ползут по деревьям туманы,  
Фонтаны умолкли в саду.  
Одни неподвижные канны  
Пылают у всех на виду.  
Так, вытянув крылья, орлица  
Стоит на уступе скалы,  
И в клюве ее шевелится  
Огонь, выступая из мглы.

1955

## НЕКРАСИВАЯ ДЕВОЧКА

Среди других играющих детей  
Она напоминает лягушонка.  
Заправлена в трусы худая рубашонка,  
Колечки рыжеватые кудрей  
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,  
Черты лица остры и некрасивы.  
Двум мальчуганам, сверстникам ее,  
Отцы купили по велосипеду.  
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,  
Гоняют по двору, забывши про нее,  
Она ж за ними бегаёт по следу.  
Чужая радость так же, как своя,  
Томит ее и вон из сердца рвется,  
И девочка ликует и смеется,  
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого  
Еще не знает это существо.  
Ей все на свете так безмерно ново,  
Так живо все, что для иных мертво!  
И не хочу я думать, наблюдая,  
Что будет день, когда она, рыдая,  
Увидит с ужасом, что посреди подруг  
Она всего лишь бедная дурнушка!  
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,  
Сломать его едва ли можно вдруг!  
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,  
Который в глубине ее горит,  
Всю боль свою один переболит  
И перетопит самый тяжкий камень!  
И пусть черты ее нехороши  
И нечем ей прельстить воображенье,—  
Младенческая грация души  
Уже сквозит в любом ее движенье.  
А если это так, то что́ есть красота  
И почему ее обожествляют люди?  
Сосуд она, в котором пустота,  
Или огонь, мерцающий в сосуде?

1955

\* \* \*

При первом наступлении зимы,  
Блуждая над просторною Невою,  
Сиянье лета сравниваем мы  
С разбросанной по берегу листвою.

Но я любитель старых тополей,  
Которые до первой зимней вьюги  
Пытаются не сбрасывать с ветвей  
Своей сухой заржавленной кольчуги.

Как между нами сходство описать?  
И я, подобно тополи, не молод,  
И мне бы нужно в панцире встречать  
Приход зимы, ее смертельный холод.

1955

### О С Е Н Н И Й   К Л Е Н

(Из С. Галкина)

Осенний мир осмысленно устроен  
И населен.  
Войди в него и будь душой спокоен,  
Как этот клен.

И если пыль на миг тебя покроет,  
Не помертвей.  
Пусть на заре листья твои умоет  
Роса полей.

Когда ж гроза над миром разразится  
И ураган,  
Они заставят до земли склониться  
Твой тонкий стан.

Но даже впад в смертельную истому  
От этих мук,  
Подобно древу осени простому,  
Смолчи, мой друг.

Не забывай, что выпрямится снова,  
Не искривлен,  
Но умудрен от разума земного  
Осенний клен.

1955

### С Т А Р А Я   А К Т Р И С А

В позолоченной комнате стиля ампир,  
Где шнурками затянуты кресла,  
Театральной Москвы позабытый кумир  
И владычица наша воскресла.

В затрапезе похожа она на щегла,  
В три погибели скорчилось тело.  
А ведь, боже, какая актриса была  
И какими умами владела!

Что-то было нездешнее в каждой черте  
Этой женщины, юной и стройной,  
И лежал на тревожной ее красоте  
Отпечаток Италии знойной.

Ныне домик ее превратился в музей,  
Где жива ее прежняя слава,  
Где старуха подчас удивляет друзей  
Своевольем капризного нрава.

Орденов ей и званий немало дано,  
И она пребывает в надежде,  
Что красе ее вечно сиять суждено  
В этом доме, как некогда прежде.

Здесь картины, портреты, альбомы, венки,  
Здесь дыхание южных растений,  
И они ее образ, годам вопреки,  
Сохранят для иных поколений.

И не важно, не важно, что в дальнем углу,  
В полутемном и низком подвале,  
Бесприютная девочка спит на полу,  
На тряпичном своем одеяле!

Здесь у тетки-актрисы из милости ей  
Предоставлена нынче квартира.  
Здесь она выбивает ковры у дверей,  
Пыль и плесень стирает с ампира.

И когда ее старая тетка бранит,  
И считает и прячет монеты,—  
О, с каким удивленьем ребенок глядит  
На прекрасные эти портреты!

Разве девочка может понять до конца,  
Почему, поражая нам чувства,  
Поднимает над миром такие сердца  
Неразумная сила искусства!



## О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ

Есть лица, подобные пышным порталам,  
Где всюду великое чудится в малом.  
Есть лица — подобия жалких лачуг,  
Где варится печень и мокнет сычуг.  
Иные холодные, мертвые лица  
Закрыты решетками, словно темница.  
Другие — как башни, в которых давно  
Никто не живет и не смотрит в окно.  
Но малую хижинку знал я когда-то,  
Была неказиста она, небогата,  
Зато из окошка ее на меня  
Струилось дыханье весеннего дня.  
Поистине мир и велик и чудесен!  
Есть лица — подобья ликующих песен.  
Из этих, как солнце, сияющих нот  
Составлена песня небесных высот.

1955

## ГДЕ-ТО В ПОЛЕ ВОЗЛЕ МАГАДАНА

Где-то в поле возле Магадана,  
Посреди опасностей и бед,  
В испареньях мерзлого тумана  
Шли они за розвальнями вслед.  
От солдат, от их луженых глоток,  
От бандитов шайки воровской  
Здесь спасали только околодок  
Да наряды в город за мукой.  
Вот они и шли в своих бушлатах —  
Два несчастных русских старика,  
Вспоминая о родимых хатах  
И томясь о них издалека.  
Вся душа у них перегорела  
Вдалеке от близких и родных,  
И усталость, сгорбившая тело,  
В эту ночь снедала души их.  
Жизнь над ними в образах природы  
Чередую двигалась своей.  
Только звезды, символы свободы,  
Не смотрели больше на людей.  
Дивная мистерия вселенной  
Шла в театре северных светил,

Но огонь ее проникновенный  
До людей уже не доходил.  
Вкруг людей посвистывала вьюга,  
Заметая мерзлые пеньки.  
И на них, не глядя друг на друга,  
Замерзая, сели старики.  
Стали кони, кончилась работа,  
Смертные доделались дела...  
Обняла их сладкая дремота,  
В дальний край, рыдая, повела.  
Не нагонит больше их охрана,  
Не настигнет лагерный конвой,  
Лишь одни созвездья Магадана  
Засверкают, став над головой.

1956

#### ПОЭМА ВЕСНЫ

Ты и скрипку с собой принесла,  
И заставила петь на свирели,  
И, схватив за плечо, повела  
Сквозь поля, голубые в апреле.  
Пессимисту дала ты шлепка,  
Настежь окна в домах растворила,  
Подхватила в сенях старика  
И плясать по дороге пустила.  
Ошалев от твоей красоты,  
Скряга вытащил пук ассигнаций,  
И они превратились в листы  
Засиявших на солнце акаций.  
Бюрократы, чинуши, попы,  
Столяры, маляры, стеклодувы,  
Как птенцы из своей скорлупы,  
Отворили на радостях клювы.  
Даже те, кто по креслам сидят,  
Погрузившись в чины и медали,  
Улыбнулись и, как говорят,  
На мгновенье счастливыми стали.  
Это ты, сумасбродка весна!  
Узнаю твои козни, плутовка!  
Уж давно мне из окон видна  
И улыбка твоя, и сноровка.  
Скачет по полю жук-менестрель,  
Реет бабочка, став на пуанты.  
Развалившись по книгам, апрель  
Нацепил васильков аксельбанты.

Он-то знает, что поле да лес —  
Для меня ежедневная тема,  
А весна, сумасбродка небес, —  
И подружка моя, и поэма.

1956

## ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

### 1. ЧЕРТОПОЛОХ

Принесли букет чертополоха  
И на стол поставили, и вот  
Предо мной пожар, и суматоха,  
И огней багровый хоровод.  
Эти звезды с острыми концами,  
Эти брызги северной зари  
И гремят и стонут бубенцами,  
Фонарями вспыхнув изнутри.  
Это тоже образ мирозданья,  
Организм, сплетенный из лучей,  
Битвы неоконченной пыланье,  
Полыханье поднятых мечей.  
Это башня ярости и славы,  
Где к копью приставлено копьё,  
Где пучки цветов, кровавоглавы,  
Прямо в сердце врезаны мое.  
Снилась мне высокая темница  
И решетка, черная, как ночь,  
За решеткой — сказочная птица,  
Та, которой некому помочь.  
Но и я живу, как видно, плохо,  
Ибо я помочь не в силах ей.  
И встает стена чертополоха  
Между мной и радостью моей.  
И простерся шип клинообразный  
В грудь мою, и уж в последний раз  
Светит мне печальный и прекрасный  
Взор ее неугасимых глаз.

1956

### 2. МОРСКАЯ ПРОГУЛКА

На сверкающем глассере белом  
Мы заехали в каменный грот,  
И скала опрокинутым телом  
Заслонила от нас небосвод.

Здесь, в подземном мерцающем зале,  
Над лагуной прозрачной воды,  
Мы и сами прозрачными стали,  
Как фигурки из тонкой слюды.  
И в большой кристаллической чаше,  
С удивлением глядя на нас,  
Отраженья неясные наши  
Засияли миллионами глаз.  
Словно вырвавшись вдруг из пучины,  
Стаи девушек с рыбьим хвостом  
И подобные крабам мужчины  
Оцепили наш глассер кругом.  
Под великой одеждою моря,  
Подражая движеньям людей,  
Целый мир ликования и горя  
Жил диковинной жизнью своей.  
Что-то там и рвалось, и кипело,  
И сплеталось, и снова рвалось,  
И скалы опрокинутой тело  
Пробивало над нами насквозь.  
Но водитель нажал на педали,  
И опять мы, как будто во сне,  
Полетели из мира печали  
На высокой и легкой волне.  
Солнце в самом зените пылало,  
Пена скал заливала корму,  
И Таврида из моря вставала,  
Приближаясь к лицу твоему.

1956

### 3. ПРИЗНАНИЕ

Зацелована, околдована,  
С ветром в поле когда-то обвенчана,  
Вся ты словно в оковы закована,  
Драгоценная моя женщина!

Не веселая, не печальная,  
Словно с темного неба сошедшая,  
Ты и песнь моя обручальная,  
И звезда моя сумасшедшая.

Я склонюсь над твоими коленями,  
Обниму их с неистовой силою,  
И слезами и стихотвореньями  
Обожгу тебя, горькую, милую.

Отвори мне лицо полуночное,  
Дай войти в эти очи тяжелые,  
В эти черные брови восточные,  
В эти руки твои полуголые.

Что прибавится — не убавится,  
Что не сбудется — позабудется...  
Отчего же ты плачешь, красавица?  
Или это мне только чудится?

1957

#### 4. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Задрожала машина и стала,  
Двое вышли в вечерний простор,  
И на руль опустился устало  
Истомленный работой шофер.  
Вдалеке через стекла кабины  
Трепетали созвездья огней.  
Пожилой пассажир у куртины  
Задержался с подругой своей.  
И водитель сквозь сонные веки  
Вдруг заметил два странных лица,  
Обращенных друг к другу навеки  
И забывших себя до конца.  
Два туманные легкие света  
Исходили из них, и вокруг  
Красота уходящего лета  
Обнимала их сотнями рук.  
Были тут огнеликие канны,  
Как стаканы с кровавым вином,  
И седых аквилегий султаны,  
И ромашки в венце золотом.  
В неизбежном предчувствии горя,  
В ожиданье осенних минут,  
Кратковременной радости море  
Окружало любовников тут.  
И они, наклоняясь друг к другу,  
Бесприютные дети ночей,  
Молча шли по цветочному кругу  
В электрическом блеске лучей.  
А машина во мраке стояла,  
И мотор трепетал тяжело,  
И шофер улыбался устало,  
Опуская в кабине стекло.

Он-то знал, что кончается лето,  
Что подходят ненастные дни,  
Что давно уж их песенка спета,—  
То, что, к счастью, не знали они.

1957

#### 5. ГОЛОС В ТЕЛЕФОНЕ

Раньше был он звонкий, точно птица,  
Как родник, струился и звенел,  
Точно весь в сиянии излиться  
По стальному проводу хотел.

А потом, как дальнее рыданье,  
Как прощанье с радостью души,  
Стал звучать он, полный покаянья,  
И пропал в неведомой глуши.

Сгинул он в каком-то диком поле,  
Беспощадной вьюгой занесен...  
И кричит душа моя от боли,  
И молчит мой черный телефон.

1957

#### 6. \* \* \*

Клялась ты — до гроба  
Быть милой моей.  
Опомнившись, оба  
Мы стали умней.

Опомнившись, оба  
Мы поняли вдруг,  
Что счастья до гроба  
Не будет, мой друг.

Колеблется лебедь  
На пламени вод.  
Однако к земле ведь  
И он уплывет.

И вновь одиноко  
Заблещет вода,  
И глянет ей в око  
Ночная звезда.

1957

Посредине панели  
 Я заметил у ног  
 В лепестках акварели  
 Полумертвый цветок.  
 Он лежал без движенья  
 В белом сумраке дня,  
 Как твое отраженье  
 На душе у меня.

1957

## 8. МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ

Я увидел во сне можжевельный куст,  
 Я услышал вдали металлический хруст,  
 Аметистовых ягод услышал я звон,  
 И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуюл сквозь сон легкий запах смолы.  
 Отогнув невысокие эти стволы,  
 Я заметил во мраке древесных ветвей  
 Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевельный куст, можжевельный куст,  
 Остывающий лепет изменчивых уст,  
 Легкий лепет, едва отдающий смолой,  
 Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим  
 Облака проплывают одно за другим,  
 Облетевший мой садик безжизнен и пуст...  
 Да простит тебя Бог, можжевельный куст!

1957

## 9. ВСТРЕЧА

И лицо с внимательными глазами,  
 с трудом, с усилием, как  
 открывается заржавевшая дверь,—  
 улыбнулось...

*Л. Толстой. Война и мир*

Как открывается заржавевшая дверь,  
 С трудом, с усилием,— забыв о том, что было,  
 Она, моя неожиданная, теперь  
 Свое лицо навстречу мне открыла.  
 И хлынул свет — не свет, но целый сноп

Живых лучей,— не сноп, но целый ворох  
Весны и радости, и вечный мизантроп,  
Смешался я... И в наших разговорах,  
В улыбках, в восклицаньях,— впрочем, нет,  
Не в них совсем, но где-то там, за ними,  
Теперь горел неугасимый свет,  
Овладевая мыслями моими.  
Открыв окно, мы посмотрели в сад,  
И мотыльки бесчисленные сдуру,  
Как многоцветный легкий водопад,  
К блестящему помчались абажуру.  
Один из них уселся на плечо,  
Он был прозрачен, трепетен и розов.  
Моих вопросов не было еще,  
Да и не нужно было их — вопросов.

1957

#### 10. СТАРОСТЬ

Простые, тихие, седые,  
Он с палкой, с зонтиком она,—  
Они на листья золотые  
Плядут, гуляя дотемна.

Их речь уже немногословна,  
Без слов понятен каждый взгляд,  
Но души их светло и ровно  
Об очень многом говорят.

В неясной мгле существованья  
Был неприметен их удел,  
И животворный свет страданья  
Над ними медленно горел.

Изнемогая, как калеки,  
Под гнетом слабостей своих,  
В одно единое навеки  
Слились живые души их.

И знанья малая частица  
Открылась им на склоне лет,  
Что счастье наше — лишь зарница,  
Лишь отдаленный слабый свет.

Оно так редко нам мелькает,  
Такого требует труда!  
Оно так быстро потухает  
И исчезает навсегда!



Как ни лелей его в ладонях  
И как к груди ни прижимай,—  
Дитя зари, на светлых конях  
Оно умчится в дальний край!

Простые, тихие, седые,  
Он с палкой, с зонтиком она,—  
Они на листья золотые  
Плядут, гуляя дотемна.

Теперь уж им, наверно, легче,  
Теперь всё страшное ушло,  
И только души их, как свечи,  
Струят последнее тепло.

1956

#### ПРОТИВОСТОЯНИЕ МАРСА

Подобный огненному зверю,  
Глядишь на землю ты мою,  
Но я ни в чем тебе не верю  
И славословий не пою.  
Звезда зловещая! Во мраке  
Печальных лет моей страны  
Ты в небесах чертила знаки  
Страданья, крови и войны:  
Когда над крышами селений  
Ты открывала сонный глаз,  
Какая боль предположений  
Всегда охватывала нас!  
И был он в руку — сон зловещий:  
Война с ружьем наперевес  
В селеньях жгла дома и вещи  
И угоняла семьи в лес.  
Был бой и гром, и дождь и слякоть,  
Печаль скитаний и разлук,  
И уставало сердце плакать  
От нестерпимых этих мук.  
И над безжизненной пустыней  
Подняв ресницы в поздний час,  
Кровавый Марс из бездны синей  
Смотрел внимательно на нас.  
И тень сознательности злобной  
Кривила смутные черты,  
Как будто дух звероподобный  
Смотрел на землю с высоты.

Тот дух, что выстроил каналы  
Для неизвестных нам судов  
И стекловидные вокзалы  
Средь марсианских городов.  
Дух, полный разума и воли,  
Лишенный сердца и души,  
Кто о чужой не страждет боли,  
Кому все средства хороши.  
Но знаю я, что есть на свете  
Планета малая одна,  
Где из столетия в столетье  
Живут иные племена.  
И там есть муки и печали,  
И там есть пища для страстей,  
Но люди там не утерjali  
Души естественной своей.  
Там золотые волны света  
Плывут сквозь сумрак бытия,  
И эта малая планета —  
Земля злосчастливая моя.

1956

#### ГУРЗУФ НОЧЬЮ

Для северных песен ненадобен юг:  
Родились они средь туманов и вьюг,  
Качанию лиственниц вторя.  
Они — чужестранцы на этой земле,  
На этой покрытой цветами скале,  
В сиянии южного моря.

В Гурзуфе всю ночь голоса петухи.  
Здесь улица — род коридора.  
Здесь спит парикмахер, любитель ухи,  
Который стрижет Черномора.  
Царапая кузов о камни крыльца,  
Здесь утром автобус гудит без конца,  
Таща ротозеев из Ялты.  
Здесь толпы лихих санаторных гуляк  
Несут за собой аромат кулебяк,  
Как будто в харчевню попал ты.

Наплававшись по морю, стая парней  
Здесь бродит с заезжей сиреной.  
Питомцы Нептуна блаженствуют с ней,  
Гитарой брэнча несравненной.

Здесь две затонувшие в море скалы,  
К которым стремился и Плиний,  
Вздымают из влаги тупые углы  
Своих переломанных линий.

А ночь, как царица на троне из туч,  
Колеблет прожектора медленный луч,  
И море шумит до рассвета,  
И слушая, как голоса петухи,  
Внизу у калитки толпятся стихи —  
Свидетели южного лета.  
Толпятся без страха и тычут свой нос  
В кувшинчики еле открывшихся роз,  
И пьют их дыханье, и странно,  
Что, спавшие где-то на севере, вдруг  
Они залетели на пламенный юг —  
Холодные дети тумана.

1956

#### НА Д М О Р Е М

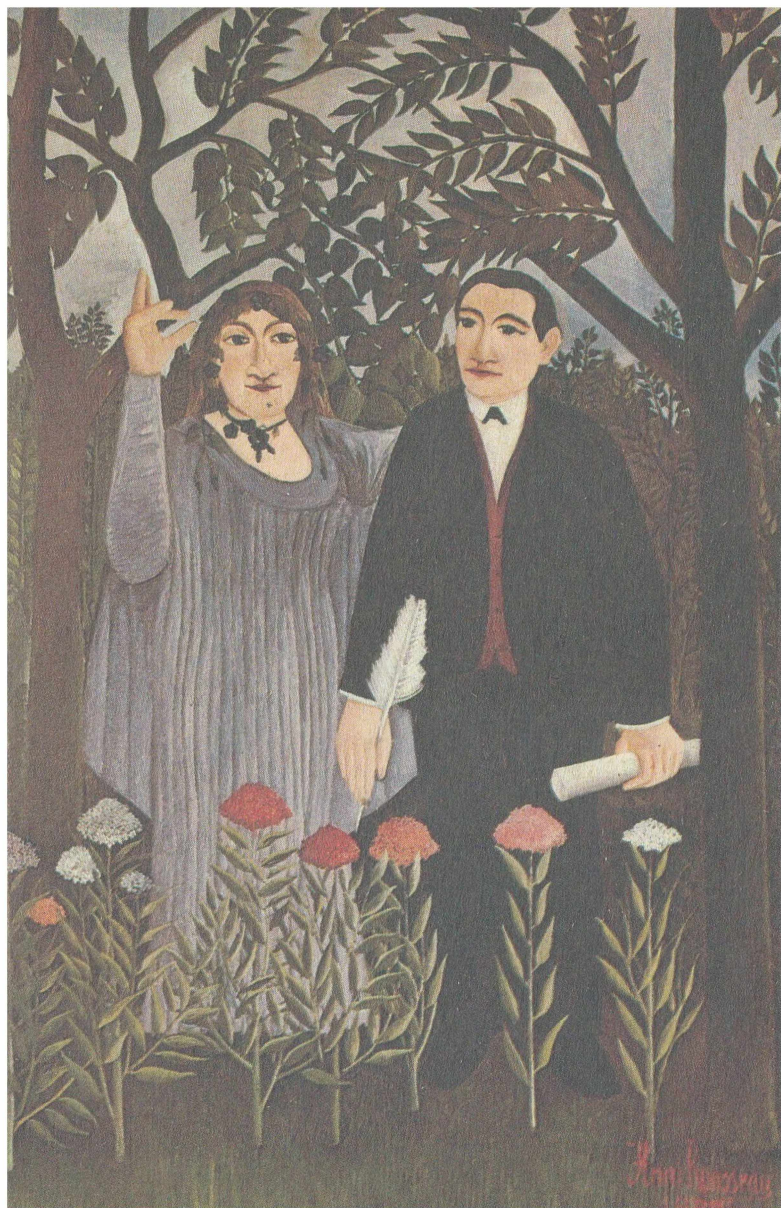
Лишь запах чабреца, сухой и горьковатый,  
Повеял на меня — и этот сонный Крым,  
И этот кипарис, и этот дом, прижатый  
К поверхности горы, слились навеки с ним.

Здесь море — дирижер, а резонатор — дали,  
Концерт высоких волн здесь ясен наперед.  
Здесь звук, задев скалу, скользит по вертикали,  
И эхо среди камней танцует и поет.

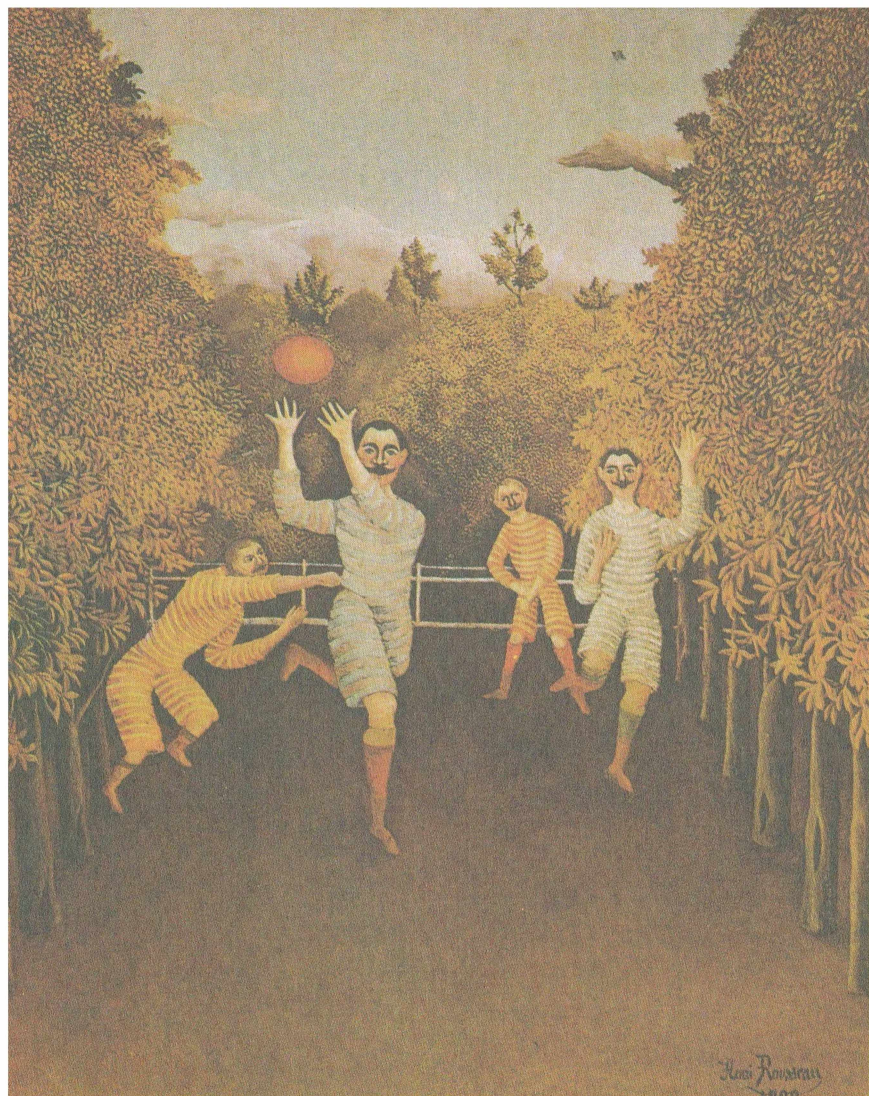
Акустика вверху настроила ловушек,  
Приблизила к ушам далекий ропот струй.  
И стал здесь грохот бурь подобен грому пушек,  
И, как цветок, расцвел девичий поцелуй.

Скопление синиц здесь свищет на рассвете,  
Тяжелый виноград прозрачен здесь и ал.  
Здесь время не спешит, здесь собирают дети  
Чабрец, траву степей, у неподвижных скал.

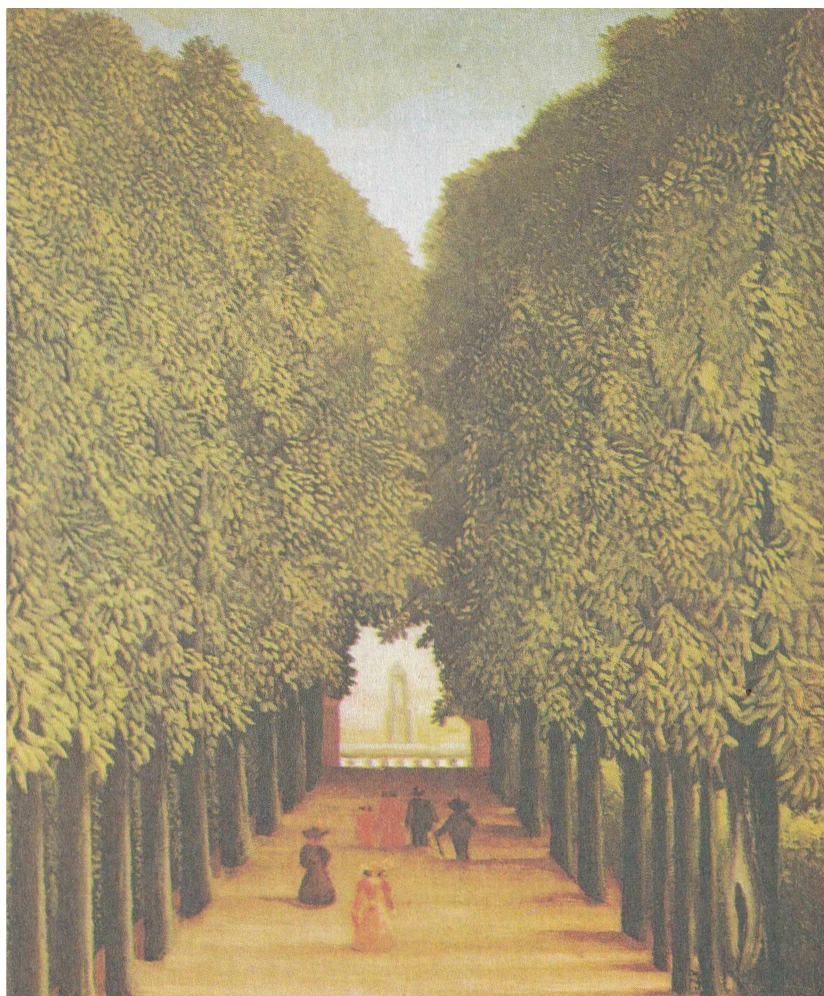
1956



Анри Руссо. Муза, вдохновляющая поэта.



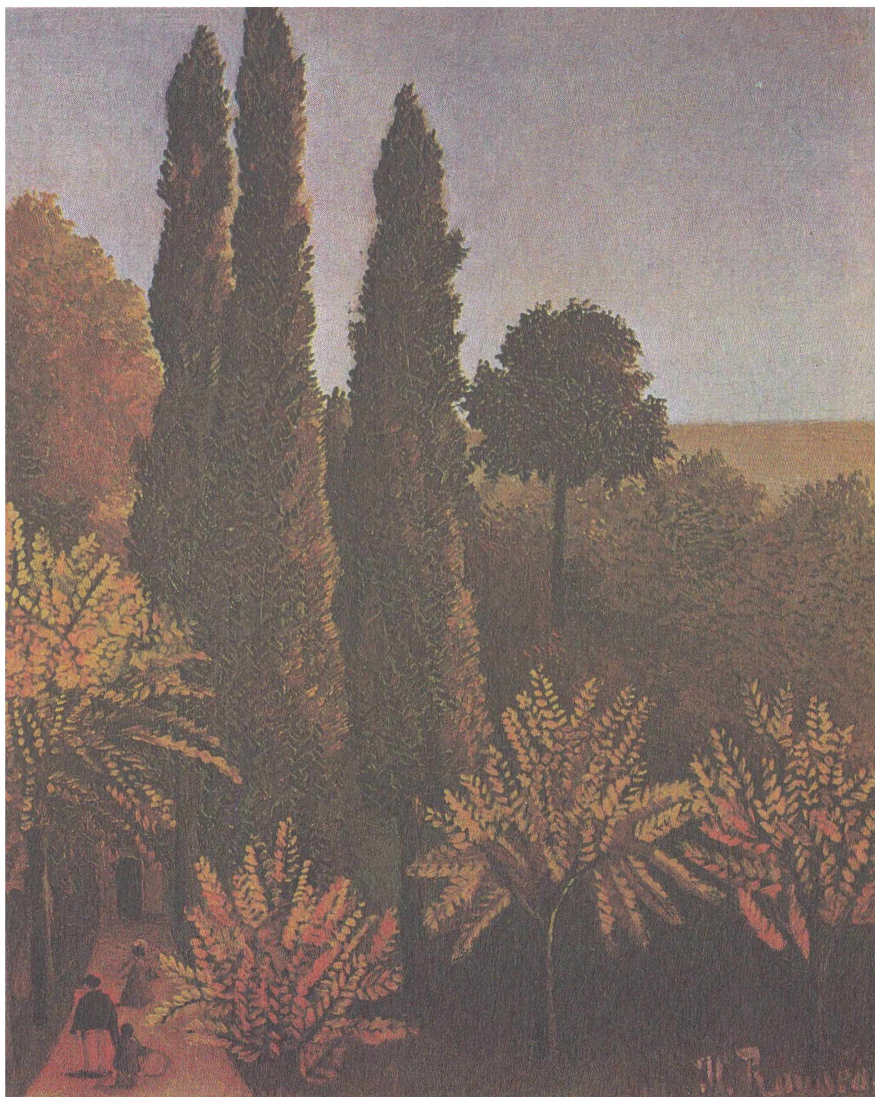
Анри Руссо. Игроки в мяч.



Анри Руссо. Аллея в парке Сен-Клу.

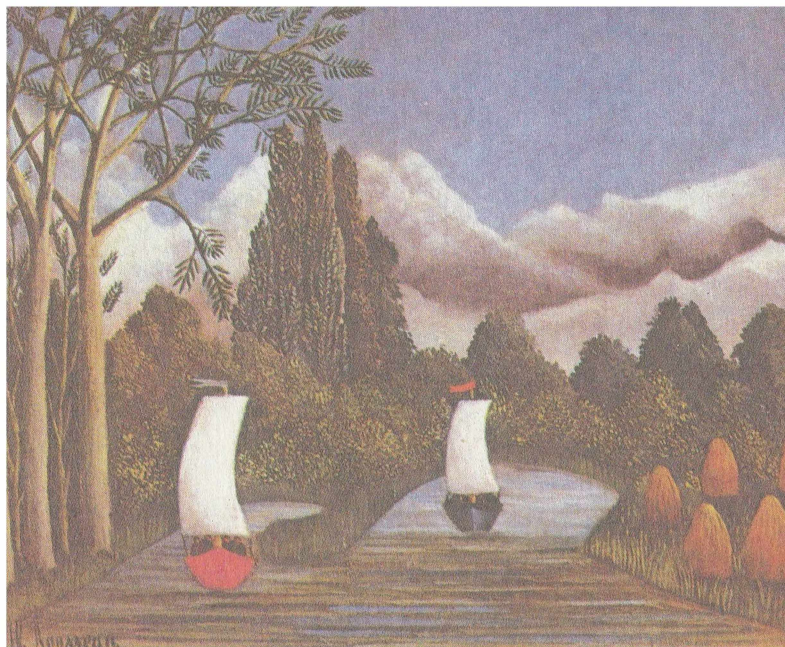


Анри Руссо. Веселые насмешники.



Анри Руссо. Аллея в парке Бют-Шомон.

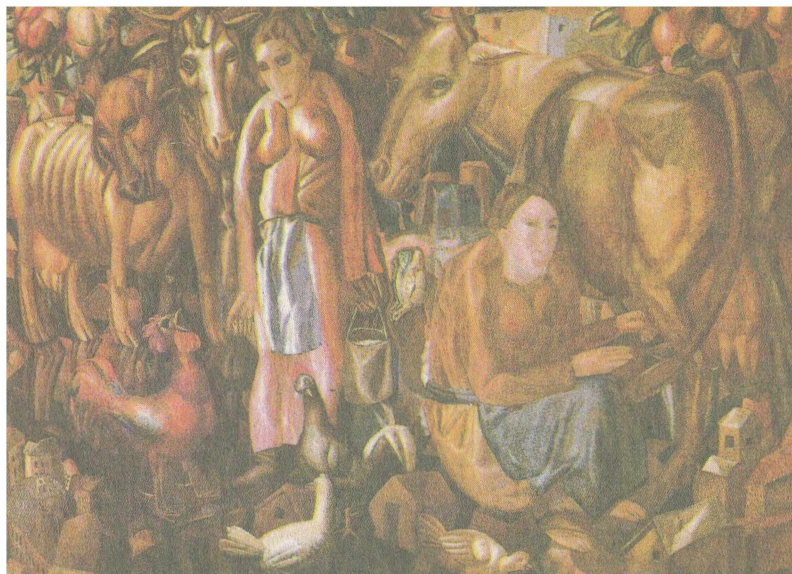




Анри Руссо. На берегах Уазы.



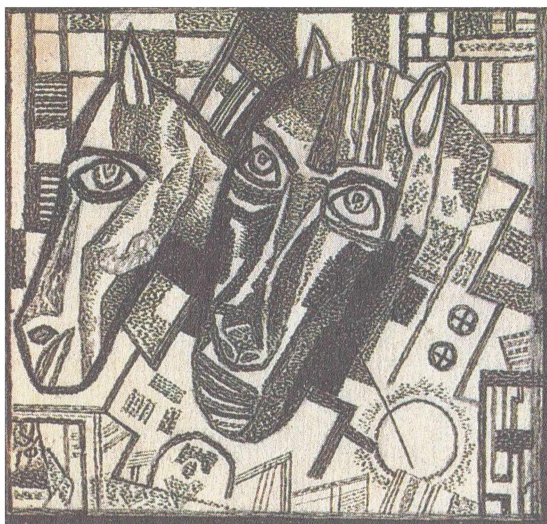
П. Филонов. Животные.



П. Филонов. Коровницы.



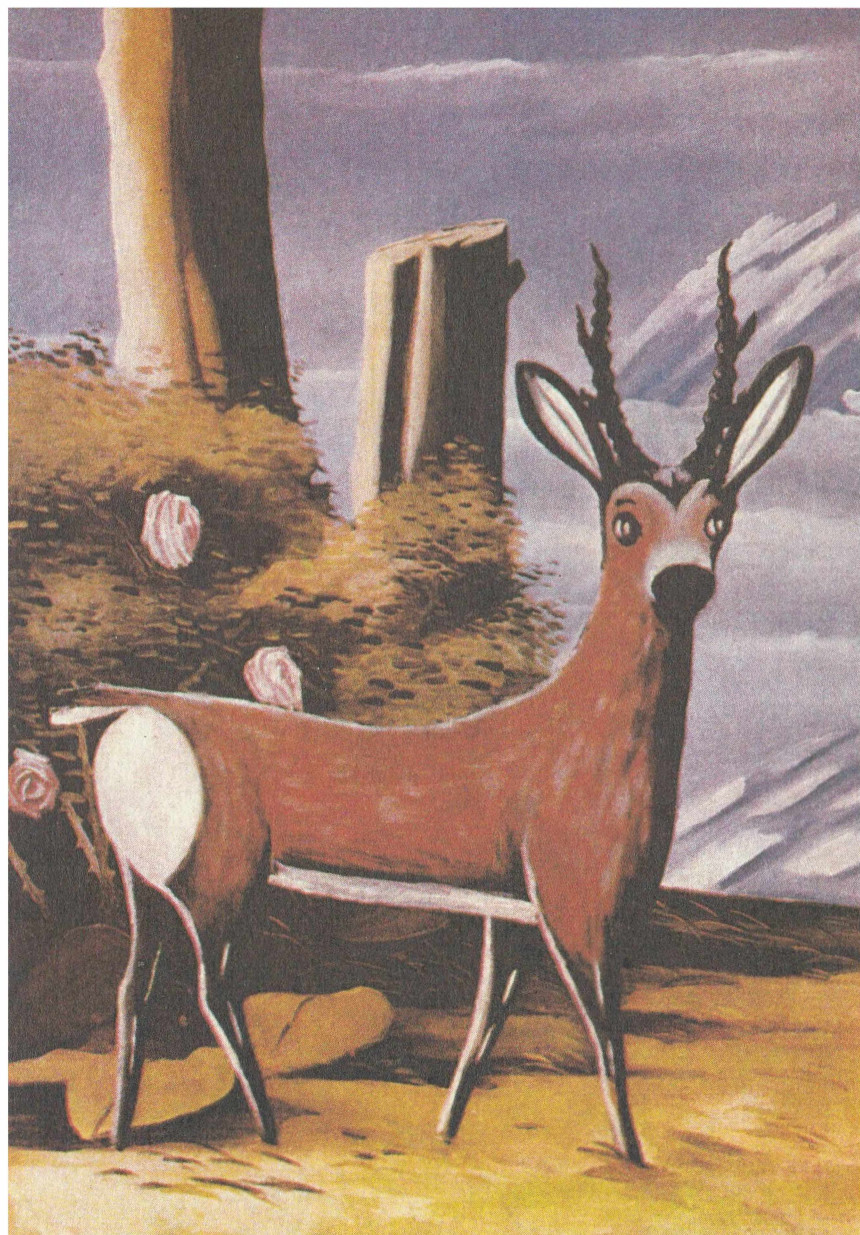
П. Филонов. Ломовые.



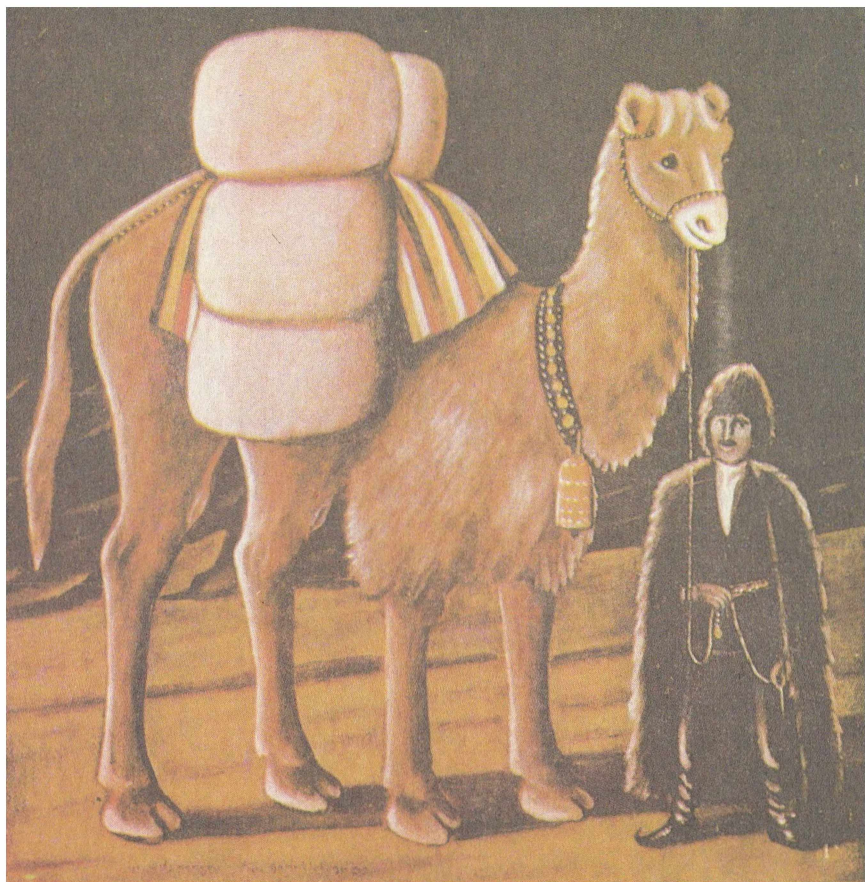
П. Филонов. Две лошади.



Нико Пироманишвили. Натюрморт.



Нико Пиросманишвили. Лань на фоне пейзажа.



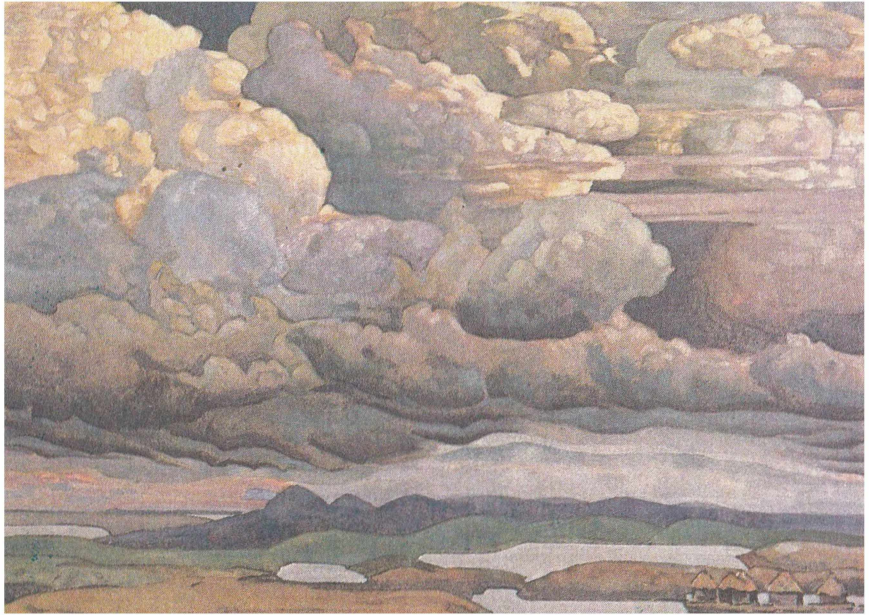
Нико Пирсманишвили. Татарин с верблюдом.



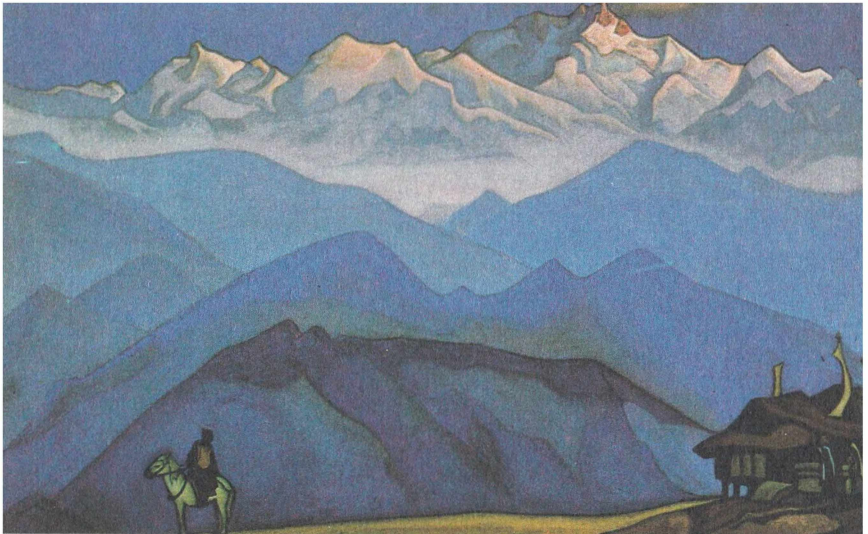
Нико Пиросманишвили. Кутеж четырех горожан.



Питер Брейгель-старший. Охотники на снегу.



Н. Рерих. Небесный бой.

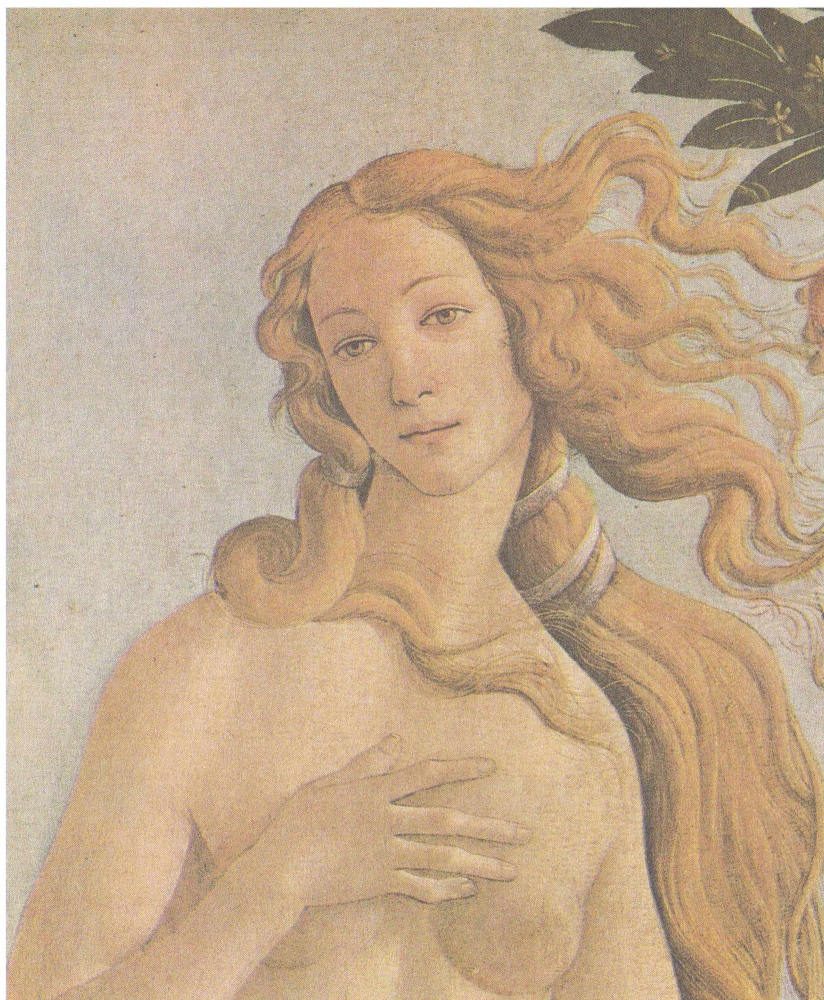


Н. Рерих. Помни!



Ф. Рокотов. Портрет А. П. Струйской.





Сандро Боттичелли. Рождение Венеры (фрагмент).



Сандро Боттичелли. Весна (фрагмент).



Сандро Боттичелли. Величание Мадонны (Мадонна дель Магнификат).

## СМЕРТЬ ВРАЧА

В захолустном районе,  
Где кончается мир,  
На степном перегоне  
Умирал бригадир.  
То ли сердце устало,  
То ли солнцем нажгло,  
Только силы не стало  
Возвратиться в село.  
И смутились крестьяне:  
Каждый подлинно знал,  
Что и врач без сознания  
В это время лежал.  
Надо ж было случиться,  
Что на горе-беду  
Он, забыв про больницу,  
Сам томился в бреду.  
И, однако ж, в селенье  
Полетел верховой.  
И ресницы в томленье  
Поднял доктор больной.  
И под каплями пота,  
Через сумрак и бред,  
В нем разумное что-то  
Задрожало в ответ.  
И к машине несмело  
Он пошел, темнолиц,  
И в безгласное тело  
Ввел спасительный шприц.  
И в степи, на закате,  
Окруженный толпой,  
Рухнул в белом халате  
Этот старый герой.  
Человеческой силе  
Не положен предел:  
Он, и стоя в могиле,  
Сделал то, что хотел.

1957

## ДЕТСТВО

Огромные глаза, как у нарядной куклы,  
Раскрыты широко. Под стрелами ресниц,  
Доверчиво-ясны и правильно округлы,  
Мерцают ободки младенческих зениц.

На что она глядит? И чем необычаен  
И сельский этот дом, и сад, и огород,  
Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин,  
И что-то вяжет там, и режет, и поет?  
Два тощих петуха дерутся на заборе,  
Шершавый хмель ползет по столбику крыльца.  
А девочка глядит. И в этом чистом взоре  
Отображен весь мир до самого конца.  
Он, этот дивный мир, поистине впервые  
Очаровал ее, как чудо из чудес,  
И в глубь души ее, как спутники живые,  
Вошли и этот дом, и этот сад, и лес.  
И много минет дней. И боль сердечной смуты,  
И счастье к ней придет. Но и жена и мать,  
Она блаженный смысл короткой той минуты  
Вплоть до седых волос все будет вспоминать.

1957

#### ЛЕСНАЯ СТОРОЖКА

Скрипело, свистало и выло в лесу,  
И гром ударял в отдаленье, как молот,  
И тучи рвались в небесах, но внизу  
Царили затишье, и сумрак, и холод.  
В гигантском колодце сосновых стволов,  
В своей одинокой убогой сторожке  
Лесник пообедал и хлебные крошки  
Смахнул на ладонь, молчалив и суров.  
Над миром великая буря ходила,  
Но здесь, в тишине, у древесных корней,  
Старик, отдыхая, не думал о ней,  
И только собака ворчала уныло  
На каждую вспышку далеких зарниц,  
И в гнездах смолкало селение птиц.

Однажды в грозу, навалившись на двери,  
Тут зверь появился, высок и космат,  
И так же, как многие прочие звери,  
Узнав человека, отпрянул назад.  
И сторож берданку схватил, и с окошка  
Пружиной метнулась под лестницу кошка,  
И разом короткий ружейный удар  
Потряс основанье соснового бора.

Вернувшись, лесник успокоился скоро:  
Он, видимо, был уж достаточно стар,

Он знал, что покой — только призрак покоя,  
Он знал, что, когда полыхает гроза,  
Все тяжело-животное, злобно-живое  
Встает и глядит человеку в глаза.

1957

### БОЛЕРО

Итак, Равель, танцуем болеро!  
Для тех, кто музыку не сменит на перо,  
Есть в этом мире праздник изначальный —  
Напев волынки скудный и печальный  
И эта пляска медленных крестьян...  
Испания! Я вновь тобою пьян!  
Цветок мечты возвышенной взлелеяв,  
Опять твой образ предо мной горит  
За отдаленной гранью Пиренеев!  
Увы, замолк истерзаный Мадрид,  
Весь в отголосках пролетевшей бури,  
И нету с ним Долорес Ибаррури!  
Но жив народ и песнь его жива.  
Танцуй, Равель, свой исполинский танец.  
Танцуй, Равель! Не унывай, испанец!  
Вращай, История, литые жернова,  
Будь мельничихой в грозный час прибоя!  
О, болеро, священный танец боя!

1957

### ПТИЧИЙ ДВОР

Скачет, свищет и бормочет  
Многоликий птичий двор.  
То могучий грянет кочет,  
То индеек взвизгнет хор.

В бесшабашном этом гаме,  
В писке маленьких цыплят  
Гуси толстыми ногами  
Землю важно шевелят.

И шатаюсь с боку на бок,  
Через двор наискосок,  
Перепонки красных лапок  
Ставят утки на песок.

Будь бы я такая птица,—  
Весь пылая, весь дрожа,  
Поспешил бы в небо взвиться,  
Ускользнув из-под ножа!

А они, не веря в чудо,  
Вечной заняты едой,  
Ждут, безумные, покуда  
Распростятся с головой.

Вечный гам и вечный топот,  
Вечно глупый, важный вид.  
Им, как видно, жизни опыт  
Ни о чем не говорит.

Их сердца послушно бьются  
По желанию людей,  
И в душе не отдаются  
Крики вольных лебедей.

1957

#### ОДИССЕЙ И СИРЕНЬ

Однажды аттическим утром  
С отважной дружиною всей  
Спешил на кораблике углом  
В отчизну свою Одиссей.  
Шумело Эгейское море,  
Коварный туманился вал.  
Скиталец в пернатом уборе  
Лежал на корме и дремал.  
И вдруг через дымку мечтанья  
Возник перед ним островок,  
Где три шаловливых созданья  
Плескались и пели у ног.  
Среди гармоничного гула  
Они отражались в воде.  
И тень вождя мелькнула  
У грека, в его бороде.  
Ведь слабость сродни человеку,  
Любовь — вековечный недуг,  
А этому древнему греку  
Все было к жене недосуг.  
И первая пела сирена:  
«Ко мне, господин Одиссей!

Я вас исцелю несомненно  
Усердной любовью моей!»  
Вторая богатство сулила:  
«Ко мне, корабельщик, ко мне!  
В подводных дворцах из берилла  
Мы счастливы будем вполне!»  
А третья сулила забвеньё  
И кубок вздымала вина:  
«Испей — и найдешь исцеленье  
В объятых волшебного сна!»  
Но хмурится житель Итаки,  
Красоток не слушает он,  
Не верит он в сладкие враки,  
В мечтанья свои погружен.  
И смотрит он на́ берег в оба,  
Где в нише из каменных плит  
Супруга его Пенелопа,  
Рыдая, за прялкой сидит.

1957

#### ЭТО БЫЛО ДАВНО

Это было давно.  
Исхудавший от голода, злой,  
Шел по кладбищу он  
И уже выходил за ворота.  
Вдруг под свежим крестом,  
С невысокой могилы сырой  
Заприметил его  
И окликнул невидимый кто-то.

И седая крестьянка  
В заношенном старом платке  
Поднялась от земли,  
Молчалива, печальна, сутула,  
И творя поминанье,  
В морщинистой темной руке  
Две лепешки ему  
И яичко, крестьясь, протянула.

И как громом ударило  
В душу его, и тотчас  
Сотни труб закричали  
И звезды посыпались с неба.  
И, смятенный и жалкий,  
В сиянье страдальческих глаз,



Принял он подаянье,  
Поел поминального хлеба.

Это было давно.  
И теперь он, известный поэт,  
Хоть не всеми любимый,  
И понятый также не всеми,—  
Как бы снова живет  
Обаянием прожитых лет  
В этой грустной своей  
И возвышенно чистой поэме.

И седая крестьянка,  
Как добрая старая мать,  
Обнимает его...  
И бросая перо, в кабинете  
Все он бродит один  
И пытается сердцем понять  
То, что могут понять  
Только старые люди и дети.

1957

#### КАЗБЕК

С хевсурами после работы  
Лежал я и слышал сквозь сон,  
Как кто-то, шальной от дремоты,  
Окно распахнул на балкон.

Проснулся и я. Наступала  
Заря, и, закованный в снег,  
Двуглавым обломком кристалла  
В окне загорался Казбек.

Я вышел на воздух железный.  
Вдали, у подножья высот,  
Курились туманные бездны  
Провалами каменных сот.

Из горных курильниц взлетая  
И тая над миром камней,  
Летела по воздуху стая  
Мгновенных и легких теней.

Земля начинала молебен  
Тому, кто блистал и царил.  
Но был он мне чужд и враждебен  
В дыхании этих кадил.

И бедное это селенье,  
Скопление домов и закут,  
Казалось мне в это мгновенье  
Разумно устроенным тут.

У ног ледяного Казбека  
Справляя людские дела,  
Живая душа человека  
Страдала, дышала, жила.

А он, в отдаленье от пашен,  
В надмирной своей вышине,  
Был только бессмысленно страшен  
И людям опасен вдвойне.

Недаром, спросонок понуры,  
Внизу, из села своего,  
Лишь мельком смотрели хевсуры  
На мертвые грани его.

1957

#### С Н Е Ж Н Ы Й   Ч Е Л О В Е К

Говорят, что в Гималаях где-то,  
Выше храмов и монастырей,  
Он живет, неведомый для света,  
Первобытный выкормыш зверей.

Безмятежный, белый и косматый,  
Он порой спускается с высот,  
И танцует, словно бесноватый,  
И в снежки играет у ворот.

Но когда буддийские монахи  
Со стены завоюют на трубе,  
Он бежит в смятении и страхе  
В горное убежище к себе.

Если эти рассказы — не бредни,  
Значит, в наш всеведающий век  
Существует все-таки последний  
Полузверь и получеловек.

Ум его, как видно, не обширен,  
И уют заоблачный суров,  
И ни школ, ни пагод, ни кумирен  
Не имеет этот зверолов.

В горные упрятан катакомбы,  
Он и знать не знает, что под ним  
Громоздятся атомные бомбы,  
Верные хозяевам своим.

Никогда их тайны не откроет  
Гималайский этот троглодит,  
Даже если, словно астероид,  
Весь пылая, в бездну полетит.

Но пока над свежими следами  
Ламы причитают и поют,  
И пока, расставленные в храме,  
Барабаны бешеные бьют,

И пока тысячелетний Будда  
Ворожит над собственным пупом,  
Он себя сравнительно не худо  
Чувствует в убежище своем.

Там, наверно, горного оленя  
Он свежует около ключа  
И из слов одни местоименья  
Произносит, громко хохоча.

1957

### ОДИНОКИЙ ДУБ

Дурная почва: слишком узловат  
И этот дуб, и нет великолепя  
В его ветвях. Какие-то отресья  
Торчат на нем и глухо шелестят.

Но скрученные намертво суставы  
Он так развил, что, кажется, ударь —  
И запоеет он колоколом славы,  
И из ствола закапает янтарь.

Вглядись в него: он важен и спокоен  
Среди своих безжизненных равнин.  
Кто говорит, что в поле он не воин?  
Он воин в поле, даже и один.

1957

## СТИРКА БЕЛЬЯ

В стороне от шоссеиной дороги,  
В городишке из хаток и лип,  
Хорошо постоять на пороге  
И послушать колодезный скрип.  
Здесь, среди голубей и голубок,  
Меж амбаров и мусорных куч,  
Бьются по ветру тысячи юбок,  
Шароваров, рубах и онуч.  
Отдыхая от потного тела  
Домотканой основой холста,  
Здесь с монгольского ига висела  
Этих русских одежд пестрота.  
И виднелись на ней отпечатки  
Человеческих выпуклых тел,  
Повторяя в живом беспорядке,  
Кто и как в них лежал и сидел.  
Я сегодня в сообществе прачек,  
Благотельниц здешних мужей.  
Эти люди не дают лежачих  
И голодных не гонят взащей.  
Натрудив вековые мозоли,  
Побелевшие в мыльной воде,  
Здесь не думают о хлебосолье,  
Но зато не бросают в беде.  
Благо тем, кто смятенную душу  
Здесь омоет до самого дна,  
Чтобы вновь из корыта на сушу  
Афродитою вышла она!

1957

## ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Вечерний день томителен и ласков.  
Стада коров, качающих бока,  
В сопровожденье маленьких подпасков  
По берегам идут издалека.  
Река, переливаясь под обрывом,  
Все так же привлекательна на вид,  
И небо в сочетании счастливым,  
Обняв ее, ликует и горит.  
Из облаков изваянные розы  
Свиваются, волнуются и вдруг,  
Меняя очертания и позы,  
Уносятся на запад и на юг.

И влага, зацелованная ими,  
Как девушка в вечернем полусне,  
Едва колеблет волнами своими,  
Еще не упоенными вполне.  
Она еще как будто негодует  
И слабо отстраняется, но ей  
Уже сквозь сон предчувствие рисует  
Восторг и пламя августовских дней.

1957

### ГОМБОРСКИЙ ЛЕС

В Гомборском лесу на границе Кахети  
Раскинулась осень. Какой бутафор  
Устроил такие поминки о лете  
И киноварь с охрой на листьях растер?

Меж кленом и буком ютился шиповник,  
Был клен в озаренье и в зареве бук,  
И каждый из них оказался виновник  
Моих откровений, восторгов и мук.

В кизиловой чаще кровавые жилы  
Топорщил кустарник. За чащей вдали  
Рядами стояли дубы-старожилы  
И тоже к себе, как умели, влекли.

Здесь осень сумела такие пассажи  
Наляпать из охры, огня и белил,  
Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,  
А клен, как Мурильо, на крыльях парил.

Я лег на поляне, украшенной дубом,  
Я весь растворился в пыланье огня.  
Подобно бесчисленным арфам и трубам,  
Кусты расступились и скрыли меня.

Я сделался нервной системой растений,  
Я стал размышлением каменных скал,  
И опыт осенних моих наблюдений  
Отдать человечеству вновь пожелал.

С тех пор мне собратями сделались горы,  
И нет мне покоя, когда на трубе  
Поют в сентябре золотые Гомборы,  
И гонят в просторы, и манят к себе.

1957

## С Е Н Т Я Б Р Ъ

Сыплет дождик большие горошины,  
Рвется ветер, и даль нечиста.  
Закрывается тополь взъерошенный  
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака,  
Как сквозь арку из каменных плит,  
В это царство тумана и морока  
Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек занавешена  
Облаками, и значит, не зря,  
Словно девушка, вспыхнув, орешина  
Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец, выхватывай  
Кисть за кистью, и на полотне  
Золотой, как огонь, и гранатовой  
Нарисуй эту девушку мне.

Нарисуй, словно деревце, зыбкую  
Молодую царевну в венце  
С беспокойно скользящей улыбкою  
На заплаканном юном лице.

1957

## В Е Ч Е Р Н А О К Е

В очарованье русского пейзажа  
Есть подлинная радость, но она  
Открыта не для каждого и даже  
Не каждому художнику видна.  
С утра обремененная работой,  
Трудом лесов, заботами полей,  
Природа смотрит как бы с неохотой  
На нас, неочарованных людей.  
И лишь когда за темной чащей леса  
Вечерний луч таинственно блеснет,  
Обыденности плотная завеса  
С ее красот мгновенно упадет.  
Вздохнут леса, опущенные в воду,  
И, как бы сквозь прозрачное стекло,  
Вся грудь реки приникнет к небосводу  
И загорится влажно и светло.

Из белых башен облачного мира  
Сойдет огонь, и в нежном том огне,  
Как будто под руками ювелира,  
Сквозные тени лягут в глубине.  
И чем ясней становятся детали  
Предметов, расположенных вокруг,  
Тем необъятней делаются дали  
Речных лугов, затонов и излук.  
Горит весь мир, прозрачен и духовен,  
Теперь-то он поистине хорош,  
И ты, ликуя, множество диковин  
В его живых чертах распознаешь.

1957

\* \* \*

Кто мне откликнулся в чаще лесной?  
Старый ли дуб зашептался с сосной,  
Или вдали заскрипела рябина,  
Или запела щегла окарина,  
Или малиновка, маленький друг,  
Мне на закате ответила вдруг?

Кто мне откликнулся в чаще лесной?  
Ты ли, которая снова весной  
Вспомнила наши прошедшие годы,  
Наши заботы и наши невзгоды,  
Наши скитанья в далеком краю,—  
Ты, опалившая душу мою?

Кто мне откликнулся в чаще лесной?  
Утром и вечером, в холод и зной,  
Вечно мне слышится отзвук невнятный,  
Словно дыханье любви необъятной,  
Ради которой мой трепетный стих  
Рвался к тебе из ладоней моих...

1957

#### ГРОЗА ИДЕТ

Двигается нахмуренная туча,  
Обложив полнеба вдалеке,  
Двигается, огромна и тягуча,  
С фонарем в приподнятой руке.

Сколько раз она меня ловила,  
Сколько раз, сверкая серебром,  
Сломанными молниями била,  
Каменный выкатывала гром!

Сколько раз, ее увидев в поле,  
Замедлял я робкие шаги  
И стоял, сливаясь поневоле  
С белым блеском вольтовой дуги!

Вот он — кедр у нашего балкона.  
Надвое громами расщеплен,  
Он стоит, и мертвая корона  
Подпирает темный небосклон.

Сквозь живое сердце древесины  
Пролегает рана от огня,  
Иглы почерневшие с вершины  
Осыпают звездами меня.

Пой мне песню, дерево печали!  
Я, как ты, ворвался в высоту,  
Но меня лишь молнии встречали  
И огнем сжигали на лету.

Почему же, надвое расколот,  
Я, как ты, не умер у крыльца,  
И в душе все тот же лютый голод,  
И любовь, и песни до конца!

1957

### З Е Л Е Н Ы Й   Л У Ч

Золотой светясь оправой  
С синим морем наравне,  
Дремлет город белоглавый,  
Отраженный в глубине.

Он сложился из скопления  
Белой облачной гряды  
Там, где солнце на мгновенье  
Полыхает из воды.

Я отправлюсь в путь-дорогу,  
В эти дальние края,  
К белоглавному чертогу  
Отыщу дорогу я.



Я открою все ворота  
Этих облачных высот,  
Заходящим оком кто-то  
Луч зеленый мне метнет.

Луч, подобный изумруду,  
Золотого счастья ключ —  
Я его еще добуду,  
Мой зеленый слабый луч.

Но бледнеют бастионы,  
Башни падают вдали,  
Угасает луч зеленый,  
Отдаленный от земли.

Только тот, кто духом молод,  
Телом жаден и могуч,  
В белоглавый прынет город  
И зеленый схватит луч!

1958

#### У ГРОБНИЦЫ ДАНТЕ

Мне мачехой Флоренция была,  
Я пожелал покоиться в Равенне.  
Не говори, прохожий, о измене,  
Пусть даже смерть клеймит ее дела.

Над белой усыпальницей моей  
Воркует голубь, сладостная птица,  
Но родина и до сих пор мне снится,  
И до сих пор я верен только ей.

Разбитой лютни не берут в поход,  
Она мертва среди родного стана.  
Зачем же ты, печаль моя, Тоскана,  
Целуешь мой осиротевший рот?

А голубь рвется с крыши и летит,  
Как будто опасается кого-то,  
И злая тень чужого самолета  
Свои круги над городом чертит.

Так бей, звонарь, в свои колокола!  
Не забывай, что мир в кровавой пене!  
Я пожелал покоиться в Равенне,  
Но и Равенна мне не помогла.

1958

## ГОРОДОК

Целый день стирает прачка,  
Муж пошел за водкой.  
На крыльце сидит собачка  
С маленькой бородкой.

Целый день она таращит  
Умные глазенки,  
Если дома кто заплачет —  
Заскулит в сторонке.

А кому сегодня плакать  
В городе Тарусе?  
Есть кому в Тарусе плакать —  
Девочке Марусе.

Опротивели Марусе  
Петухи да гуси.  
Сколько ходит их в Тарусе,  
Господи Иисусе!

«Вот бы мне такие перья  
Да такие крылья!  
Улетела б прямо в дверь я,  
Бросилась в ковыль я!

Чтоб глаза мои на свете  
Больше не глядели,  
Петухи да гуси эти  
Больше не галдели!»

Ой, как худо жить Марусе  
В городе Тарусе!  
Петухи одни да гуси,  
Господи Иисусе!

1958

## Л А С Т О Ч К А

Славно ласточка щебечет,  
Ловко крыльями стрижет,  
Всем ветрам она перечит,  
Но и силы бережет.  
Реет верхом, реет низом,  
Догоняет комара  
И в избушке под карнизом  
Отдыхает до утра.

Удивлен ее повадкой,  
Устремляюсь я в зенит,  
И душа моя касаткой  
В отдаленный край летит.  
Реет, плачет, словно птица,  
В заколдованном краю,  
Слабым клювиком стучится  
В душу бедную твою.

Но душа твоя угасла,  
На дверях висит замок.  
Догорело в лампе масло,  
И не светит фитилек.  
Горько ласточка рыдает  
И не знает, как помочь,  
И с кладбища улетает  
В заколдованную ночь.

1958

#### ПЕТУХИ ПОЮТ

На сараях, на банях, на гумнах  
Свежий ветер вздувает верхи.  
Изливаются в возгласах трубных  
Звездочеты ночей — петухи.

Нет, не бьют эти птицы баклуши,  
Начиная торжественный зов!  
Я сравнил бы их темные души  
С циферблатами древних часов.

Здесь, в деревне, и вы удивитесь,  
Услыхав, как в полуночный час  
Трубным голосом огненный витязь  
Из курятника чествует вас.

Сообщает он кучу известий,  
Непонятных, как вымерший стих,  
Но таинственный разум созвездий  
Несомненно присутствует в них.

Ярко светит над миром усталым  
Семизвездье Большого Ковша,  
На земле ему фокусом малым  
Петушиная служит душа.

Изменяется угол паденья,  
Напрягаются зренье и слух,  
И, взметнув до небес оперенье,  
Как ужаленный, кличет петух.

И приходят мне в голову сказки  
Мудрецами отмеченных дней,  
И блуждаю я в них по указке  
Удивительной птицы моей.

Пел петух каравеллам Колумба,  
Магеллану средь моря кричал,  
Не сбиваясь с железного румба,  
Корабли приводил на причал.

Пел Петру из коломенских далей,  
Собирал конармейцев в поход,  
Пел в годину великих печалей,  
Пел в эпоху железных работ.

И теперь, на границе историй,  
Поднимая свой гребень к луне,  
Он, как некогда витязь Егорий,  
Кличет песню надзвездную мне!

1958

#### ПОДМОСКОВНЫЕ РОЩИ

Жучок ли точит древесину  
Или скоблит листочек тля,  
Сухих листов своих корзину  
Несет мне осенью земля.

В висячем золоте дубравы  
И в серебре березняки  
Стоят, как знамения славы,  
На берегах Москвы-реки.

О эти рощи Подмосковья!  
С каких давно минувших дней  
Стоят они у изголовья  
Далекой юности моей!

Давно все стрелы отсвистели  
И отгremели все щиты,  
Давно отплакали метели  
Лихое время нищеты,

Давно умолк Иван Великий,  
И только рощи в поздний час  
Все с той же грустью полудикой  
Глядят с окрестностей на нас.

Леса с обломками усадеб,  
Места с остатками церквей  
Все так же ждут вороньих свадеб  
И воркованья голубей.

Они, как комнаты, просторны,  
И ранней осенью с утра  
Поют в них маленькие горны  
И вторит горнам детвора.

А мне-то, господи, помилуй,  
Все кажется, что вдалеке  
Трубит коломенец служилый  
С пищалью дедовской в руке.

1958

#### НА ЗАКАТЕ

Когда, измученный работой,  
Огонь души моей иссяк,  
Вчера я вышел с неохотой  
В опустошенный березняк.

На гладкой шелковой площадке,  
Чей тон был зелен и лилов,  
Стояли в стройном беспорядке  
Ряды серебряных стволов.

Сквозь небольшие расстоянья  
Между стволами, сквозь листву,  
Небес вечернее сиянье  
Кидало тени на траву.

Был тот усталый час заката,  
Час умирания, когда  
Всего печальней нам утрата  
Незавершенного труда.

Два мира есть у человека:  
Один, который нас творил,  
Другой, который мы от века  
Творим по мере наших сил.

Несоответствия огромны,  
И несмотря на интерес,  
Лесок березовый Коломны  
Не повторял моих чудес.

Душа в невидимом блуждала,  
Своими сказками полна,  
Незрячим взором провожала  
Природу внешнюю она.

Так, вероятно, мысль нагая,  
Когда-то брошена в глуши,  
Сама в себе изнемогая,  
Моей не чувствует души.

1958

#### НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ ЛЕНИТЬСЯ

Не позволяй душе лениться!  
Чтоб в ступе воду не толочь,  
Душа обязана трудиться  
И день и ночь, и день и ночь!

Гони ее от дома к дому,  
Тащи с этапа на этап,  
По пустырю, по бурелому,  
Через сугроб, через ухаб!

Не разрешай ей спать в постели  
При свете утренней звезды,  
Держи лентяйку в черном теле  
И не снимай с нее узды!

Коль дать ей вздумаешь поблажку,  
Освобождая от работ,  
Она последнюю рубашку  
С тебя без жалости сорвет.

А ты хватай ее за плечи,  
Учи и мучай дотемна,  
Чтоб жить с тобой по-человечьи  
Училась заново она.

Она рабыня и царица,  
Она работница и дочь,  
Она обязана трудиться  
И день и ночь, и день и ночь!

1958

## РУБРУК В МОНГОЛИИ

### НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ

Мне вспоминается доньне,  
Как с небольшой командой слуг,  
Блуждая в северной пустыне,  
Въезжал в Монголию Рубрук.

«Вернись, Рубрук!» — кричали птицы.  
«Очнись, Рубрук! — скрипела ель. —  
Слепил мороз твои ресницы,  
Сковала бороду метель.

Тебе ль, монах, идти к монголам  
По гребням голым, по степям,  
По разоренным этим селам,  
По непроложенным путям?

И что тебе, по сути дела,  
До измышлений короля?  
Ужели вправду надоела  
Тебе французская земля?

Небось в покоях Людовика  
Теперь и пышно и тепло,  
А тут лишь ветер воет дико  
С татарской саблей наголо.

Тут ни тропинки, ни дороги,  
Ни городов, ни деревень,  
Одни лишь Гоги да Магоги  
В овчинных шапках набекрень!»

А он сквозь Русь спешил упрямо,  
Через пожарища и тьму,  
И перед ним вставала драма  
Народа, чуждого ему.

В те дни, по милости Батыев,  
Ладони выев до костей,  
Еще дымился древний Киев  
У ног непрошенных гостей.

Не стало больше песен дивных,  
Лежал в гробнице Ярослав,  
И замолчали девы в гривнах,  
Последний танец отплясав.

И только волки да лисицы  
На диком празднестве своем  
Весь день бродили по столице  
И тяжелели с каждым днем.

А он, минуя все берлоги,  
Уже скакал через Итиль  
Туда, где Гоги и Магоги  
Стада упрятали в ковыль.

Туда, к потомкам Чингисхана,  
Под сень неведомых шатров,  
В чертог восточного тумана,  
В селенье северных ветров!

#### ДОРОГА ЧИНГИСХАНА

Он гнал коня от яма к яму,  
И жизнь от яма к яму шла  
И раскрывала панораму  
Земель, обугленных дотла.

В глуши восточных территорий,  
Где ветер бил в лицо и грудь,  
Как первобытный крематорий,  
Еще пылал Чингисов путь.

Еще дымились цитадели  
Из бревен рубленных капелл,  
Еще раскачивали ели  
Останки вывешенных тел.

Еще на выжженных полянах,  
Вблизи низинных родников  
Виднелись груды трупов странных  
Из-под сугробов и снегов.

Рубрук слезал с коня и часто  
Рассматривал издалека,  
Как, скрючив пальцы, из-под наста  
Торчала мертвая рука.

С утра не пивши и не евши,  
Прислушивался, как вверху  
Визгливо вскрикивали векши  
В своем серебряном меху.



Как птиц тяжелых эскадрильи,  
Справляя смертную кадрили,  
Кругами в воздухе кружили  
И стирались на сто миль.

Но, невзирая на молебен  
В крови купающихся птиц,  
Как был досель великолепен  
Тот край, не знающий границ!

Европа сжалась до предела  
И превратилась в островок,  
Лежащий где-то возле тела  
Лесов, пожарищ и берлог.

Так вот она, страна уныний,  
Гиперборейский интернат,  
В котором видел древний Плиний  
Жерло, простершееся в ад!

Так вот он, дом чужих народов  
Без прозвищ, кличек и имен,  
Стрелков, бродяг и скотоводов,  
Владык без тронов и корон!

Попарно связанные лыком,  
Под караулом, там и тут  
До сей поры в смятенье диком  
Они в Монголию бредут.

Широкоскулы, низки ростом,  
Они бредут из этих стран,  
И кровь течет по их коростам,  
И слезы падают в туман.

#### ДВИЖУЩИЕСЯ ПОВОЗКИ МОНГОЛОВ

Навстречу гостю, в зной и в холод,  
Громадой движущихся тел  
Многоколесный ехал город  
И всеми втулками скрипел.

Когда бы дьяволы играли  
На скрипках лиственниц и лип,  
Они подобной вакханальи  
Сыграть, наверно, не смогли б.

В жужжанье втулок и повозок  
Врывалось ржанье лошадей,  
И это тоже был набросок  
Шестой симфонии чертей.

Орда — неважный композитор,  
Но из ордынских партитур  
Монгольский выбрал экспедитор  
C-dur на скрипках бычьих шкур.

Смычком ему был бич отличный,  
Виолончелью бычий бок,  
И сам он в позе эксцентричной  
Сидел в повозке, словно Бог.

Но Богом был он в высшем смысле,  
В том смысле, видимо, в каком  
Скрипач свои выводит мысли  
Смычком, попав на ипподром.

С утра натрескавшись кумыса,  
Он ясно видел все вокруг —  
То из-под ног метнется крыса,  
То юркнет в норку бурундук,

То стрепет, острою стрелою,  
На землю падает, подбит,  
И дико движет головою,  
Дополнив общий колорит.

Сегодня возчик, завтра воин,  
А послезавтра Божий дух,  
Монгол и вправду был достоин  
И жить, и пить, и есть за двух.

Сражаться, драться и жениться  
На двух, на трех, на четырех —  
Всю жизнь и воин и возница,  
А не лентяй и пустобрех.

Ему нельзя ни выть, ни охать,  
Коль он в гостях у росомах,  
Забудет прихоть он и похоть,  
Коль он охотник и галах.

В родной стране, где по излукам  
Текут Онон и Керулен,  
Он бродит с палицей и луком,  
В цветах и травах до колен.

Но лишь ударит голос меди —  
Пригнувшись к гриве скакуна,  
Летит он к счастью и победе,  
И чашу битвы пьет до дна.

Глядишь — и Русь пощады просит,  
Глядишь — и Венгрия горит,  
Китай шелка ему подносит,  
Париж баллады говорит.

И даже вымершие гунны  
Из погребенья своего,  
Как закатившиеся луны,  
С испугом смотрят на него!

#### МОНГОЛЬСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Здесь у повозок выли волки  
И у бесчисленных станиц  
Пасли скуластые монголки  
Своих могучих кобылиц.

На этих бешеных кобылах,  
В штанах из выделанных кож,  
Судьбу гостей своих унылых  
Они не ставили ни в грош.

Они из пыли, словно пули,  
Летели в стойбище свое  
И, став ли боком, на скаку ли,  
Метали дротик и копье.

Был этих дам суров обычай,  
Они не чтити женский хлам  
И свой кафтан из кожи бычьей  
С грехом носили пополам.

Всю жизнь свою тяжелодумки,  
Как в этом принято краю,  
Они в простой таскали сумке  
Поклажу дамскую свою.

Но средь бесформенных иголок  
Здесь можно было отыскать  
Искусства древнего осколок  
Такой, что моднице под стать.

Литые серьги из Дамаска,  
Запястья хеттских мастеров,  
И то, чем красилась кавказка,  
И то, чем славился Ростов.

Все то, что было взято с бою,  
Что было снято с мертвеца,  
Свыкалось с модницей такою  
И ей служило до конца.

С глубоко спрятанной ухмылкой  
Глядел на всадницу Рубрук,  
Но вникнуть в суть красотки пылкой  
Монаху было недосуг.

Лишь иногда, в потемках лежа,  
Не ставил он себе во грех  
Воображать, на что похожа  
Она в постели без помех.

Но как ни шло воображенье,  
Была работа свыше сил,  
И, вспомнив про свое служенье,  
Монах усилья прекратил.

#### Ч Е М Ж И Л К А Р А К О Р У М

В те дни состав народов мира  
Был перепутан и измят,  
И был ему за командира  
Незримый миру азиат.

От Танаида до Итили  
Коман, хозар и печенег  
Таких могил нагородили,  
Каких не видел человек.

В лесах за Русью горемычной  
Ютились мокша и мордва,  
Пытаясь в битве необычной  
Свои отстаивать права.

На юге — персы и аланы,  
К востоку — прадеды бурят,  
Те, что, ударив в барабаны,  
«Ом, мани падме кум!» — твердят.

Уйгуры, венгры и башкиры,  
Страна китаев, где врачи  
Из трав готовят эликсиры  
И звезды меряют в ночи.

Из тундры северные гости,  
Те, что проносятся стремглав,  
Отполированные кости  
К своим подошвам привязав.

Весь этот мир живых созданий,  
Людей, племен и целых стран  
Платил и подати и дани,  
Как предназначил Чингисхан.

Живи и здравствуй, Каракорум,  
Оплот и первенец земли,  
Чертог Монголии, в котором  
Нашли могилу короли!

Где перед каменной палатой  
Был вылит дуб из серебра  
И наверху трубач крылатый  
Трубил, работая с утра!

Где хан, воссев на пьедестале,  
Смотрел, как буйно и легко  
Четыре тигра изрыгали  
В бассейн кобылье молоко!

Наполнив грузную утробу  
И сбросив тяжесть портупей,  
Смотрел здесь волком на Европу  
Генералиссимус степей.

Его бесчисленные орды  
Сновали, выдвинув полки,  
И были к западу простерты,  
Как пятерня его руки.

Весь мир дышал его гортанью,  
И власти подлинный секрет  
Он получил по предсказанью  
На восемнадцать долгих лет.

КАК БЫЛО ТРУДНО  
РАЗГОВАРИВАТЬ С МОНГОЛАМИ

Еще не клеились беседы,  
И с переводчиком пока  
Сопровождала их обеды  
Игра на гранях языка.

Трепать язык умеет всякий,  
Но надо так трепать язык,  
Чтоб щи не путать с кулебякой  
И с запятыми закавык.

Однако этот переводчик,  
Определившись толмачом,  
По сути дела был наводчик  
С железной фомкой и ключом.

Своей коллекцией отмычек  
Он колдовал и вкривь и вкось  
И в силу действия привычек  
Плел то, что под руку пришлось.

Прищурив умные гляделки,  
Сидели воины в тени,  
И, явно не в своей тарелке,  
Рубрука слушали они.

Не то чтоб сложной их природы  
Не понимал совсем монах,—  
Здесь пели две клавиатуры  
На двух различных языках.

Порой хитер, порой наивен,  
С мотивом спорил здесь мотив,  
И был отнюдь не примитивен  
Монгольских воинов актив.

Здесь был особой жизни опыт,  
Особый дух, особый тон.  
Здесь речь была как конский топот,  
Как стук мечей, как копий звон.

В ней водопады клокотали,  
Подобно реву Ангары,  
И часто мелкие детали  
Приобретали роль горы.

Куда уж было тут латынцу,  
Будь он и тонкий дипломат,  
Псалмы втолковывать ордынцу  
И бить в кимвалы наугад!

Как прототип башибузука,  
Любой монгольский мальчуган  
Всю казуистику Рубрука,  
Смеясь, засовывал в карман.

Он до последней капли мозга  
Был практик, он просил еды,  
Хотя, по сути дела, розга  
Ему б не сделала беды.

#### РУБРУК НАБЛЮДАЕТ НЕБЕСНЫЕ СВЕТИЛА

С началом зимнего сезона  
В гигантский вытянувшись рост,  
Предстал Рубруку с небосклона  
Амфитеатр восточных звезд.

В садах Прованса и Луары  
Едва ли видели когда,  
Какие звездные отары  
Вращает в небе Кол-звезда.

Она горит на всю округу,  
Как скотоводом вбитый кол,  
И водит медленно по кругу  
Созвездий пестрый ореол.

Идут небесные Бараны,  
Шагают Кони и Быки,  
Пылают звездные Колчаны,  
Блестят астральные Клинки.

Там тот же бой и стужа та же,  
Там тот же общий интерес.  
Земля — лишь клочок небес и даже,  
Быть может, лучший клочок небес.

И вот уж чудится Рубруку:  
Свисают с неба сотни рук,  
Грозят, светясь на всю округу:  
«Смотри, Рубрук! Смотри, Рубрук!

Ведь если бог монголу нужен,  
То лишь постольку, милый мой,  
Поскольку он готовит ужин  
Или быков ведет домой.

Твой бог пригоден здесь постольку,  
Поскольку может он помочь  
Схватить венгерку или польку  
И в глушь Сибири уволочь.

Поскольку он податель мяса,  
Поскольку он творец еды!  
Другого бога-свистопляса  
Сюда не пустят без нужды.

И пусть хоть лопнет папа в Риме,  
Пускай напишет сотни булл,—  
Над декретальями твоими  
Лишь посмется Вельзевул.

Он тут не смыслит ни бельмеса  
В предназначениях небес,  
И католическая месса  
В его не входит интерес».

Идут небесные Бараны,  
Плывут астральные Ковши,  
Пылают реки, горы, страны,  
Дворцы, кибитки, шалаши,

Ревет медведь в своей берлоге,  
Кричит стервятница-лиса,  
Приходят боги, гибнут боги,  
Но вечно светят небеса!

#### КАК РУБРУК ПРОСТИЛСЯ С МОНГОЛИЕЙ

Срывалось дело минорита,  
И вскоре выяснил Рубрук,  
Что мало толку от визита,  
Коль дело валится из рук.

Как ни пытался божью манну  
Он перед ханом рассыпать,  
К предусмотрительному хану  
Не шла господня благодать.

Рубрук был толст и крупен ростом,  
Но по природе не бахвал,  
И хан его простым прохвостом,  
Как видно, тоже не считал.



Но на святые экивоки  
Он отвечал: «Послушай, франк!  
И мы ведь тоже на Востоке  
Возводим Бога в высший ранг.

Однако путь у нас различен.  
Ведь вы, Писанье получив,  
Не обошлись без зуботычин  
И не сплотились в коллектив.

Вы рады бить друг друга в морды,  
Кресты имея на груди.  
А ты взгляни на наши орды,  
На наших братьев погляди!

У нас, монголов, дисциплина,  
Убил — и сам иди под меч.  
Выходит, ваша писанина  
Не та, чтоб выгоду извлечь!»

Тут дали страннику кумысу  
И, по законам этих мест,  
Безотлагательную визу  
Сфабриковали на отъезд.

А между тем вокруг становья,  
Вблизи походного дворца  
Трубили хану славословья  
Несториане без конца.

Живали муллы тут и ламы,  
Шаманы множества племен,  
И снисходительные дамы  
К ним приходили на поклон.

Тут даже диспуты бывали,  
И хан, присутствуя на них,  
Любил смотреть, как те каналы  
Кумыс хлестали за двоих.

Монаха здесь, по крайней мере,  
Могли позвать на арбитраж,  
Но музыкант ему у двери  
Уже играл прощальный марш.

Он в ящик бил четырехструнный,  
Он пел и вглядывался в даль,  
Где серп прорезывался лунный,  
Литой, как выгнутая сталь.

СТИХОТВОРЕНИЯ,  
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

---

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

СЕРДЦЕ-ПУСТЫРЬ

Прозрачней лунного камня  
Стынь, сердце-пустырь.  
Полный отчаяньем каменным,  
Взор я в тебя вперил.  
С криком несутся стрижи,—  
Лет их тревожен рассеянный.  
Грудью стылой лежит  
Реки обнаженный бассейн.

О река, невеста мертвая,  
Грозным покоем глубокая,  
Венком твоим желтым  
Осенью сохнет осока.  
Я костер на твоём берегу  
Разожгу красным кадилом,  
Стылый образ твой сберегу,  
Милая.

Прозрачней лунного камня  
Стынь, сердце-пустырь.  
Точно полог, звездами затканый,  
Трепещет ширь.  
О река, невеста названная,  
Смерть твою  
Пою.

И, один, по ночам — окаянный —  
Грудь  
Твою  
Целую.

<1921—1922>

## ЧЕРКЕШЕНКА

Когда заря прозрачной глыбой  
придавит воздух над землей,  
с горы, на колокол похожей,  
летят двускатные орлы;  
идут граненые деревья  
в свое волшебное кочевье;  
верхушка тлеет, как свеча,  
пустыми кольцами брэнча;  
а там за ними, наверху,  
вершиной пышною качая,  
старик Эльбрус рахат-лукум  
готовит нам и чашку чая.

И выплывает вдруг Кавказ  
пятисосцовою громадой,  
как будто праздничный баркас,  
в провал парадный Ленинграда,  
а там — черкешенка поет  
перед витриной самоварной,  
ей Тула делает фокстрот,  
Тамбов сапожки примеряет,  
но Терек мечется в груди,  
ревет в разорванные губы —  
и трупом падает она,  
смыкая руки в треугольник.

Нева Арагвою течет,  
а звездам — слава и почет:  
они на трупик известковый  
венец построили свинцовый,  
и спит она... прости ей Бог!  
Над ней колыхнется венок,  
и вкось несется по теченью  
луны путиловской движенье.

И я стою — от света белый,  
я в море черное гляжу,  
и мир двоится предо мною  
на два огромных сапога —  
один шагает по Эльбрусу,  
другой по-фински говорит,  
и оба вместе убегают,  
гремя по морю — на восток.

*Янв. 1926*

## Х л о я

Если сок твой неизменен,  
 Трубадурская душа,  
 Если песни, как каменья,  
 Упадают и блестят,  
 Если даже в этом мире  
 Чудотворном и крутом  
 В мавританские псалтири  
 Скользкой уткой побежал,—  
 Не надейся и ушами  
 На сигнал не поводи,  
 И морщинистый листочек  
 В рукаве до утра прячь.

## Я

Хлоя, Хлоя, тонкой ранкой  
 Сердце жалуется мне,  
 И перо в мохнатой банке  
 Тушью траурной чертит.  
 Я не волен жизни верить —  
 Глаз бежит вокруг оси,  
 И внизу у самой двери  
 Встал с решеткой Зурбаран.

## Х л о я

Положи ярем, бессильный,  
 Разломи свое перо,  
 И малиновые крылья  
 В узелочек запакуй.  
 У приказчика Евмена  
 Каша ходит на воде —  
 Подними ему полено  
 И кофейню поверти.

## Я

Человеки ходят с брюхом,  
 От него идут лучи,  
 И мясистые науки  
 Машут маслом на него.  
 А потом, немного треснув,  
 В ящик бархатный ползет,  
 И тропическая плесень  
 Сонным заревом вверху.

## Х л о я

Встань, гордец, бумаг водитель,  
Развяжи свои глаза:  
Розовой водой омыты,  
Поднимаются миры,  
В бедрах узкая Кастилья,  
А в листочке, погляди,—  
Приклеились без усилья  
Те же Ева и Адам.

## Ф и л о с ó ф

Пойте, пойте, хвалите, хлещите в ладоши,  
Я вещам воспеваю хвалу,  
И раструбы веков мой голос множат,  
Он, как башня; стоит на юру.  
Это в них посредине движенья и громы,  
Неприметные глазу пока,  
Это в них закрутились на конях фэтоны,  
Перекрестки, моря, берега.  
И не доски — а сестры, не железы — а братья.  
Где рука твоя, Смерть, покажи!  
Пойте, пойте, хвалите, валитесь в объятья,  
Целовайтесь, никто не дрожи!

V—VI. 1926

## Д У Э Л Ь

Петух возвышается стуком,  
И падают воздуха вниз,  
Но легким домашним наукам  
Мы в этой глуши предались.  
Матильда, чьей памяти краше,  
И выше мое житье,  
Чья ручка играет, и машет,  
И мысли пугливо метет,  
Не надо! И ты, моя корка,  
И ты, голенастый стакан,  
Рассыпчатой скороговоркой  
Припомни, как жил капитан,  
Как музыкаю батальонов  
Вспоенный, сожженный дотла,  
Он шел на коне вороненом,  
В подзорный моргая кулак.  
Я знаю — таков иноземный,  
Заморский поставлен закон:

Он был обнаружен под Чесмой,  
Потом в Петербург приведен.  
На рауты у Виссарьона  
Белинского или еще  
С флакончиком одеколона  
К Матильде он шел на расчет.  
Мгновенное поле взмахнуло  
Разостланной простыней,  
И два гладкоствольные дула  
На встречу сошлись предо мной.  
Но чесменские карусели  
Еще не забыл капитан,  
И как канонады кудели  
Летели за картой в стакан.  
Другой — гейдельбергский малютка  
С размахом волос по ушам,  
Лазоревую незабудку  
Новалиса чтил по ночам.  
В те ночи, когда Страдивариус  
Вздымал по грифу ладонь,  
Лицо его вдруг раздевалось,  
Бросало одежды в огонь,  
И лезли века из-под шкафа,  
И, голову в пальцы зажав,  
Он звал рукописного графа  
И рвал коленкоровый шарф,  
Рыдал, о Матильде сучая,  
И рюмки под крышей считая,  
И перед собой представляя  
Скрипучую Вертера ночь.  
Был дождь.

Поднимались рассветы,  
По крышам рвались облака,  
С крыльца обходили кареты  
И вязли в пустые снега, —  
А два гладкоствольные дула,  
Мгновенно срывая прицел,  
Жемчужным огнем полыхнули,  
И разом обои вздохнули,  
С кровавою брызгой в лице.  
Был чесменский выстрел навывлет,  
Другой — гейдельбергский — насквозь, —  
И что-то в оранжевом мыле  
Дымилось и стружкой вилоось.  
Пока за Матильдой бежали,  
Покуда искали попа,  
Два друга друг другу пожали  
Ладони под кровью рубах.

Наутро, позавтракав уткой,  
Рассказывал в клубе корнет,  
Что легкой пророс незабудкой  
Остывший в дыму пистолет.  
И, слушая вздор за окошком  
И утку ладонью лова,  
Лакей виссарьоновский Прошка  
Готовил обед для себя,  
И, глядя на грохот пехоты  
И звон отлетевших годин,  
Склоняясь в кулак с позевотой,  
Роняя страницы, Смирдин.  
ВСЕ

11.VI.26

## ВОССТАНИЕ

*Фрагменты Даниилу Хармсу,  
автору «Комедии города Пе-  
тербурга»*

Стругали радугу рубанки  
В тот день испуганный, когда  
Артиллерийские мустанги  
О камни рвали поводка,  
И танки, всеми четырьмя  
Большими банками гремя,  
Валились.

.....

В мармеладный дом  
Въезжал под знаменем закон,  
Кроил портреты палашом,  
Срывал рубашечки с икон,—  
Закон брадат, священна власть,  
Как пред Законом не упасть?

.....

Цари проехали по крыше,  
Цари катали катыши,  
То издалёка, то поближе,  
И вот у самой подлой мыши  
Поперло матом из души...  
Цари запрягивались в кадку  
Грызут песок, едят помадку,  
То выпивают сладкий квас,  
То замыкают на ночь глаз,—

Совсем заснули. Ночь кружится  
Между корон, между папах;  
И вот к царю идет царица

.....

Они запрятавались в кадку,  
Грызут песок, едят помадку,  
То ищут яблоки в штанах,  
Читают мрачные альбомы,  
Вокруг династии гремят,  
А радуга стоит над домом  
И тоже, всеми четырьмя  
Большими танками гремя,  
Вдруг опустилась.

.....

На заре

Трещал Колчак в паникадило,  
И панихиду по царе  
Просвирня в дырку говорила,  
Она тряслась, клубилась, выла,  
Просила выдать ей мандат,—  
И многое другое было.

.....

В аэроплане жил солдат,  
Живет-живет,— вдруг заиграет,  
По переулку полетит,—  
Ему кричат, а он порхает  
И ручку весело вертит,—  
Все это ставлю вам на вид.

.....

Принц Вид, албанский губернатор,  
И пляской Витта одержим,  
Поехал ночью на экватор.  
Глядит: Албания бежит,  
Сама трясется не своя,  
И вот на кончике копья,  
Чулочки сдернув, над Невою,  
Перепотевшею от бою,  
На перевернутый гранит  
Вознесся Губернатор Вид.  
И это ставлю вам на вид.

.....

И видит он:

  стоят дозоры,  
На ружьях крылья отогрев,



И вдоль чугунного забора  
Застекленевшая «Аврора»  
Играет жерлами наверх,  
И вдруг завывла.

День мотался  
Между корон, между папах,  
Брюхатых залпов, венских вальсов,  
Мотался, падал, спотыкался,  
Искал царя — встречал попа,  
Искал попа — встречал солдата,  
Солдат завел аэроплан,  
И вот последняя граната,  
Нерасторопна и брюхата,  
Разорвалась...

.....

Россия взвыла,  
Копыта встали, — день ушел,  
И царские мафусаилы,  
Надев на голову мешок,  
Вдоль по карнизам и окошкам  
Развесились по всем гвоздям.  
Царь закачался и нарочно  
Кричал, что все это — пустяк,  
Что все пройдет и все остынет,  
И что отныне и навек  
На перекошенной Неве  
И потревоженной пустыне  
Его прольется благостыня.

.....

Но уж корона вокруг чела  
Другие надписи прочла.  
Все.

20.VIII.1926

## М О Р Е

Вставали горы старины,  
война вставала. Вкруг войны  
скрипя, летели валуны,  
сиянием окружены.  
Чернело море в пароход,  
и волны на его дорожке,  
как бы серебряные ложки,  
стучали. Как слепые кошки,

мерцающая около бортов,  
бесились весело. Из ртов,  
из черных ртов у них стекал  
поток горячего стекла,  
стекал и падал, надувался,  
качался, брызгал, упал,  
навстречу поднимался вал,  
и шторм кружился в буйном вальсе,  
и в паропровод кричал: «Попался!  
Ага, попался!» Или: «Ну-с,  
вытаскивай из трюма груз!»

Из трюма или забавы  
прожектор волны надавил  
и, точно каменные бабы,  
они ослепли. Ветер был  
все осторожней, тише к флагу,  
и флаг трещал как бы бумага  
надорванная. Шторм упал  
и вышел месяц наконец,  
скользнул сиянием между палуб,  
и мокрый глянец лег погреться  
у труб. На волнах шел румянец,  
зеленоватый от руля,  
губами плотно шевеля...

*Ноябрь 1926*

## БАЛЛАДА ЖУКОВСКОГО

Дворец дубовый словно ларь,  
глядит в окно курчавый царь,  
цветочки точные пред ним  
с проклятьем шепчутся глухим.  
Идет луна в пустую ночь,  
утопленник всплывает,  
идет вода с покатых плеч,  
ручьем течет на спину.  
Он вытер синие глаза,  
склонился и царю сказал:  
«Ты, царь,— хранитель мира,  
твоя восточная порфира  
полмира вытоптала прочь.  
Я жил в деревне круглой,  
и вот — мой рот обуглен,  
жена одна в гробу шумит,  
красотка-дочь с тобою спит,

мой домик стал портретом,  
а жизнь — подводным бредом!»

Царь смотрит конусом рябым,  
в окне ломает руки,  
стучит военным молотком,  
но все убиты слуги,  
одна любовница-жена  
к царю спеша подходит,  
царя по-братски кличет  
и каркает по-птичьи...

Одна нога у ней ушла,  
а тело молодое  
упало около крыльца,  
как столбик молодецкий.  
Утопленник был рад вдвойне —  
к войне он точит руки,  
берет поклажу на дыбы,  
к царю поклоном головы  
он обратился резко  
и опустился в речку.

Луна идет, кидая тень,  
царь мечется в окошке,  
дворец тихонько умирал,  
а время шло — под горку.

*Март 1927*

## Л Е Т О

Пунцовое солнце висело в длину,  
и весело было не мне одному —  
людские тела наливались, как груши,  
и зрели головки, качаясь, на них.  
Обмякли деревья. Они ожирели  
как сальные свечи. Казалось нам —  
под ними не пыльный ручей пробегает,  
а тянется толстый обрывок слюны.  
И ночь приходила. На этих лугах  
колючие звезды качались в цветах,  
шарами легли меховые овечки,  
потухли деревьев курчавые свечки;  
пехотный пастух, заседая в овражке,  
чертил диаграмму луны,  
и грызлись собаки за свой перекресток —  
кому на часах постоять...

*Авг. 1927*

## ПОХОД

Шинель двустворчатую гонит,  
В какую даль — не знаю сам,—  
Вокзалы встали коренасты,  
Воткнулись в облако кресты,  
Свертелась бледная дорога,  
Шел батальон, дышали ноги  
Мехами кожи, и винтовки —  
Стальные дула обнажив —  
Дышали холодом. Лежит,  
Она лежит — дорога хмурая,  
Дорога бледная моя.  
Отпали облака усталые,  
Склонились лица тополей,—  
И каждый помнит, где жена,  
Спокойствием окружена,  
И плач трехлетнего ребенка,  
В стакане капли, на стене —  
Плакат войны: война войне.  
На перевале меркнет день,  
И тело тонет, словно тень,  
И вот казарма встала рядом  
Громадой жирных кирпичей —  
В воротах меркнут часовые,  
Занумерованные сном.

И шел, смеялся батальон,  
И по пятам струился сон,  
И по пятам дорога хмурая  
Кренилась, падая. Вдали  
Шеренги коек рисовались,  
И наши тени раздевались,  
И падали... И снова шли...  
Ночь вылезала по бокам,  
Надув глаза, легла к ногам,  
Собачья ночь в глаза глядела,  
Дышала потом, тяготела  
По головам... Мы шли, мы шли...

В тумане плотном поутру  
Труба, бодрясь, пробила зорю,  
И лампа, споря с потолком,  
Всплыла оранжевым пятном,—  
Еще дымился под ногами  
Конец дороги, день вставал,  
И наши тени шли рядами  
По бледным стенам — на привал.

<1927>

В железной комнате военной,  
 где спит винтовок небосклон,  
 я слышу гром созвездий медный,  
 копыт размеренный трезвон.  
 Она летит — моя телега,  
 гремя квадратами колес,  
 в телеге — громкие герои  
 в красноармейских колпаках.  
 Тут пулемет, как палец, бьется,  
 тут пуля вьется сосунком,  
 тут клич военный раздается,  
 врага кидая кверху дном.  
 А конь струится через воздух,  
 спрягает тело в длинный круг  
 и режет острыми ногами  
 оглобель ровную тюрьму.

Шумят точеные цветочки,  
 ладони жмутся горячей,  
 а ночь нам пива ставит бочку,  
 бочонок тостов и речей.  
 Под грохот каменных стаканов,  
 пивную медную струю —  
 мы пьем становье истуканов,  
 в штыки построенных в бою!  
 Мы пьем — и волосы трясутся,  
 от потных рук струится пар,  
 но лица плоски точно блюдца,  
 и лампы маленький пожар  
 сползает синими струями  
 на потемневшую ладонь;  
 знамена подняты баграми,  
 и в буквах — вдавленный огонь,  
 и хохот заячий винтовок,  
 шум споров, кочки недомолвок,  
 и штык, пронзающий стакан  
 через разорванный туман!

О, штык, летающий повсюду,  
 холодный тельцем, кровяной,  
 о, штык, пронзающий Иуду,  
 коли еще — и я с тобой!  
 Я вижу — ты летишь в тумане,  
 сияя плоским острием,  
 я вижу — ты плывешь морями  
 граненым вздернутым копьём.

Где раньше Бог клубился чадный  
и мир шумел — ему свеча;  
где стаи ангелов печатных  
летели в небе, волоча  
пустые крылья шалопаев, —  
там ты несешься, искупая  
пустые вымыслы вещей —  
ты, светозарный как Кашей!

Тебе еще не та забота,  
тебе еще не тот полет —  
за море стелется пехота,  
и ты за море правишь ход.  
За море стелются отряды,  
вон — я стою, на мне — шинель  
(с глазами белыми солдата  
младенец нескольких недель).  
Я вынул маленький кисетик,  
пустую трубку без огня,  
и пули бегают как дети,  
с тоскою глядя на меня...

*Янв. 1928*

#### Ф И Г У Р Ы С Н А

Под одеялом, укрощая бег,  
фигуру сна находит человек.

Не месяц — длинное бельмо  
прельщает чашечки умов;  
не звезды — канарейки ночи  
блестящим реют многоточьем.  
А в темноте — кровати ряд,  
на них младенцы спят подряд;  
большие белые тела  
едва покрыло одеяло,  
они заснули как попало:  
один в рубахе голубой  
скатился к полу головой;  
другой, застыв в подушке душной,  
лежит сухой и золотушный,  
а третий — жирный как паук,  
раскинув рук живые снасти,  
храпит и корчится от страсти,  
лаская призрачных подруг.

А там — за черной занавеской,  
во мраке дедовских времен,  
старик отец, гремя стамеской,  
премудрости вкушает сон.  
Там шкаф глядит царем Давидом —  
он спит в короне, толстопуз;  
кушетка Евой обернулась —  
она — как девка в простыне.  
И лампа медная в окне,  
как голубок веселый Ноев, —  
едва мерцает, мрак утроив,  
с простой стамеской наравне.

*Март 1928*

### ПОПРИЩИН

Когда замерзают дороги  
И ветер шатает кресты,  
Безумными пальцами Гоголь  
Выводит горбатые сны.  
И вот, костенея от стужи,  
От непобедимой тоски,  
Качается каменный ужас,  
А ветер стреляет в виски.  
А ветер крылатку срывает,  
Взрывает седые снега  
И вдруг, по суставам спадая,  
Ложится — покорный — к ногам.  
Откуда такое величие?  
И вот уж не демон, а тот —  
Бровями взлетает Поприщин,  
Лицо поднимает вперед.  
Крутись в департаментах, ветер,  
Разбрызгивай перья в поток,  
Раскрыв перламутровый веер,  
Испания встанет у ног.  
Лиловой червонной мантильей  
Взмахнет на родные поля,  
И шумная выйдет Севилья  
Встречать своего короля.  
А он — исхудалый и тонкий,  
В сиянье страдальческих глаз,  
Поднимется...

...Снова потемки,

Кровать, сторожа, матрас,  
Рубаха под мышками режет,

Скулит, надрывается Меджи,  
И брезжит в окошке рассвет.  
Хлещи в департаментах, ветер,  
Взметай по проспекту снега,  
Вали под сугробы карету  
Сиятельного седока.  
По окнам, колоннам, подъездам,  
По аркам бетонных свай  
Срывай генеральские звезды,  
В сугробы мосты зарывай.  
Он вытянул руки, несется,  
Ревет в ледяную трубу,  
За ним снеговые уродцы,  
Свернувшись, по крышам бегут.  
Хватаются  
За колокольни,  
Врываются  
В колокола,  
Ложатся в кирпичные бойни  
И снова летят из угла  
Туда, где в последней отваге  
Встречая слепой ураган, —  
Качается в белой рубахе  
И с мертвым лицом —  
Фердинанд.

<1928>

#### РУКИ

Пером спокойным вам не передать,  
Что чувствует сегодня сердце, роясь  
В глубинах тела моего.  
Стою один — опущенный по пояс  
В большое горе. Горе, как вода,  
Течет вокруг: как темная звезда —  
Стоит над головой. Просторное, большое —  
Оно отяготело навсегда, —  
Большая темная вода.  
Возьму крупинками разбросанное счастье,  
Переломлю два лучика звезды,  
У девушки лицо перецелую,  
Переболею до конца искусство,  
Всегда один, — я сохраню мою  
Простую жизнь. Но почему она,  
Она меня переболеть не хочет?  
И каждый час, и каждый миг  
Сознания открывается родник:



У жизни два крыла, и каждое из них  
Едва касается трудов моих.  
Они летят — распахнуты, далече,  
Ночуют на холодных площадях,  
Наутро бьются в окна учреждений,  
В заводские летают корпуса,—  
И вот — теплом обвеянные лица  
Готовы на работе слиться.  
Мне кажется тогда:  
Какая жизнь!  
И неужели это так и нужно,  
Чтоб в отдаленье жил писатель  
И вечно неудобный, как ребенок?  
Я говорю себе: не может быть,  
И должен я совсем иначе жить.  
Не может быть!  
И жарок лёт минут,  
И длится ожиданье,  
И тонкие часы поют,  
И вечер опустился на ладони,  
И вот я увидал большие руки —  
Они росли всегда со мной,  
Чуть розоватые и выпуклые, и в морщинках,  
И в узелочках жил,— сейчас они тверды,  
Напряжены едва заметной дрожью,  
Они спокойные и просятся к труду.  
Я руки положу на подоконник —  
Они спокойнее и тише станут,  
Их ночью звезды обольют,  
К ним утром зори прикоснутся,  
Согреет кожу трудовое солнце,  
Ну, а сейчас...  
Сейчас пускай дрожат,—  
Им все равно за мыслью не угнаться,  
Она растрескалась, летит, изнемогая,  
И все-таки еще твердит:  
Простая,  
Совсем простая — наша жизнь!

<1928>

#### М Е Ч Т Ы О Ж Е Н И Т Ь Б Е

Через двадцать или тридцать лет  
Стану я, наверно, лыс и сед.  
Вот и встанет тогда передо мной  
Вопрос о женитьбе моей роковой.

Всю жизнь врачаю,  
Как больного, болеющего грыжей,  
В тот миг ужасный полечу я  
В объятия бесстыжей.  
Уж гроб, пронзительно летая,  
Вокруг меня жужжит всю ночь,  
Уж пальцев судорожных стая  
Свое перо прогонит прочь;  
И, убеясь своей сединой,  
Я буду двигать челюстью ослиной  
И над красоткою шептать:  
«О милая, быть может, спать  
Пора». И вот перстом дрожащим  
С табачным желтым ноготком  
Я проберусь по ножке восходящей  
И, заливаясь хохотком,  
Два мерзкие бесстыдные словечка  
Шепну в ушко. Застонет свечка,  
Застонет юность, обернувшись вспять,  
Застонет теплая квадратная кровать,  
И под костлявым стариковским тазом  
Две хари на стене причмокнут разом.

*Авг. 1928*

## ПАДЕНИЕ ПЕТРОВОЙ

### 1

В легком шепоте ломаясь,  
среди пальмы пышных веток,  
она сидела, колыхаясь,  
в центре однолетних деток.  
Красотка нежная Петрова —  
она была приятна глазу.  
Платье тонкое лилово  
ее охватывало сразу.  
Она руками делала движенья,  
сгибая их во всех частях,  
как будто страсти приближенье  
предчувствовала при гостях.  
То самоварчик открывала  
посредством маленького крана,  
то колбасу ножом стругала —  
белолица, как Светлана.  
То очень долго извинялась,  
что комната не прибрана,

то, сияя, улыбалась  
молоденькому Киприну.

Киприн был гитары друг,  
сидел на стуле он в штанах  
и среди своих подруг  
говорил красотке «ах!» —  
что не стоят беспокойства  
эти мелкие досады,  
что домашнее устройство  
есть для женщины преграда,  
что, стремясь к жизни новой,  
обедать нам приходится в столовой,  
и как ни странно это утверждать —  
женщину следует обожать.

Киприн был при этом слове  
неожиданно красив,  
вдохновенья неземного  
он почувствовал прилив.  
«Ах, — сказал он, — это не бывало  
среди всех злодейств судьбы,  
чтобы с женщин покрывало  
мы сорвать теперь могли...  
Рыцарь должен быть мужчина!  
Свою даму обожать!  
Посреди другого чина  
стараться ручку ей пожать,  
глядеть в глазок с возвышенной любовью,  
едва она лишь только бровью  
между прочим поведет —  
настоящий мужчина свою жизнь отдает!  
А теперь, друзья, какое  
всюду отупенье нрава —  
нету женщине покоя,  
повсюду распушенная орава, —  
деву за руки хватают,  
всюду трогают ее —  
о нет! Этого не понимает  
все мое существо!»

Он кончил. Девочки, поправив  
свои платья у коленок,  
разгореться были вправе —  
какой у них явился пленник!  
Иная, зеркальце открыв,  
носик трет пуховкой нежной,  
другая в этот перерыв

запела песенку, как будто бы небрежно:  
«Ах, как это благородно  
с вашей стороны!»  
Сказала третья, закатив глазок дородный,—  
«Мы пред мужчинами как будто бы  
обнажены,  
все мужчины — фу, какая низость! —  
на телесную рассчитывают близость,  
иные — прямо неудобно  
сказать — на что способны!»

«О, какое униженье! —  
вскричал Киприн, вскочив со стула: —  
На какое страшное крушенье  
наша движется культура!  
Не хвастаясь перед вами, заявляю —  
всех женщин за сестер я почитаю».

Девочки, надувши губки,  
молча стали удаляться  
и, поправив свои юбки,  
стали перед хозяйкой извиняться.  
Петрова им в ответ слагает  
тоже много извинений,  
их до двери провожает  
и приглашает заходить без промедленья.

2

Вечер дышит как магнит,  
лампа тлеет оловянно.  
Киприн за столиком сидит,  
улыбаясь грядущему туманно.  
Петрова входит розовая вся,  
снова плещет самоварчик,  
хозяйка, чашки разнося,  
говорит: «Какой вы мальчик!  
Вам недоступны треволненья,  
движенья женские души,  
любви тайные стремленья,  
когда одна в ночной тиши  
сидишь, как детка, на кровати,  
бессонной грезю томима,  
тихонько книжечку читаешь,  
себя героиней воображаешь,  
то маслишь губки красной краской,  
то на дверь глядишь с опаской —

а вдруг войдет любимый мой?  
Ах, что я говорю! Боже мой!»

Петрова вся зарделась нежно,  
Киприн задумчивый сидит,  
чешет волосы небрежно  
и про себя губами шевелит.  
Наконец с тоской пророка  
он вскричал, от муки бледен:  
«Увы, такого страшного урока  
не мыслил я найти на свете!  
Вы мне казались женщиной иной  
среди тех бездушных кукол,  
и я — безумец дорогой,—  
как мечту свою баюкал,  
как имя нежное шептал,  
Петрову звал во мраке ночи!  
Ты была для меня идеал —  
пойми, Петрова, если хочешь!»

Петрова вскрикнула, рыдая,  
гостью руки протянула  
и шепчет: «Я — твоя Аглая,  
бери меня скорей со стула!  
Неужели сказка любви дорогой  
между нами зародилась?»

Киприн отпрянул: «Боже мой,  
как она развеселилась!  
Нет! Прости мечты былые,  
прости довольно частые визиты —  
мои желанья неземные  
с сегодняшнего дня неизвестностью покрыты.  
Образ неземной мадонны  
в твоем лице я почитал —  
и что же ныне я узнал?  
Среди тех бездушных кукол  
вы — бездушная змея!  
Покуда я мечту баюкал,  
свои желанья затая,  
вы сами проситесь к любви!  
О, как унять волненье крови?  
Безумец! Что я здесь нашел?  
Пошел отсюда, дурак, пошел!»

Киприн исчез. Петрова плачет,  
дрожа, играет на рояле,

припудрившись, с соседями судачит,  
и спит, не раздевшись, на одеяле.  
Наутро, службу соблюдая,  
сидит с машинкой, увядая,  
стучит на счетах одной рукой...  
А жизнь идет сама собой.

*11—15 ноября 1928*

## О Б Е Д

Мы разогнем усталые тела.  
Прекрасный вечер тает за окошком.  
Приготовление пищи так приятно —  
красивое искусство жить!

Картофелины мечутся в кастрюльке,  
головками младенческими шевеля,  
багровым слизняком повисло мясо,  
тяжелое и липкое, едва  
его глотает бледная вода —  
полощет медленно и тихо розовеет,  
а мясо расправляется в длину  
и — обнаженное — идет ко дну.

Вот луковицы выбегают,  
скрипят прозрачной скорлупой  
и вдруг, вывертываясь из нее,  
прекрасной наготой блистают;  
тут шевелится толстая морковь,  
кружками падая на блюдо,  
там прячется лукавый сельдерей  
в коронки тонкие кудрей,  
и репа твердой выструганной грудью  
качается атланта тяжелей.

Прекрасный вечер тает за окном,  
но овощи блистают, словно днем.  
Их соберем спокойными руками,  
омоем бледною водой,  
они согреются в ладонях  
и медленно опустятся ко дну.  
И вспыхнет примус венчиком звенящим —  
коротконогий карлик домовый.

И это — смерть. Когда б видали мы  
не эти площади, не эти стены,

а недра тепловатые земель,  
согретые весеннею истомой;  
когда б мы видели в сиянии лучей  
блаженное младенчество растений,—  
мы, верно б, опустились на колени  
перед кипящею кастрюлькой овощей.

1929

## СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Видишь — воздух шевелится?  
В нем, как думают студенты,  
кислородные частицы  
падают, едва заметны.

Если, в случае мороза,  
мы, в трамвае сидя, дышим —  
словно столб, идет из носа  
дым, дыханием колышим.

Если ж человек невиден,  
худ и бледен,— очень просто! —  
не сиди на стуле, сидень,  
выходи гулять на воздух!

Оттого, детина, вянешь,  
что в квартире воздух тяжкий,  
ни духами не обманешь,  
ни французскою бумажкой.

В нем частицы все сваялись  
вроде войлока сухого,  
оттого у всех вначале  
грудь бывает нездоровая.

Если где-нибудь писатель  
ходит с трубкою табачной —  
значит, он имеет сзади  
вид унылый и невзрачный.

Почему он ходит задом?  
Отчего пропала сила?  
Оттого, что трубка с ядом,  
а в груди сидит бацилла.

Почему иная дева  
вид имеет некрасивый,  
ходит тощая, как дерево,  
и глаза висят, как сливы?

Потому плоха девица  
и на дерево походит,  
что полезные частицы  
в нос девице не проходят.

У красотки шарфик модный  
вокруг шеи так намотан,  
что под носом воздух — плотный  
и дышать осталось — потом.

О полезная природа,  
исцели страданья наши,  
дай частицу кислорода  
или две частицы даже!

Дай сознанию удивиться,  
и тотчас передо мной  
отвори свою больницу —  
холод, солнце и покой!

1929

## ДЕТСТВО ЛУТОНИ

### Б а б к а

В поле ветер-великан  
Ломит дерево-сосну.  
Во хлеву ревет баран.  
А я чашки сполосну.  
А я чашки вытираю,  
Тихим гласом напеваю:  
«Ветер, ветер, белый конь,  
Нашу горницу не тронь».

### Л у т о н я

Баба, баба, ветер где?

### Б а б к а

Ветер ходит по воде.

### Л у т о н я

Баба, баба, где вода?



## Б а б к а

Убежала в города.

## Л у т о н я

Баба, баба, мне приснился  
Чудный город Ленинград.  
Там на крепости старинной  
Пушки длинные стоят.  
Там на крепости старинной  
Мертвый царь сидит в меху,  
Люди воют, дети плачут,  
Царь танцует, как дитя.

## Б а б к а

Успокойся, мой Лутоня,  
Разум ночью не пытай.  
За окошком вьюга стонет,  
Налетая на сарай.  
Погасили бабы свечки,  
Сядем, дети, возле печки,  
Перед печкой, над огнем  
Мы Захарку запоем.

Дети садятся вокруг печки. Бабка раздает каждому  
по зажженной лучинке.  
Дети машут ими в воздухе и поют.

## Д е т и

Гори, гори жарко,  
Приехал Захарка.  
Сам на тележке,  
Жена на кобылке,  
Детки в санках,  
В черных шапках.

## Б а б к а

Закачался мир подлунный,  
Вздогнул месяц и погас.  
Кто тут ходит весь чугунный,  
Кто тут бродит возле нас?  
Велики его ладони,  
Тяжелы его шаги.  
Под окном топочут кони.  
Боже, деткам помощи.

## З а х а р к а

*(входит)*

Поднимите руки, дети,  
Разогните пальцы мне.

Вон Лутонька на повети,  
Как чертенок, при луне.  
*(Бросается на Лутоню.)*

Лу то н я

Пощади меня, луна!  
Защити меня, стена!

Перед Лутоней поднимается стена.

За х а р к а

Дети, дети, руки выше,  
Слышу, как Лутонька дышит.  
Вон сидит он за стеной,  
Закрывается травой.  
*(Бросается на Лутоню.)*

Лу то н я

Встаньте, травки, до небес,  
Станьте, травки, словно лес!

Трава превращается в лес.

За х а р к а

Дети, вытяните руки  
Выше, выше, до небес.  
Стал Лутонька меньше мухи,  
Вкруг него дремучий лес.  
Вкруг него лихие звери  
Словно ангелы стоят.  
Это кто стучится в двери?

З в е р и

*(вбегая в комнату)*

Чудный город Ленинград!

Лу то н я

В чудном граде Ленинграде  
На возвышенной игле  
Светлый вертится кораблик  
И сверкает при луне.  
Под корабликом железным  
Люди в дудочки поют,  
Убиенного Захарку  
В домик с башнями ведут!

1931

## СОЛДАТСКАЯ ПЕСНЯ

Винтовка в гости прилетела,  
Винтовка тульского двора.  
Она садилась на колени  
И песню грустную вела:

«Ты чего грустишь, хозяин,  
Чего ты ручки опустил?  
Иль тоска тебя заела,  
Иль задумал о другом?»

«Я того грущу, конечно,  
Что разлука между нас.  
Когда я гулять имею,  
Ты единая лежишь.

А когда ты гулять имеешь,  
Я один, как перст, стою.  
Лишь горьки слезыньки глотаю  
Да на дорогу выхожу».

А на дороге разны люди  
Промеж собою говорят:  
«Сколько жалко пропадает  
Здесь Калинкина душа».

## ОСЕНЬ

### 1

В овчинной мантии, в короне из собаки,  
стоял мужик на берегу реки,  
сияли на траве, как водяные знаки,  
его коровьи сапоги.  
Его лицо изображало  
так много мук,  
что даже дерево — и то, склонясь, дрожало  
и нитку вить переставал паук.

Мужик стоял и говорил:  
«Холм предков мне не мил.  
Моя изба стоит как дура,  
и рушится ее старинная архитектура,  
и печки дедовский портал

уже не посещают тараканы —  
ни черные, ни рыжие, ни великаны,  
ни маленькие. А внутри сооружения,  
где раньше груды бревен зажигалась,  
чтобы сварить убитое животное, —  
там дырка до земли образовалась,  
и холодное

дыханье ветра, вылетая из подполья,  
колеблет колыбельное дреколье,  
спустившееся с потолка и тяжело  
храпящее.

Приветствую тебя, светило заходящее,  
которое избу мою ласкало  
своим лучом! Которое взрастило  
в моем старинном огороде  
большие бомбы драгоценных свекол!  
Как много ярких стекол  
ты зажигало вдруг над головой быка,  
чтобы очей его соединение  
не выражало первобытного страдания!  
О солнце, до свидания!

Недолго жить моей избе:  
едят жуки ее сухие массы,  
и ломают гусеницы нужников контрфорсы,  
и червь земли, большой и лупоглазый,  
сидит на крыше и как царь поет».

Мужик замолк. Из торбы достает  
пирог с говяжьей требухой  
и наполняет пищую плохую  
свой невзыскательный желудок.  
Имея пару женских грудок,  
журавль на циркульном сияет колесе,  
и под его печальным наблюденьем  
деревья кажутся унылым сновиденьем,  
поставленным над крышами избушек.  
И много желтых завитушек  
летает в воздухе. И осень входит к нам,  
рубая деревья ломая пополам.

О, слушай, слушай хлопанье рубах!  
Ведь в каждом дереве сидит могучий Бах  
и в каждом камне Ганнибал таится.  
Вот наступает ночь. Река не шевелится.  
Не дрогнет лес. И в страшной тишине,  
как только ветер пролетает,  
ночное дерево к луне  
большие руки поднимает

и начинает петь. Качаясь и дрожа,  
оно поет, и вся его душа  
как будто хочет вырваться из древесины,  
но сучья заплелись в огромные корзины,  
и корни крепки, и земля кругом,  
и нету выхода, и дерево с открытым ртом  
стоит, сражаясь с воздухом и плача.

Нелегкая задача —  
разбить синонимы: природа и тюрьма.

Мужик молчал, и все способности ума  
в нем одновременно и чудно напрягались,  
но мысли складывались, и рассыпались,  
и снова складывались. И наконец, поймав  
себя на созерцании растенья,  
мужик сказал: «Достоинно удивленья,  
что внутренности таракана  
на маленькой ладошке микроскопа  
меня волнуют так же, как Европа  
с ее безумными сраженьями.  
Мы свыклись с многочисленными положеньями  
своей судьбы, но это нестерпимо —  
природу миновать безумно мимо».  
И туловище мужика  
вдруг принимает очертания жука,  
скатавшего последний шарик мысли,  
и ночь кругом, и бревна стен нависли,  
и предки равнодушно толпой  
сидят в траве и кажутся травой.

2

Мужик идет в колхозный новый дом,  
построенный невиданным трудом,  
в тот самый дом, который есть начало  
того, что жизнь сквозь битвы обещала.  
Мужик идет на общие поля,  
он наблюдает хлеба помещенье,  
он слушает, как плотная земля  
готова дать любое превращенье  
посеянному семени, глядит  
в скелет машин, которые, как дети,  
стоят, мерца в неподвижном свете  
осенних звезд и важно шевелит  
при размышлении тяжелыми бровями.  
Корова хвастается жирными кровями,  
дом хвалится и светом и теплом,

но у машины есть иное свойство —  
она внушает страх и беспокойство  
тому, кто жил печальным бирюком  
среди даров и немощей природы.  
Мужик идет в большие огороды,  
где посреди сияющих теплиц  
лежат плоды, закрытые от птиц  
и первых заморозков. Круглые, литые,  
плоды лежат как солнца золотые,  
исполненные чистого тепла.  
И каждая фигура так кругла,  
так чисто выписана, так полна собою,  
что, истомленный долгою борьбою,  
мужик глядит и чувствует, что в нем  
вдруг зажигается неведомым огнем  
его душа. В природе откровенной,  
такой суровой, злой, несовершенной,  
такой роскошной и такой скупой, —  
есть сила чудная. Бери ее рукой,  
дыши ей, обновляй ее частицы —  
и будешь ты свободней легкой птицы  
среди совершенных рек и просвещенных скал.  
От мужика все дале отступал  
дом прадедов с его высокой тенью,  
и чувство нежности к живому поколенью  
влекло его вперед на много дней.  
Мир должен быть иным. Мир должен быть круглей,  
величественней, чище, справедливей,  
мир должен быть разумней и счастливей,  
чем раньше был и чем он есть сейчас.  
Да, это так. Мужик в последний раз  
глядит на яблоки и, набивая трубку,  
спешит домой. Над ним, подобно кубку,  
сияет в небе чистая звезда,  
и тихо все. И только шум листа,  
упавшего с ветвей, и посередине мира —  
лик Осени, заснувшей у клавира.

1932

### [ П А С Т У Х И ]

#### П а с т у х и

- Возникновение этих фигурок  
В чистом пространстве небосклона  
Для меня более чем странно.
- Струи фонтана

Менее прозрачны, чем их крылья.  
— Обратите внимание на изобилие  
Пальмовых веток, которые они держат в своих ручках.  
— Некоторые из них в тувельках, другие в онучках.  
— Смотрите, как сверкают у них перышки.  
— Некоторые — толстяки, другие — заморышки.  
— Горлышки  
Этих созданий трепещут от пения.  
— Терпение!  
Через минуту мы узнаем кой-какие новости.  
— В нашей волости  
Была икона с подобными изображениями.  
— А я видал у бати книгу,  
Где мужичок такой пернатый  
Из пальцев сделанную фигу  
Казал рукой продолговатой.  
— Дурашка! Он благословлял народы.  
— И эти тоже ангелочки  
Благословляют, сняв порточки,  
Земли возвышенные точки.  
— Послушайте, они дудят в серебряные дудочки.  
— Только что они были там, а теперь туточки.

#### П е н и е

Из глубин, где полдень жарок,  
Где прозрачный воздух жарок,  
Мы, подобье малых деток,  
Принесли земле подарок.  
Мы — подобье малых деток,  
Смотрит месяц между веток,  
Звезды робкие проснулись,  
В небесах пошевелились.

#### Б ы к

Смутно в очах,  
Мир на плечах.  
В землю гляжу,  
Тяжко хожу.

#### П е н и е

Бык ты, бык, ночной мыслитель,  
Отвори глаза слепые,  
Дай в твое проникнуть сердце,  
Прочитать страданий книгу!  
Дай в твое проникнуть сердце,  
Дай твою подумать думу,  
Дай твою земную силу  
Силой неба опоясать!

## П а с т у х и

- Кажется, эти летающие дурни разговаривают с коровами?
- Уже небеса делаются багровыми.
- Скоро вечер. Не будем на них обращать внимания.
- Эй, создания!

## П Т И Ц Ы

*Поэма*

Если строение голубя хочешь узнать ты — какие жилы в нем есть, как крылья устроены, ноги, как расположены органы в нем и, подвешены чудно, между костей образуют они тройную фигурку, — надобно прежде доску найти; острым рубанком наглядко всю обстругать, натереть ее маслом, дать на ветру повисеть, чтобы масло в древесные поры плотно вошло и неровности все затянуло. Дале свои приготовь, ученик, инструменты: ванночку с дном восковым, чашку с водою прозрачной, острых булавок кошель, бечевку, весы с разновесом, руки начисто вымой и будь предо мной наготове.

Птицы, пустынники воздуха, жители неба!  
Певчие славки, дрозды, соловьи, коноплянки!  
Флейточки бросьте свои, полно свистать вам да щелкать.  
Также и ты, дятел, оставь деревянный органчик.  
Старый ты органист, твои мне известны проказы, как о сухие сучки барабанишь ты клювом, — гулко дрожит инструмент, дребезжащие звуки Арр и Эрр по окрестностям ветер разносит.  
После, я знаю, ты выберешь сук подлиннее, звук получается тоньше, а третий урчит колотушкой.  
О, деревянная музыка старого чистого леса!  
Первый существ разговор, колыбель человеческой речи!

Будь же мне, дятел, свидетелем, также и вы, музыканты, с птицами я не враждую, жертва моя не кровава.  
Скуден мой разум, ногами к земле пригвожденный, вы же по воздуху, чистые птицы, парите.  
Ястребом быть я хотел бы, но тонки и немощны руки, соколом быть я хотел бы, но тело летать не умеет, был бы орлом я, но вместо орлиного клюва мягкий мой рот в бороде шевелится косматой.



Птицы, откройте глаза мне! Птицы, скажите — откуда вы появились? Какую вы носите тайну?  
Как разгадать мне кукушки таинственной время,  
азбуку ворона, голубя счет и гербовник?

Делай так, ученик, как я говорю. Приготовь свою доску.  
Голубя навзничь рукой опрокинь. Маховые перья вверх оттяни, закрепи на доске их винтами так, чтобы крыльев вершины в углах оказались.  
Дале две тонких бечевки возьми, завяжи на них петли, петли на ножки закинь и концы закрепи на свободных нижних углах, только смотри, чтоб бечевки крепко натянуты были и тело не двигалось больше.

Вот он лежит перед нами — голубь, небесная птица, гость колоколен, житель стропил деревянных.  
Сбоку имеет он чистые синие крылья, сверху головку в венчике тонкого света.  
Ты же не бойся, но, руку в сосуд окуная, перья и пух торопись ощипать на груди и на брюшке, далее — скальпелем сделай надрез посредине маленькой грудки, где киль возвышается длинный.  
Славен киль в кораблях, острый могуч в пароходах, крепко устроил его человек себе на потребу.  
Как же, подумай, должны мы прославить легчайший, маленький голубя киль — прообраз людского строения!

Ну-ка, мальчик, придвинь свою доску. Но что там случилось?

Ты побледнел и к окошку бросился. Чьи это крики ветер донес до меня? Крики все громче и громче. Птицы! Птицы летят! Воздух готов разорваться, сотнями крыл рассекаемый. Вот уж и солнце померкло, крыша пошла ходуном — птицы на ней. А другие лезут в трубу. Третьи к стеклу прислонились, кажут мне клювы свои, дают стекло, друг на дружку прыгают, бьются, с криком щеколду ломают. Птицы, чур меня, чур! Стойте, я сам! Подождите! Ты, сорока, черт бы побрал тебя! Вечно хочешь вперед заскочить. Перестань своим клювом дубасить!

Полно стучать по стеклу. Сломаешь стекло — не поставишь новое. Ну-ка, пичужки, раздвиньтесь немного, полно валять дурака. Вы, длинноносые цапли, прочь подайтесь. Так. Убери свою лапу, ворона! Как прищемлю — будешь потом две недели, словно безумная, каркать. Вот и открылось окошко.

Ну, залетайте живой! Вот вам скамейки и стулья.  
Вы, малыши: сойки, малиновки, славки,  
сядьте вперед, чтобы всем было видно. Вороны,  
дятлы, ястребы, совы, за ними садитесь. На спинки  
сядут пусть глухари. Ты, синица, садись на подсвечник,  
зяблик, ты на часы, только стрелок не трогай. Придется  
ширму еще пододвинуть, а то соловью и кукушке  
некуда сесть. Сорока, потише ты с лампой!  
Хоть и сверкает она, но в гнездо ты ее не утащишь.  
Тише теперь. Пора продолжать нам работу.

Странное органов нам приоткрылось селенье:  
дудочки, ветви, мешочки; одни красноваты, другие  
сини, иные прозрачны... Меж ними тончайшие пленки  
всюду проложены. Трубки стеклянный кусочек  
ты отыщи, ученик, и, в отверстье трахеи засунув,  
дуй осторожно в него. Видишь — прозрачные пленки,  
как пузыри, раздуваются. Ну-ка, пичужки, скажите —  
как на полете вы дышите? Воздух откуда берете?  
Если бы не было в вас этих воздушных мешочков,  
разве бы вы наверху не задохнулись от ветра?

Должно теперь нам разбиться на три отдельные группы.  
Дятел в первой группе будет вожак. Пересмешник  
будет в группе второй, цапля — в третьей. Смотри сюда,  
дятел.

В этой сумочке сердце лежит голубиное. В черные лапы  
ножницы тыхвати и разрежь ими сумочку. Видишь —  
вот оно — сердце! Пересмешник, ты красную печень  
вынь, а за ней — селезенку. Теперь из утробы  
вытянуть надобно зоб с пищеводом, кишки и желудок,  
все разрезать, промыть и в ванночке к дну восковому  
крепко пришиллить булавками. А где длинноносая цапля?  
Ты, цапля, мозгом займешься. Возьми-ка головку покрепче,  
кожу на ней заверни и сними, как перчатку. Смотрите,  
череп уже обнажился. Теперь, чтобы кость не мешала,  
нужно ее состругать — она не тверда. Начинай же!

Вот и окончены наши труды. Перед нами  
голубя тонкие кости, органы, нервы, сосуды  
кучкой лежат. Разрезанный ножиком острым,  
голубь больше не птица и вместе с подругой на крышу  
больше не вылетит он. Даже если бы мы захотели  
органы снова сложить и привесить к костям, и сосуды  
так протянуть, чтобы кровь побежала по жилам,  
мускулы так сочетать, как прежде они сочетались,  
чтобы все тело прежний приняло вид, — и тогда бы

голубь не ожил... Бессильна рука человека —  
то, что однажды убито,— она воскресить не умеет.

Если бы воля моя уподобилась воле Природы,  
если бы слово мое уподобилось вещему слову,  
если бы все, что я вижу — животные, птицы, деревья,  
камни, реки, озера,— вполне однородным составом  
чуждого тела мне представлялись — тогда, без сомнения,  
был бы я лучший творец, и разум бы мой не метался,  
шествуя верным путем. Даже в потемках науки  
что-то мне и сейчас говорит о могучем составе  
мира, где все перемены направлены мудро  
только к тому, чтобы старые, дряхлые формы  
в новые отлиты были, лучшего вида сосуды.

Сядем, птицы, за стол. Ужинать будем. Останки  
голубя кушайте, вороны! То, что вверху ворковало,  
путь вам на пользу послужит. Вы, перепелки, овсянки,  
клюйте крупу — вот она. Прочие птицы,  
вот вам лукошко червей и гусениц полная миска.  
Видите, как извиваются? Эти, с мохнатою спинкой,—  
очень вкусны. Эти как будто колбаски  
нитками в разных местах перетянуты. Длинные рожки  
эти вперед выставляют. А те на хвосте и головке  
прочно стоят, образуя высокую дужку.  
Славные это созданья! Клюйте их, рвите, крошите!  
Нам же неси, ученик, жирное мясо коровы.  
Славно оно уварилось, и суп получился чудесный.  
Также и хлеба нарежь, и луку насыпь на тарелку,  
перцу поставь, чтобы сразу согрелся желудок.  
Чуть не забыл! Посмотри-ка, на полке за ступкой  
в сером пакетике должен еще оставаться  
старый пучок чеснока. Есть? Тащи его, мальчик.  
Эту головку тебе, эту мне. Начинай же.

Тихий закат над землею повис. Красноватые пятна  
на пол ложатся от стекол. Таинственный отдых природы  
близок. Мальчик, открой-ка нам дверь и вечернюю шляпу  
дай мне с гвоздя. Привет тебе, ясный мой вечер,  
вечер жизни моей, старость моя! Скоро-скоро  
лягу и я отдохнуть, и над вечной моею постелью  
пусть плывут облака, и птицы летят, и планеты  
ходят своим чередом. И чем ближе мой срок, тем все больше,  
птицы, люблю я вас. Малые дети Вселенной,  
крошки, зверушки воздушные, жизни животной кусочки,  
в воздух подъятые, что вы с таким беспокойством  
смотрите все на меня? Что притихли? Давайте-ка вместе  
выйдем отсюда и солнце проводим на отдых.

Ну, шагайте, дети мои. За большим вечереющим лесом село светлое солнце. Лучи из-за края земного чуть долетают до облак. Верхушки вечерних деревьев в красном сиянье стоят. Облаков золотые фигуры, тихо колеблясь и форму свою изменяя, медленно движутся в воздухе. Вон голова исполина, вон воздушная лошадь. За нею три облака, слившись, Лаокоона приняли форму. А там, возле леса, движется облачный всадник, и ветер ему отделяет голову с правой рукой и на запад тихонько относит.

Вечер, вечер, привет тебе! Дятлы и грузные цапли важно шагают рядом со мной. Перепелки, славки, овсянки стайками носятся, то опускаясь, то поднимаясь опять, и вверху над моей головою звонко щебечут. Малиновка, стаю покинув, вдруг на плечо уселась и мягкой своею головкой прямо к щеке прислонилась. Дурочка, что ты? Быть может, хочешь сказать мне что-нибудь? Нет? Посмотри-ка на небо, видишь — как летят облака? Мы с тобою, малютка, тоже, наверно, два облачка, только одно с бороною, с легким другое крылом — и оба растаем навеки.

Вот и дороге конец. На холмик зеленый поднявшись, дальше мы не пойдем. Маленький краешек солнца виден отсюда еще. Ну, мои дети, прощайте. Спать, спать пора. Завтра чудесное утро выйдет на землю, и солнце, умывшись росой, в гнезда ваши заглянет и лучиком тонким откроет чистые ваши глаза! И вот поднимается стая, с шумом крыла распахнув, с криком уносится к лесу, словно прощаясь со мной. И вослед ей другая взлетает прямо от ног. Прощайте, прощайте! И третья, прыгнув с земли, отделяется в воздух. Все дальше и дальше птицы летят, и солнце косыми лучами их заливаает и в розовый красит оттенок.

Только малиновка все еще тут. Глупая птичка! Что ж ты осталась? Иди в мои руки, малютка! Разве не видишь — ночь подходит. Люди и те уж ложатся спать — кто на полатах, кто на большом сеновале. Звери в берлогах легли, коровы в стойлах дремлют. Ходит Сон по дворам, в окошки глядит, все-то смотрит: «Кто тут не спит еще? Я вот его!» Караульщик все в колотушку стучит: «Тук-тук-тук!» Знаешь, птичка, руки вытяну я, ты с ладошки подпрыгни и быстро стаю лети догонять. Хорошо? Ну, готово, лети. Полетела.

Ходит сон по дворам... Земля моя, мать моя, лягу —  
скоро лягу и я в твои недра. Тогда, как ребенку,  
сказочку эту мне расскажи. Ходит Сон по дворам...

Все-то ходит,  
все-то смотрит: «Кто тут не спит еще? Я вот его!»...

Только эти,  
эти только слова, и больше ни слова не надо...

1933

### КУЗНЕЧИК

Настанет день, и мой забвенный прах  
Вернется в лоно зарослей и речек.  
Заснет мой ум, но в квантовых мирах  
Откроет крылья маленький кузнечик.

Над ним, пересекая небосвод,  
Мельчайших звезд возникнут очертанья,  
И он, расправив крылья, запоеет  
Свой первый гимн во славу мирозданья.

Довольствуясь осколком бытия,  
Он не поймет, что мир его чудесный  
Построила живая мысль моя,  
Мгновенно затвердевшая над бездной.

Кузнечик — дурень! Если б он узнал,  
Что все его волшебные светила  
Давным-давно подобием зеркал  
Поэзия в пространствах отразила!

1947

### НАЧАЛО СТРОЙКИ

Перед лицом лесов и косогорюв,  
Там, где повсюду камень и вода,—  
Самой природы своевольный норюв  
Препятствует усилиям труда.  
Но в день, когда построятся палатки  
И, сгоряча наткнувшись на ружье,  
Косматый зверь несется без оглядки  
В дремучее убежище свое;  
Когда в трущобах кедрь вековые,  
Под топором треща наперебой,

Вдруг накрелят свои седые вы,—  
Я не владею в этот день собой!

В какое-то короткое мгновенье  
Я наполняюсь тем избытком сил,  
Той благодатной жаждою творенья,  
Что поднимает мертвых из могил.  
Сквозь дикий мир нетронутой природы  
Мне чудятся над толпами людей  
Грядущих зданий мраморные своды  
И колоннады новых площадей.  
Я вижу бесконечные фронтоны  
Просторных улиц, ровных, как стрела,  
Сады, заводы, парки, стадионы,  
Верхи дворцов, театров купола.  
Все движется, все блещет, все бушует,  
Прожектора лучи косые льют,  
И, управляя миром, торжествует  
Свободный, стройный, вдохновенный труд.

Быть может, перед целою вселенной  
Когда-нибудь на этих площадях,  
Изваяны из бронзы драгоценной,  
Предстанем мы с кирками на плечах.  
И будут наши маленькие внуки  
Играть у ног строителей земли  
И трогать эти бронзовые руки,  
Которые все знали, все могли.

1947

#### В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Не кривить душою, не сгибаться,  
Что ни день — в дороге да в пути...  
Как ни кинь, а надобно признаться:  
Жизнь прожить — не поле перейти.

Наши окна снегом залепило,  
Еле светит лампы полукруг.  
Ты о чем сегодня загрустила,  
Ты о чем задумалась, мой друг?

Вспомни, как, бывало, в Ленинграде  
С маленьким ребенком на груди  
Ты спешила, бедствуя в блокаде,  
Сквозь огонь, что рвался впереди.

Смертную испытывая муку,  
Сын стремглав бежал перед тобой.  
Но взяла ты мальчика за руку,  
И пошли вы рядом за толпой.

О великой памяти чести,  
Ты сказала, любящая мать:  
— Умирать, мой милый, надо вместе,  
Если неизбежно умирать.

Или помнишь — в страшный день бомбежки,  
Проводив в убежище детей,  
Ты несла еды последней крошки  
Для соседки немощной своей.

Гордая огромная старуха,  
Страшная, как высохший скелет,  
Воплощеньем огненного духа  
Для тебя была на склоне лет.

И с тех пор во всех тревогах жизни,  
Весела, спокойна и ровна,  
Чем могла служила ты отчизне,  
Чтоб в беде не сгнула она.

Сколько вас, прекрасных русских женщин,  
Отдавало жизнь за Ленинград!  
Облик ваш веками нам завещан,  
Но теперь украшен он стократ.

Если б солнца не было на небе,  
Вы бы солнцем стали для людей,  
Чтобы, век не думая о хлебе,  
Зажигать нас верою своей!

Как давно все это пережито...  
Новый год стучится у крыльца.  
Пусть войдет он, дверь у нас открыта,  
Пусть войдет и длится без конца.

Только б нам не потерять друг друга,  
Только б нам не ослабеть в пути...  
С Новым годом, милая подруга!  
Жизнь прожить — не поле перейти.

1947

Мир однолик, но двойственна природа,  
И, подражать прообразам спеша,  
В противоречьях зреет год от года  
Свободная и жадная душа.

Не странно ли, что в мировом просторе,  
В живой семье созвездий и планет  
Любовь уравнивает горе  
И тьму всегда преодолагает свет?

Недаром, совершенствуясь от века,  
Разумная природа в свой черед  
Сама себя руками человека  
Из векового праха создает.

1948

### ПЕСНЯ ДОЖДЯ

*(Подражание С. Чиковани)*

Мы спустились с Мтацминды по тропе в Окроканы.  
Запад вдруг обложили темнокожие тучи,  
Хлынул ливень, и горы, завернувшись в туманы,  
Подхватили, как песню, рокот ливня певучий.

Рощу мы миновали, и в поле пустынном  
Только два наших тела колыхались, как стрелы.  
Ветер в струны ненастья бил и гнал по долинам  
Песнь согласную капель, обжигающих тело.

Дождь застал нас врасплох, мы оглохли от гула,  
Нас тяжелые слезы иссекли, исхлестали.  
Ты, притронувшись к струнам, руку мне протянула,  
И чонгури из мрака нам в ответ простонали.

Растворились цветы, аромат источая.  
Композитор дождя, бей по струнам ненастья!  
Одинокий боярышник рвется, рыдая,  
И в глазах твоих звездных загорается счастье.

Ах, идти бы с тобой до зари, до рассвета,  
Чтобы локон волос твоих в поле курился,  
Чтоб в осеннем дожде на развалинах лета  
Платья мокрый подол вкруг колена лепился!

Словно нити, колеблются капли дождя.  
Удаляются горы, монотонно гудя.

1953



\* \* \*

Когда бы я недвижимым трупом  
Лежал, устав от бытия,—  
Людским страстям, простым и грубым,  
Уж неподвластен был бы я.

Я был бы только горстью глины,  
Я превратился бы в сосуд,  
Который девушки долины  
Порой к источнику несут.

К людским прислушиваясь тайнам  
И к перекличке вешних птиц,  
Меж ними был бы я случайным  
Соединением частиц.

Но и тогда, во тьме кромешной,  
С самим собой наедине,  
Я пел бы песню жизни грешной  
И призывал ее во сне.

1957

\* \* \*

Медленно земля поворотилась  
В сторону, несвойственную ей,  
Белым светом резко озарилась,  
Выделила множество огней.

Звездные припали астрономы  
К трубам из железа и стекла:  
Источая молнии и громы,  
Пламенем планета истекла.

И по всей вселенной полетело  
Множество обугленных частиц,  
И мое расплавленное тело  
Пало, окровавленное, ниц.

И цветок в саду у марсианки  
Вырос, полыхая, как костер,  
И листок неведомой чеканки  
Наподобье сердца распростер.

Мир подобен арфе многострунной:  
Лишь струну заденешь — и тотчас  
Кто-то сверху, радостный и юный,  
Поглядит внимательно на нас.

Красный Марс очами дико светит,  
Поредел железный круг планет.  
Сердце сердцу вовремя ответит,  
Лишь бы сердце верило в ответ.

1957

\* \* \*

Во многом знании — немалая печаль,  
Так говорил творец Экклезиаста.  
Я вовсе не мудрец, но почему так часто  
Мне жаль весь мир и человека жаль?

Природа хочет жить, и потому она  
Миллионы зерен скармливает птицам,  
Но из миллиона птиц к светилам и зарницам  
Едва ли вырывается одна.

Вселенная шумит и просит красоты,  
Кричат моря, обрызганные пеной,  
Но на холмах земли, на кладбищах вселенной  
Лишь избранные светятся цветы.

Я разве только я? Я — только краткий миг  
Чужих существований. Боже правый,  
Зачем ты создал мир, и милый и кровавый,  
И дал мне ум, чтоб я его постиг!

1957

\* \* \*

Разве ты объяснишь мне — откуда  
Эти странные образы дум?  
Отвлеки мою волю от чуда,  
Обреки на бездействие ум.

Я боюсь, что наступит мгновенье,  
И, не зная дороги к словам,  
Мысль, возникшая в муках творенья,  
Разорвет мою грудь пополам.

Промышляя искусством на свете,  
Услаждая слепые умы,  
Словно малые глупые дети,  
Веселимся над пропастью мы.

Но лишь только черед наступает,  
Обожженные крылья влача,  
Мотылек у свечи умирает,  
Чтобы вечно пылала свеча!

## ДВЕ ВСТРЕЧИ

### 1

Княжна Марья... по лицу отца, не грустному, не убитому, но злomu и неестественно над собой работающему лицу увидела, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастье.

*Л. Толстой. Война и мир*

Сраженное бессмысленной судьбой,  
Его лицо мне видится далече.  
Как неестественно, борясь с самим собой,  
Оно работало, пугаясь этой встречи!  
Два великана — воля и беда —  
Руководили страшной той работой,  
И целый мир, огромный, как всегда,  
Следил за ним с тоской и неохотой.  
Оно работало, а быстрые шаги  
Уж доносились издали, и с громом  
Открылась дверь, и в облике знакомом  
Старик прочел: «О Боже, помоги!»

1957

## НЕНАСТЬЕ

Словно что-то ожидая  
И о чем-то сожалея,  
За окном шумит пустая  
Полутемная аллея.  
Каждый вечер у забора  
Голосят и гнутся ивы.  
Или осень вправду скоро?

Иль деревья несчастливы?  
Нет, до осени далеко,  
Не навек ненастье это.  
Ведь куда ни кинешь око,  
Всюду праздник, всюду лето.  
Всюду гонит ввысь природа  
Многоцветные наряды,  
И несет ей непогода  
Море влаги и прохлады.  
Слава вам, седые тучи,  
И тебе, мое ненастье!  
Ожиданье счастья лучше,  
Чем потерянное счастье.

1957

### В Е Н Е Ц И Я

Покуда на солнце не жарко  
И город доступен ветрам,  
Войдем по ступеням Сан-Марко  
В его перламутровый храм.

Когда-то, ограбив полмира,  
Свозили сюда корабли  
Из золота, перла, порфира  
Различные дива земли.

Покинув собор Соломона,  
Египет и пышный Царьград,  
С тех пор за колонной колонна  
На цоколях этих стоят.

И точно в большие литавры,  
Считая течение минут,  
Над ними железные мавры  
В торжественный колокол бьют.

И лев на столбе из гранита  
Глядит, распростерший крыла,  
И черная книга, раскрыта,  
Под лапой его замерла.

Молчит громоносная книга,  
Владычица древних морей.  
Столица темна и двулика,  
Молчит, уподобившись ей.

Лишь голуби мечутся тучей  
Да толпы чужих заправил  
Ленивой слоняются кучей  
Среди позабытых могил.

Шагают огромные доги,  
И в тонком дыму сигарет  
Живые богини и боги  
За догами движутся вслед.

Венеция! Сказка вселенной!  
Ужель ты средь моря одна  
Их власти, тупой и надменной,  
Навеки теперь отдана?

Пленя сердца красотой,  
В сомнительный веря барыш,  
Ужель ты служанкой простою  
У собственной двери стоишь?

А где твои прежние лавры?  
И вечно ли время утрат?  
И скоро ли древние мавры  
В последний ударят набат?

1957

#### СЛУЧАЙ НА БОЛЬШОМ КАНАЛЕ

На этот раз не для миллионеров,  
На этот раз не ради баркарол  
Четыреста красавцев-гондольеров  
Вошли в свои четыреста гондол.

Был день как день. Шныряли вапоретто.  
Заваленная грудями стекла,  
Венеция, опущенная в лето,  
По всем своим артериям текла.

И вдруг, подняв большие горловины,  
Зубчатые и острые, как нож,  
Громада лодок двинулась в теснины  
Домов, дворцов, туристов и святош.

Сверкая бронзой, бархатом и лаком,  
Всем опереньем ветхой красоты,  
Она несла по городским клоакам  
Подкрашенное знамя нищеты.

Пугая престарелых ротозеев,  
Шокируя величественных дам,  
Здесь плыл на них бесшумный бунт музеев,  
Уже не подчиненных господам.

Здесь плыл вопрос о скудости зарплаты,  
О хлебе, о жилище, и вблизи  
Пятисотлетней древности палаты,  
Узнав его, спускали жалюзи.

Венеция, еще ты спишь покуда,  
Еще ты дремлешь в облаке химер.  
Но мир не спит, он друг простого люда,  
Он за рулем, как этот гондольер!

1957

### Т Б И Л И С И

Загремев на всю округу,  
Некий витязь, полный сил,  
Драгоценную кольчугу  
С неба наземь уронил.

Звезды в небе засветились,  
Наклонились близко к ней  
И в кольчуге отразились  
Миллионами огней.

Полтора тысячелетья  
Пролетело с той поры,  
Как упало то наследье  
У Давидовой горы.

Поднимись глубокой ночью  
На верхи окрестных скал,  
И увидишь ты воочью  
То, что бросил Горгасал.

С каждым годом город краше,  
Час за часом, день за днем  
В нем мы будущее наше  
Без усилья узнаем.

Здравствуй, славный город юга!  
Здравствуй, вечно молодой!  
Здравствуй, древняя кольчуга  
С пятикрылою звездой!

1958

## СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

В полумраке увяданья  
Развернулась, как дуга,  
Вкруг бревенчатого зданья  
Копьеносная тайга.

День в лесу горяч и долог,  
Пахнет струганым бревном.  
В одиночестве геолог  
Буйно пляшет за окном.

Он сегодня в лихорадке  
Открывателя наук.  
На него дивится с грядки  
Ошалевший бурундук.

Смотрит зверь на чародея,  
Как, от мира вдалеке,  
Он, собою не владея,  
Пляшет с камешком в руке.

Поздно вечером с разведки  
Возвратится весь отряд,  
Накомарники и сетки  
Снова в кучу полетят.

Семь здоровых юных глоток  
Боевой испустят клич  
И пойдут таскать из лодок  
Неоципанную дичь.

Загорелые, как черти,  
С картузами набекрень,—  
Им теперь до самой смерти  
Не забыть счастливый день.

1958

## НА ВОКЗАЛЕ

В железном сумеречном зале,  
Плотая паровозный дым,  
Сидит Мадонна на вокзале  
С ребенком маленьким своим.

Вокруг нее кульки, баулы,  
Дорожной жизни суета.  
В блестящих бляхах вельзевулы  
Тележку гонят в ворота.

На башне радио играет,  
Гудок за окнами гудит,  
И лишь она одна не знает,  
Который час она сидит.

Который час ребенка держит,  
Который час! Который час!  
Который час и дым и скрежет  
С полужакрытых гонит глаз.

И сколько дней еще придется —  
О, сколько дней! О, сколько дней! —  
Терпеть, пока не улыбнется  
Дитя у матери своей!

Над черной линией портала  
Висит вечерняя звезда.  
Несутся с Курского вокзала  
По всей вселенной поезда.

Летят сквозь топи и туманы,  
Сквозь перелески и пески,  
И бьют им бездны в барабаны,  
И рвут их пламя на куски.

И лишь на бедной той скамейке,  
Превозмогая боль и страх,  
Мадонна в шубке из цигейки  
Молчит с ребенком на руках.

1958

#### ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДАЧА

В Переделкине дача стояла,  
В даче жил старичок генерал,  
В перстеньке у того генерала  
Незатейливый камень сверкал.

В дымных сумерках небо ночное,  
Генерал у окошка сидит,  
На колечко свое золотое,  
Усмехаясь, подолгу глядит.



Вот уж первые капли упали,  
Замолчали в кустах соловьи.  
Вспоминаются курские дали,  
Затяжные ночные бои.

Вспоминается та, что, прощаясь,  
Не сказала ни слова в упрек,  
Но, сквозь слезы ему улыбаясь,  
С пальца этот сняла перстенок.

«Ты уедешь, — сказала майору, —  
Может быть, повстречаешься с той,  
Для которой окажется впору  
Перстенок незатейливый мой.

Ты подаришь ей это колечко,  
Мой горячий, мой белый опал,  
Позабудешь, кого у крылечка,  
Как безумный, всю ночь целовал.

Отсияют и высохнут росы,  
Отпылают и стихнут бои,  
И не вспомнишь ты черные косы,  
Эти черные косы мои!»

Говорила — как в воду глядела,  
Что сказала — и вправду сбылось,  
Только той, что колечко надела,  
До сих пор для него не нашлось.

Отсияли и высохли росы,  
Отпылали и стихли бои,  
Позабылись и черные косы,  
И отпели в кустах соловьи.

Старый китель с утра разутюжен,  
Серебрится в висках седина,  
Ждет в столовой нетронутый ужин  
С непочатой бутылкой вина.

Что прошло — то навеки пропало,  
Что пропало — навек потерял...  
В Переделкине дача стояла,  
В даче жил старичок генерал.

## ЖЕЛЕЗНАЯ СТАРУХА

«У меня железная старуха,—  
Говорил за ужином кузнец.—  
Только выпьешь — глядь, и оплеуха,  
Мне ж обидно это наконец».

После бани дочиста промытый,  
Был он черен, страшен и космат,  
Колченогий, ослою изрытый,  
Из-под Курска раненый солдат.

«Ведь у бабы только ферма птичья,  
У меня же — господи ты мой!  
Что ни дай — справляю без различья,  
Возвращаюсь за полночь домой!»

Тут у брата кончилась сивуха,  
И кузнец качнулся у стола  
И, нахмурясь, крикнул: «Эй, старуха!  
Аль забыла курского орла?»

И метнулась старая из сенец,  
Полушубок вынесла орлу,  
И большой обиженный младенец  
Потащился с нею по селу.

Тут ему и небо не светило,  
Только звезды сыпало на снег,  
Точно впрямь счастливицу говорило:  
«Мне б такую, милый человек!»

1958

## ПОСЛЕ РАБОТЫ

Он у станка до вечера копался —  
Все попусту! Лишь дома за столом,  
Хлебая щи, внезапно догадался,  
Какой детали не хватало в нем.

И соколом взглянул он на старуху  
Что отдыхала, лежа на печи:  
«Ну, мать моя! Такую бы стряпуху  
Да в ресторан! Значительные щи!»

Старуха знала — с каждым годом реже  
Был ласков муж, и думала сквозь сон:  
«Заврался старый!» Ши-то были те же,  
Что и вчера, когда бранился он.

1958

\* \* \*

Собор, как древний каземат,  
Стоит, подняв главу из меди.  
Его вершина и фасад  
Слепыми окнами сверлят  
Даль непроглядную столетий.

Войны седые облака  
Летят над куполом, и, воя,  
С высот свергается река,  
Сменив движенье на кривое,  
А тут внутри — почти темно.  
Из окон падающий косо  
Квадратный луч летит в окно,  
И Божья мать кривоноса  
И криволица — в алтаре  
Стоит, как столп, подняв горе  
Подобье маленького Бога.  
Из алебаstra он. Убого  
И грубо высечен. Но в нем  
Мысль трех веков горит огнем.

Не слишком тонок был резец,  
Когда, прикинувшийся греком,  
Софию взяв за образец,  
Стал Бог славянский человеком.  
Из окон видим мы вдали  
Край очарованной долины.  
Славян спокойных корабли  
Стоят у берега. Овины  
Вдали дымят, и крыши сел  
Уже стругает новосел.

## И СЦЕЛЕНИЕ ИЛЬ И МУРОМЦА

Как во городе славном во Муроме,  
Как во том ли селе Карачарове  
Жил крестьянин старинного времени,  
По прозванью Иван Тимофеевич.  
Дал Господь ему сына единого,  
Дал единого сына любимого.  
Хоть и люб был Илья отцу-матери,  
Да здоровьем Илейка не выдался.

Вот подрос Илья, стал пяти годов,  
А на ножки Илья не становится.  
Вот уж стал Илья десяти годов,  
А с лежанки Илья не поднимется.  
Вот уж стал Илья двадцати годов —  
Целый день с печи не слезает он.  
А как стал Илья тридцати годов,  
Так и ждять перестал исцеления.

Закручинились крепко родители,  
Думу думают, приговаривают:  
«Ох ты, чадушко наше убогое,  
Ты убогое чадо, безногое!  
Не помощник отцу ты во старости,  
Не заступник ты матери в бедности.  
Приберет нас Бог, ты беды хлебнешь,  
Не поешь, не попьешь, на печи помрешь».

Раз пошел Иван Тимофеевич  
Со старухою в поле крестьянствовать.  
Взял он на руки сына любимого,  
Посадил его на печь высокую.  
«Ты сиди, сынок, дотемна сиди,  
Дотемна сиди, за избой гляди,  
А начнешь слезать — не удержишься,  
Упадешь, разобьешься до смерти».

Вот ушел Иван Тимофеевич  
Со старухою в поле крестьянствовать.  
Удалец Илья на печи сидит,  
На печи сидит, за избой глядит.  
В ту пору мимо города Мурома,  
Да того ли села Карачарова  
Шли калики домой перехожие,  
Перехожие калики, переброжие.  
Собирались калики под окнами,  
Становились они во единый круг,  
Клюки-посохи в землю потыкали,

Подорожные сумки повесили  
Да вскричали они зычным голосом:

«Уж ты гой еси, чадо единое,  
Ты единое чадо любимое,  
Сотвори-ка ты нам подаяние,  
Принеси ты нам пива из погреба,  
Ты напой нас, калик, крепкой брагою!»

Отвечает Илья свет Иванович:  
«Я и рад бы вам дать подаяние,  
Рад бы вынести пива из погреба,  
Напоить вас, калик, крепкой брагою —  
Да уж тридцать лет, как я сиднем сижу,  
Как я сиднем сижу, за избой гляжу.  
Мне ни с печки слезть, мне ни ковш достать,  
Мне ни ковш достать, вам испить подать!»

Говорят калики перехожие:  
«Уж ты гой еси, Илья свет Иванович!  
Про твое про злосчастье нам ведомо,  
Про твои про заботы рассказано.  
Растяни ты свои крепки жилочки  
Да расправь ты свои белы косточки,  
Слезь ты с печки долой да притопни ногой,  
Перехожих калик пивом-брагой напой!»

Растянул тут Илья крепки жилочки,  
Да расправил свои белы косточки,  
Спрыгнул с печки на ножки он резвые,  
Да и в погреб пошел, словно век ходил.  
Нацедил он там пива домашнего,  
Как просили калики перехожие,  
Подав чашу с великою радостью,  
Поклонился гостям до сырой земли.

Вот испили калики пива сладкого,  
Допивать Илейке оставили.  
«Ты испей, Илья, да поведай нам,  
Каково в себе чуешь здоровьице?»  
Отвечает Илья свет Иванович:  
«Чую, стал я теперь будто здрав совсем».

Говорят калики перехожие:  
«Ты другую нам чашу нацеди, Илья».  
Их Илья свет Иванович послушался,  
Снова он нацедил пива сладкого.  
Отпивали они пива сладкого,

Оставляли полчаши, приговаривали:  
«Допивай, Илья, да поведай нам,  
Ты какую в себе чуешь силушку?»

Разгорелось у Ильи сердце буйное,  
Распотелось у Ильи тело белое:  
«Чую силушку в себе я великую!  
Кабы было кольцо во сырой земле,  
Ухватил бы кольцо я одной рукой,  
Повернул бы вокруг землю-матушку».

Говорят калики перехожие:  
«Многовато у тебя стало силушки,  
Не сносить тебя мать-сырой земле!  
Нацеди-ка, Илья, чашу в третий раз».

Их Илья свет Иванович послушался,  
В третий раз нацедил пива сладкого.  
Отпивали они пива сладкого,  
Чуть Илейке оставили на доньшке:  
«Допивай, Илья, да поведай нам,  
Какова у тебя стала силушка?»  
Отвечает Илья свет Иванович:  
«Вполовину ее поубавилось».

Говорят калики перехожие:  
«Ты купи, Илья, жеребеночка,  
Станови его в сруб на три месяца  
Да корми его пшеницей белояровой.  
Пусть в трех росах конь покатается,  
По зеленым лугам повалывается,—  
Он послужит тебе верой-правдою,  
Он потопчет всю силу неверную,  
Своему он поможет хозяину».

Говорят калики перехожие:  
«Ты достань себе латы богатырские,  
Меч булатный да палицу тяжелую,  
Да коню кипарисное седельшко.  
Поезжай ты, Илья, во чисто поле,  
Смерть тебе в чистом поле не писана.  
Совершишь ты дела богатырские,  
Всей Руси нашей будешь защитником!»  
И, сказав Илье таковы слова,  
Потерялись калики перехожие...

Тут пошел Илья во чисто поле,  
Видит: спят-почивают родители.

Притомились они, приумаялись,  
А дубье-колодые не повырубил.  
Расходилась в Илье сила буйная,  
Все дубье-колодые он повырубил,  
Корневища из пала повытаскал,  
В речку быструю с пашни повыгрузил.  
Пробудились к полудню родители,  
Испугались, глазам не поверили:  
Что в неделю всем домом не сделаешь,  
То прикончил Илья за единый мах!

А Илья купил жеребеночка,  
Становил его в сруб на три месяца,  
В трех он росах коня повыватывал  
Да пшеницей кормил белояровой.  
Стал поигрывать конь да поплясывать,  
Гривой шелковой стал он потряхивать,  
Стал проситься конь во чисто поле  
Показать свою силу буйную.

Тут взнуздал коня Илья Муромец,  
Сам облатился, обкольчужился,  
Взял он в руки булатную палицу,  
Опясался дорогим мечом.  
То не дуб сырой к земле клонится,  
К земле клонится, расстилается —  
Расстилается сын перед батюшкой,  
Просит отчего благословения:  
«Уж ты гой еси, родный батюшка,  
Государыня родна матушка,  
Отпустите меня в стольный Киев-град,  
Послужить Руси верой-правдою,  
Постоять в бою за крестьянский люд!»

---

## ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

### ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ

Спят ленивые беспечно,  
трудолюбывы — во весь рот,  
но тому «ура!», конечно,  
кто погоду узнает.

Он и так, и этак ходит,  
соблюдает твердый шаг,  
кулаком по небу водит,  
к кулаку приставив зрак.  
Словно мелкие дымочки,  
в небе ходят облака,  
мудрый видит огонечки  
сквозь отверстие кулака.  
Огонечек подлиннее —  
это значит: будет дождь,  
огонечек потемнее —  
это значит: клюнет лещ,  
огонечек покороче —  
значит, вырастут цветы,  
огонечек с уголочек —  
будут волосы густы.

Мудрый ходит весь в поту,  
держит трубочку во рту,  
лоб высокий напрягает,  
мысли в голову пускает,  
наблюдает каждый знак —  
для чего, и что, и как?

Скоро мыслям стало тесно,  
приближается рассвет,  
и донныне неизвестно —  
будет дождик или нет?



Уж Медведица на небе  
задымилася, ворча,  
это значит, что на хлебе  
скоро будет саранча!

Как тут быть? Помилуй, Боже.  
Вот однажды вечерком  
нужно взять столовый ножик,  
завернуть его крючком,  
присадить ему головку,  
превратить его в коровку,  
ножки тоже привязать  
и корове показать!

Вдоль по хлеву мудрый ходит,  
наблюдает жизнь коров,  
мысли к ясности приводит,  
от волнения нездоров.

Но коровы сладко дремлют,  
слову мудрому не внемлют,  
и Медведица вверху  
превратилась в кочергу.

Мудрый страшно рассердился,  
стал ругаться про себя  
и за камень ухватился,  
мысли мигом погубя.  
Взял кирпич одной рукой,  
изогнул его дугой,  
размахнулся и... померк.  
А кирпич уехал вверх!

Камень тихо пролетает,  
вверх по воздуху плывет,  
тучку в небе огибает,  
обогнувши, вниз идет.  
А внизу — погода та же,—  
и мудрец, и борода,  
и таинственно, и даже  
как-то скучно иногда!

<1929>

## ИЗ СБОРНИКА «КСЕНИИ»

### НЕПРАВИЛЬНОЕ БОГАТСТВО

Павел, чтобы стать богатым,  
стал писать стихи канатом.  
И помог ему канат:  
Павел сделался богат.

### ЧТО ТАКОЕ СТИШКИ

То, что мы зовем стишки,  
есть не боле как мешки:  
плохо сшиты, хорошо ли —  
в них картошка, но не боле.

### БЕСПОЛЕЗНАЯ УЧЕНОСТЬ

Был Терентий сухорук,  
знал он тысячу наук,  
лишь одной не знал науки —  
как сухие двигать руки.

### УЕДИНЕНИЕ ФИЛОСОФА

Кто безделья не боится,  
тот не плачет взаперти:  
в каждом камушке водица,  
только дырку проверти.

### РАЗДРАЖЕНИЕ ПРОТИВ В.

Ты что же это, дьявол,  
живешь как готтентот,  
ужель не знаешь правил,  
как жить наоборот?

### НЕУДАЧНАЯ ПРОГУЛКА

Однажды Пуп, покинув брюхо,  
пошел гулять и встретил Ухо.  
— С дороги прочь! — вскричал Пупок. —  
Я в этом мире царь и бог!  
— Не спорю, — вымолвило Ухо,  
услышав грозные слова, —  
ты царь и бог, но только — брюха,  
а здесь, мой милый, — голова.

Читатель! Если ты не бог,  
проверь — на месте ль твой пупок.

1931

## ОТВРАЩЕНИЕ К БОГЕМЕ

Ходит по двору экзема,  
за экземою — коза.  
Дети, если вы — богема,  
буду драть за волоса.

## НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

Очень, очень я люблю  
получать дензнаки.  
Одного лишь я хочу:  
чтобы это было скорее паки.

## ВОСПОМИНАНИЕ О БАНЕ

В бане я, открывши вежды,  
находился без одежды,  
воду на себя плескал —  
внутреннего успокоения искал.

## ПОЛЬЗА ОТ МОЛИТВЫ

Я желанием горю  
с девой повстречаться,  
но молитву сотворю —  
и на душе прохладца.

## НА РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МНОЙ И ШВАРЦЕМ

Меж нами, Женя, расстояние —  
ты — соблазнитель юных лиц,  
а я их вопли в назидание  
собираю для своих художественных страниц.

## УЛЕТАНИЕ ОЛЕЙНИКОВА ОТ НАС

Коля! Зри мои ладони —  
все они уже в слезах.  
Под окном стоящи кони  
пар пускают в небесах.  
Тройка лютая, уймися,  
не скреби ногами снег,  
Коля, Коля, оглянися —  
сколь печали есть у всех!

## ПОКУПКА ЖЕНЕ ШУБЫ

Прелестну шубу я купил,  
жена моя в наряде.  
Подумать — сколько скрыто сил  
в двухмесячной зарплате!

## ВОПРОС ЛЕВИНУ

Левин, что в Москве творится,  
сколько там живет людей  
и красивы ли там лица?  
Что молчишь, прелюбодей?

## КРАСОТА ГРУНИ

\* \* \*

Я, как заведующий приложениями,  
замечаю красоту,  
но, как знакомый с дамскими внушениями,  
себя, конечно, в рамках соблюду.

## МИНУТА СЛАБОСТИ

Облака летят по небу,  
люди все стремятся к хлебу,  
но, имея в сердце грусть,  
Груня! — я куда стремлюсь?

## БЕЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ

Груня, Груня, сколь терзаешь  
ты мне сердце, ай-ай-ай...  
К черту службу! Улетаешь  
завтра ты со мной в Китай!

## РАСКАЯНИЕ В НЕОБДУМАННОМ РЕШЕНИИ

Слаб человек! Одна минута —  
и жизнь лежит — как бы разбитая посуда!

Конечно, грех и я имею,  
но все же вам скажу, друзья,  
что вы живете так, что змею  
таким манером жить нельзя.  
Развратны вы! В грехах сидите,  
мне жалко вас — погибли вы.  
Вокруг меня страданья нити —  
лишь я стою, увы, увы!

\* \* \*

У некой дамочки с изъязном был роток,  
Он у нее неплотно закрывался.  
Изъязн был невелик, но кофею глоток  
Из дырочки подчас на платье проливался.

Муж Теофраст терпел, терпел,—  
Но всякому терпенью есть предел,—  
И, разозлясь однажды на уродку,  
Он хватъ ее по подбородку!

Трах-тарарах! Закрылся с треском рот.  
И с той поры доселе  
Красавица с закрытым ртом живет  
И, что ни день, теряет быстро в теле.

Мораль: хоть ты и Теофраст,  
Но в медицине, братец, не горазд.

Г-ЖЕ ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ ШВАРЦ

(урожд. Обуховой)

По случаю исполнившегося двадцатилетия  
со дня се первой встречи  
с господином надворным советником  
Евгением Львовичем Шварцем  
на балу у князя Кувшинчикова

Катерина, дочь Ивана,  
Ровно двадцать лет назад  
Повстречала род тюльпана,  
Украшающего сад.

Этот маленький тюльпанчик,  
Катериной взятый в дом,  
Нынче даже на диванчик  
Помещается с грузом.

Славься сим, Екатерина,  
Ты прекрасна, как всегда!  
И дородный сей мужчина  
Так же славься иногда!

*28 мая 1948*

### С Ч А С Т Л И В Е Ц

Есть за Пресней Ваганьково кладбище,  
Есть на кладбище маленький скит,  
Там жена моя, жирная бабица,  
За могильной решеткою спит.  
Целый день я сижу в канцелярии,  
По ночам не тушу я огня,  
И не встретишь на всем полушарии  
Человека счастливей меня!

*1950*

\* \* \*

Мне жена подарила пижаму,  
И с тех пор, дорогие друзья,  
Представляю собой панораму  
Исключительно сложную я.  
Полосатый, как тигр зоосада,  
Я стою, леопарда сильней,  
И пасется детенышей стадо  
У ноги колоссальной моей.  
У другой же ноги, в отдаленье,  
Шевелится супруга моя...  
Сорок семь мне годков, тем не мене —  
Тем не мене — да здравствую я!

*1950*

## НАШ ПРАЗДНИК

*Представление в I действии*

Сцена представляет роскошную комнату. Посередине—стол, уставленный райскими кушаньями. На стуле сидит м а м а с испуганным выражением лица. Она не может вспомнить, куда она истратила 300 рублей, которые взяла из папиной коробки. Около мамы в величественной позе стоит п а п а. Д е т и, стоя на цыпочках около стола, стараются рассмотреть невиданные угощения.

Д е т и

Что сегодня за число?  
Сколько чудных здесь конфет!

П а п а

*(торжественно)*

Дети, нынче принесло  
Нашу мамочку на свет.

Д е т и

*(бросаясь к ней)*

Мама, мама, ты цветочек!  
Поздравляем от души!

М а м а

*(растроганно)*

Дети, даже без порточек  
Вы довольно хороши!

В с е в м е с т е

*(взявшись за руки и танцуя вокруг стола)*

Коль у мамы именины,  
Значит, будет торжество!  
Будем пить мы в рюмках вины  
За родное существо!

Х о р

*(подхватывает)*

За родное существо!

П а п а

*(выступая вперед)*

Дети, дети, я с приветом  
Выступаю здесь опять,  
Перед всем хвалю я светом  
Вашу мамочку как мать!

## Д е т и

Наша мама, как известно,  
Воспитала нас чудесно!  
Покровительница слабых  
И защитница сирот,  
Пусть она у папы в лапах  
Процветает и живет!

Х о р  
(подхватывает)

Процветает и живет!

Безногий солдат  
(за дверью)

Я, не веря в прочих дам,  
Обращаюсь с просьбой к вам!  
В забегаловке у нас  
Все надеются на вас!

Х о р  
(подхватывает)

Все надеются на вас!

Голодные воробьи  
(за окном)

Поздравляем вас, мамаша,  
И кричим из-за окна:  
Если будет милость ваша,  
Бросьте горсточку пшена!

Х о р  
(подхватывает)

Бросьте горсточку пшена!

Все вместе  
(взявшись за руки и танцуя)

Именинница добра!  
Имениннице — ура!

Тут папа, Никита, Наташа, тетя Поля, хромым солдатом и воробьи бросаются к имениннице с поцелуями и поздравлениями.

*Занавес*



ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО О КОЛИНОМ  
ТЕЛОСЛОЖЕНИИ

О твоём телосложенье,  
Коля, я слагаю стих,  
Ибо в этом отношенье  
Ты прекрасен, как жених.  
Я не боле, как ублюдок,  
По сравнению с тобой.  
Ты ж имеешь пару грудок  
Под рубахой шерстяной.  
Это часть завидна дамам,  
Ибо то, что есть у дам,  
Весит в месте этом самом  
Меньше на сто десять грамм.  
Наконец, в середине чрева,  
Если скинешь ты тулуп,  
Обнаружить может дева  
Колоссально мощный пуп.  
Это чудо мирозданья  
У тебя, как котлован.  
Там построить можно зданье —  
Кафетерий и чулан.  
Приказав служанке Софе  
Торговать в твоём кафе,  
Там ты кушать будешь кофе,  
Развалившись на софе.  
Мы к тебе туда на святки  
Будем ездить из Москвы  
И играть с тобою в прятки,  
Прячась в заросли и рвы.  
Будем баловаться с Софой,  
У балкона сеять рожь...  
Коля, будет катастрофой,  
Коль постройки не начнешь!  
Есть в твоём телосложенье  
К благоденствию залог.  
Будь же полон дерзновенья,  
И тебе поможет Бог!

ПИШМАШИНКА И АВТОР

Однажды пишущая подняла машинка  
Великий бунт,  
Сказавши: — Вот так фунт!  
Что я? Безумная? Кретинка?

Писать все дни по тысяче листов!  
Да будь я проклята! Да чтоб мне лопнуть сразу!  
Хозяин мой, как видно, бестолков,  
Коль выходного не дал мне ни разу.—  
На это отвечал хозяин: — Горе мне!  
Ты, дура, ничего не понимаешь,—  
Ты лишь статьи мои перебелишь,  
А мне за них влетает по спине.

#### КОЛЯ И БЛОХА

Однажды Колю блошка покусала.  
— Ахти проклятая! — сказал он. — Вижу я,  
По возрасту ты мне годишься в сыновья.  
Однако ж уважать не думаешь нимало.  
— Не правда, — блошенька в ответ, —  
Тебя я слишком уважаю,  
А ежели и обижая,  
То лишь затем, что пища лучшей нет.

#### ДОГАДЛИВАЯ КУРИЦА

Прелестна курочка, попавши Коле в щи,  
Сказала из горшка ему: — Тащи,  
Тащи меня за крылышко, философ,  
Затем, что курица питательна для россов.

#### ИЗ ЗАПИСОК СТАРОГО АПТЕКАРЯ

1

Красотка Акулина захворала,  
Но скоро ей уже полегче стало.  
А ведь не будь у нас пенициллина,  
Пожалуй, померла бы Акулина!

2

Прочел стишки про то,  
Как некий панский нунций  
Глотал мышьяк  
По сто пятнадцать унций.  
Заметно сразу, что поэт  
Фармацевтический не кончил факультет.

3

Не спал всю ночь: всё вспоминал, как дыни  
В учебнике зовутся по-латыни.

4

Болтают, что в соседнем переулке  
Какой-то бывший князь,  
Имея драгоценности в шкатулке,  
Скончался, не лечась.  
Дивлюся я такому человеку:  
Хоть ты и князь, но уважай аптеку!

5

Как хорошо, что дырочку для клизмы  
Имеют все живые организмы!

6

И в нищей хижине, и в спальне у монарха  
Полезно пользоваться кружкой Эсмарха.

7

Один известный врач  
Перед обедом кушал «спотыкач».  
И что ж вы думаете? У того врача  
Всегда была прекрасная моча.

8

«Бессмертны мы», — сказал мудрец Агриппа,  
Но обмишурился и помер он от гриппа.

9

В истории имеются примеры,  
Как от болезней гибнут малoverы.  
А вот поди ж ты! И до сей поры  
Иной не верит в пользу камфары!

10

Как странно: у Ильи-гомеопата,  
Как и у нас, по рушь пятнадцать вата!

11

Дай хоть йоду идиоту —  
Не поможет ни на йоту.

12

Весьма возможно, что в соленом огурце  
Довольно много витамина С.

13

О, сколь велик ты, разум человека!  
Что ни квартал — то новая аптека.

---

## СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

### ХОРОШИЕ САПОГИ

В немецкой деревне сапожник живет,  
Стучит молоточком и взад и вперед,  
Во рту у него полдесятка гвоздей  
Различных фасонов, различных мастей.  
Он выплюнет гвоздик, прильнет на сапог,  
А новый гвоздик в ладошку — скок!

Ну разве возможно,  
Чтоб этот сапожник  
Не сделал Карлуше сапог?

Карлуша по улице хмуро идет,  
Шагает ногами и взад и вперед,  
Он левой шагнет —  
Другую волочит,  
Он правой шагнет —  
Другая не хочет,  
Не хочет, не хочет другая шагать,  
Желает другая на месте стоять.  
— Ну, что же вы, ноги? — Карлуша сказал. —  
Бегите скорее — я вам приказал! —  
Ответили ноги:  
— Без нас пробеги!  
Мы, бедные ноги, совсем босоноги,  
Довольно! Желаем иметь сапоги!

А время не ждет. Приближается вечер.  
Вдруг едет пирожник Карлуше навстречу,  
Мясных пирожков восемнадцать корзин  
Пирожник везет продавать в магазин.  
Кричит пирожник,  
Сердитый и строгий:

— Эй, ротозей,  
Убирайся с дороги!  
Смотри у меня — я шутить не люблю,  
Наеду и сразу тебя задавлю! —  
Карлуша и рад бы уйти с дороги,  
Да только Карлушу не слушают ноги:  
Топочут-топочут —  
И все невпопад,  
Немножко подскочат —  
И снова назад.

На узеньком мостике прямо беда —  
Проехать нельзя ни туда, ни сюда.  
А вслед за пирожником едут телеги,  
На этих телегах сидят дровосеки,  
Везут дровосеки поленицу дров  
И пару блестящих больших топоров.

Кричат дровосеки:  
— Шутить мы не любим,  
Сейчас топорами мальчишку зарубим.  
Мы дров нарубили, пора нам домой,  
Сейчас же, сейчас же с дороги долой! —  
Карлуша и рад бы уйти с дороги,  
Да только Карлушу не слушают ноги:  
Топочут-топочут —  
И все невпопад,  
Немножко подскочат —  
И снова назад.

Топор дровосеков  
На солнце сверкает,  
Карлуша на мостике  
Громко рыдает.  
Открылись окошки,  
Сбежался народ,  
А вон и сапожник  
Навстречу идет.

Как услышали Карлушины ноги,  
Что где-то сапожник идет по дороге,  
Подпрыгнули разом, кричат: — Помогите,  
Милый сапожник, сшей сапоги,  
Сшей нам сапожки из черной кожи,  
Мы без сапожек ходить не можем,  
За это Карлушу хотят задавить,  
А нас топорами хотят зарубить;  
Сейчас дровосеки топор наточат,

Никто заступиться за нас не хочет,  
Если и ты не поможешь ничем —  
Пропали мы, ноги,  
Пропали совсем! —  
Хитрый сапожник, про это услышав,  
Крикнул к себе четырех мальчишек.

Сбегал один —  
Принес стол,  
Сбегал другой —  
Принес стул,  
Сбегал третий —  
Принес кожи,  
Сбегал четвертый —  
Принес ножик.  
— Вот так ребята, — народ удивился,  
Со смеху даже народ покатился,  
Вон дровосеки — и те ни гугу,  
Сели и ждут на том берегу.

И вот закипела большая работа,  
И смотрит Карлуша, разинув рот:  
Кроит сапожник,  
Шьет сапожник,  
Стучит молоточком и взад и вперед,  
Во рту у него полдюжечка гвоздей  
Различных фасонов, различных мастей,  
Он выплюнет гвоздик, прибьет на сапог,  
А новый гвоздик в ладошку — скок!

Ну разве возможно,  
Чтоб этот сапожник  
Не сделал Карлуше сапог?  
И вот через два с половиной часа  
Смотрит Карлуша во все глаза —  
Навстречу Карлуше сапожки бегут,  
И вот уж Карлуша в сапожки обут;  
Карлушины ноги польку пляшут,  
Карлушины руки платочком машут:  
— Ай да сапожник,  
— Ай да сапожник,  
Ты не сапожник, а прямо художник!  
Правда, никто же таких сапог,  
Кроме сапожника, сделать не мог?

Карлуша по улице гордо идет,  
Шагает ногами вперед и вперед,  
Захочет направо —

Пойдет направо,  
Захочет налево —  
Пойдет налево,  
Захочет Карлуша подпрыгнуть повыше,  
А ноги сами летят до крыши,  
Захочет Карлуша немножко поспать —  
А ноги сами бегут на кровать.  
А у сапожника с этой минутки  
Толпятся ребята круглые сутки.  
В нашей деревне сто двадцать ног, —  
Сшей-ка, сапожник, сто двадцать сапог!

<1928>

### СКАЗКА О КРИВОМ ЧЕЛОВЕЧКЕ

На маленьком стуле сидит старичок,  
На нем деревянный надет колпачок.  
Сидит он, качаясь и ночью, и днем,  
И туфли трясутся на нем.

Сидит он на стуле и машет рукой,  
Бежит к старичку человечек кривой.  
— Что с вами, мой милый? Откройте ваш глаз!  
Зачем он завязан у вас?

Кривой человечек в ответ старичку:  
— Глазок мой закрылся, и больно зрачку.  
Я с черной грачихой подрался сейчас,  
Она меня клюнула в глаз.

Тогда старичок призывает жука.  
— Слетай-ка, жучок, на большие луга.  
Поймай мне грачиху в пятнадцать минут —  
Над нею устроим мы суд.

Не ветер бушует, не буря гудит, —  
Жучок над болотом к грачихе летит.  
— Извольте, грачиха, явиться на суд —  
Осталось двенадцать минут.

Двенадцать минут пролетают, спеша,  
Влетает грачиха, крылами шурша,  
Грачиху сажают за письменный стол,  
И пишет жучок протокол.



— Скажите, грачиха, фамилию свою.  
Давно ли живете вы в нашем краю?  
Зачем человечка вы клюнули в глаз?  
За это накажем мы вас.

Сказала грачиха: — Но я не виновна,  
Сама я, грачиха, обижена кровно:  
Кривой человечек меня погубил,  
Гнездо он мое разорил.

— Ах, так! —  
Рассердившись, вскричал старичок.  
— Ах, так! —  
Закачался на нем колпачок.  
— Ах, так! —  
Загремели железные туфли.  
— Ах, так! —  
Зашумели над туфлями букли.

И пал на колени лгунишка негодный,  
И стукнулся лобиком об пол холодный,  
И долго он плакал, и долго молил,  
Пока его суд не простил.

И вот человечек к грачихе идет,  
И жмет ее лапку, и слово дает,  
Что он никогда, никогда, никогда  
Не тронет чужого гнезда.

И вот начинается музыка тут,  
Жуки в барабанчики палками бьют,  
А наш человечек, как будто испанец,  
Танцует с грачихою танец.

\* \* \*

И если случится, мой мальчик, тебе  
Увидеть грачиху в высоком гнезде,  
И если птенцы там сидят на краю,—  
Припомни ты сказку мою.

Я сказочку эту не сам написал,  
Ее мне вот тот старичок рассказал —  
Вот тот старичок, что в часах под стеклом  
Качается ночью и днем.

— Тик-так! —  
Говорит под стеклом старичок.  
— Тик-так! —  
Отвечает ему колпачок.  
— Тик-так! —  
Ударяют по камешку туфли.  
— Тик-так! —  
Повторяют за туфлями букли.

Пусть маятник ходит, пусть стрелка кружит —  
Смешной старичок из часов не сбежит.  
Но все же, мой мальчик, кто птицу обидит,  
Тот много несчастий увидит.

Замрет наше поле, и сад обнажится,  
И тысяча гусениц там расплодится,  
И некому будет их бить и клевать  
И птенчикам в гнезда таскать.

И если бы сказка вдруг стала не сказкой,  
Пришел бы к тебе человек с повязкой,  
Взглянул бы на сад. покачал головой  
И заплакал бы вместе с тобой.

<1933>

## КАК МЫШИ С КОТОМ ВОЕВАЛИ

(Сказка)

Жил-был кот,  
Ростом он был с комод,  
Усищи — с аршин,  
Глазищи — с кувшин,  
Хвост трубой,  
Сам рябой.  
Ай да кот!

Пришел тот кот  
К нам в огород,  
Залез кот на лукошко,  
С лукошка прыгнул в окошко,  
Углы в кухне обнюхал,  
Хвостом по полу постукал.  
— Эге, — говорит, — пахнет мышами!  
Поживу-ка я недельку с вами!

Испугались в подполье мыши —  
От страха чуть дышат.  
— Братцы,— говорят,— что же это такое?  
Не будет теперь нам покоя.  
Не пролезть нам теперь к пирогу,  
Не пробраться теперь к творогу,  
Не отведать теперь нам каши,  
Пропали головушки наши!

А котище лежит на печке,  
Глазищи горят, как свечки.  
Лапками брюхо поглаживает,  
На кошачьем языке приговаривает:  
— Здешние,— говорит,— мышата  
Вкуснее,— говорит,— шоколада,  
Поймать бы их мне штук двести —  
Так бы и съел всех вместе!  
А мыши в мышинной норке  
Доели последние корки,  
Построились в два ряда  
И пошли войной на кота.  
Впереди генерал Культяпка,  
На Культяпке — железная шляпка,  
За Культяпкой — серый Тушканчик,  
Барабанит Тушканчик в барабанчик,  
За Тушканчиком — целый отряд,  
Сто пятнадцать мышиных солдат.

Бум! Бум! Бум! Бум!  
Что за гром? Что за шум?  
Берегись, усатый кот,  
Видишь — армия идет,  
Видишь — армия идет,  
Громко песенку поет.  
Вот Культяпка боевой  
Показался в кладовой.  
Барабанчики гремят,  
Громко пушечки палят,  
Громко пушечки палят,  
Только ядрышки летят!

Прибежали на кухню мыши,  
Смотрят — а кот не дышит,  
Глаза у кота закатились,  
Уши у кота опустились,  
Что случилось с котом?  
Собрались мыши кругом,—

Глядят на кота, глазают,  
А тронуть кота не смеют.

Но Культяпка был не трус —  
Потянул кота за ус, —  
Лежит котище — не шелохнётся,  
С боку на бок не повернётся.  
Окочурился, разбойник, окочурился,  
Накатил на кота карачун, карачун!  
Тут пошло у мышей веселье,  
Закружились они каруселью,  
Забрались котищу на брюхо,  
Барабанят ему прямо в ухо,  
Все танцуют, скачут, хохочут...  
А котище-то как подскочит,  
Да как цапнет Культяпку зубами —  
И пошел воевать с мышами!  
Вот какой он был, котище, хитрый!  
Вот какой он был, котище, умный!  
Всех мышей он обманул,  
Всех он крыс переловил.  
Не лазайте, мыши, по полочкам,  
Не воруйте, крысы, сухарики,  
Не скребитесь под полом, под лестницей,  
Не мешайте Никитушке спать-почивать!

<1933>

### КАРТОННЫЙ ГОРОД

Посмотри-ка: у окошка,  
Что завешено бумагой,  
Вырос меньше чем в неделю  
Самодельный городишка.  
В самодельном городишке  
Что ни дом, то удивленье:  
Все окошки — слюдяные,  
Из лучинок все заборы.

А кругом-то что творится!  
Всюду ходят человечки,  
Вон трамвай бежит по рельсам,  
Вот качается автобус.  
А на маленьких лошадках,  
На раскрашенных тележках  
Десять маленьких пожарных  
Выезжают на работу.

Но смотри-ка, что за чудо:  
Все лошадки, все машины  
Как ни мчатся, как ни едут —  
Все стоят на том же месте!  
И лишь только из окошка  
Ветер в комнату подует —  
Полетят домишки набок,  
А лошадки вверх ногами!

Кто же строил этот город,  
Если он такой непрочный?  
Этот город строил Вася,  
Очаговец старшей группы.

Не кирпичный этот город,  
Не бетонный, не железный,—  
Этот город из бумаги,  
Из картона и дощечек.

И людишки и лошадки  
В нем, конечно, из бумаги,  
А бумажные игрушки  
Сами бегать не умеют.

Вот когда настанет время,  
Вася будет инженером,—  
Он тогда построит город  
Не картонный — настоящий.  
В этом городе чудесном  
Будут жить живые люди,  
И по рельсам загрохочут  
Настоящие трамваи.

<1933>

#### МИСТЕР КУК БАРЛА-БАРЛА

Жил в Америке индюк  
По прозванию мистер Кук.  
Мистер Кук Барла-Барла  
Победил бы и орла,  
Победил бы бегемота,  
Только бегать неохота,  
Потому что мистер Кук  
Был тяжелый, как утюг.  
Мистер Кук гулял на воле,  
Мистер Кук Барла-Барла,

Испугалась мышка в поле  
И чуть-чуть не умерла.  
Только Джон, мальчишка ловкий,  
Не упал, не побледнел —  
Он упряжку из веревки  
На разбойника надел.  
По накатанной дороге  
Мистер Кук Барла-Барла  
Скачет, вытянувши ноги,  
И несется как стрела.  
Джон согнулся калачом,  
Громко хлопает бичом —  
Только улицы мелькают  
Перед Джоном-ловкачом!

<1935>

О ТОМ, КАК МЫ НА ТРАМВАЙНОМ ЯЗЫКЕ  
РАЗГОВАРИВАЛИ

(Шутка)

Мы по улице гуляли,  
Вдруг трамвай застучали:  
Гоум, Боум, Биум, Баум,  
Бруву, Руру на «Чижа»!  
— Извините, — мы сказали, —  
Этих слов мы не слышали.  
Что такое вы сказали,  
Грохоча и дребезжа?  
Что такое — Гоум, Боум,  
Что такое — Биум, Баум,  
Что такое — Бруву, Руру,  
Что такое — на «Чижа»?

И тогда в ответ на наши  
Бестолковые вопросы  
На проспекте возле парка  
Отвечают сторожа:  
— Гоум, Боум — значит: На до,  
Биум, Баум — в сем реб ятам,  
Бруву, Руру — непременно  
Подписать ся на «Чижа».

— Вот так штука! — мы сказали. —  
Если даже и трамвай  
О «Чиже» заговорили  
На трамвайном языке, —

Значит, нету в самом деле  
Интереснее журнала! —  
И помчались мы на почту  
На большом грузовике.

И в почтовом отделенье  
Двум веселым почтальонам  
Мы сказали всем отрядом,  
От волнения чуть дыша:  
— Гоум, Боум, Биум, Баум,  
Мы желаем непременно,  
Гоум, Боум, Биум, Баум,  
Подписаться на «Чижа»!

Улыбнулись почтальоны,  
Засмеялись почтальоны  
И ответили отряду  
На трамвайном языке:  
— Гоум, Боум, получите,  
Биум, Баум, первый номер  
И скажите всем лентяям:  
— Кукареку, брекеке!

— Кукареку — это значит:  
«Ч и ж» п о д п и с к у п р и н и м а е т,  
Все торопятся на почту,  
Кроме дурня Брекеке.  
Брекеке — большие уши,  
Целый день он бьет баклуши  
И ни слова он не знает  
На трамвайном языке.

<1935>

---

## СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

### ВСТУПЛЕНИЕ

Не пора ль нам, братия, начать  
О походе Игоревом слово,  
Чтоб старинной речью рассказать  
Про деянья князя удалого?  
А воспеть нам, братия, его —  
В похвалу трудам его и ранам —  
По былинам времени сего,  
Не гоняясь в песне за Бояном.  
Тот Боян, исполнен дивных сил,  
Приступая к вешему напеву,  
Серым волком по полю кружил,  
Как орел, под облаком парил,  
Растекался мыслию по древу.  
Жил он в громе дедовских побед,  
Знал немало подвигов и схваток,  
И на стадо лебедей чуть свет  
Выпускал он соколов десятком.  
И, встречая в воздухе врага,  
Начинали соколы расправу,  
И взлетала лебедь в облака,  
И трубила славу Ярославу.  
Пела древний киевский престол,  
Поединок славила старинный,  
Где Мстислав Редёдю заколол  
Перед всей косоожскою дружиной,  
И Роману Красному хвалу  
Пела лебедь, падая во мглу.  
Но не десять соколов пускал  
Наш Боян, но, вспомнив дни былые,  
Вещие персты он подымал  
И на струны возлагал живые, —  
Взрагивали струны, трепетали,  
Сами князям славу рокотали.



Мы же по иному замыслению  
Эту повесть о године бед  
Со времен Владимира княженья  
Доведем до Игоревых лет  
И прославим Игоря, который,  
Напрягая разум, полный сил,  
Мужество избрал себе опорой,  
Ратным духом сердце поострил  
И повел полки родного края,  
Половецким землям угрожая.

О Боян, старинный соловей!  
Приступая к вещему напеву,  
Если б ты о битвах наших дней  
Пел, скача по мысленному древу;  
Если б ты, взлетев под облака,  
Нашу славу с дедовскою славой  
Сочетал на долгие века,  
Чтоб прославить сына Святослава;  
Если б ты Траяновой тропой  
Средь полей помчался и курганов,—  
Так бы ныне был воспет тобой  
Игорь-князь, могучий внук Траянов:  
«То не буря соколов несет  
За поля широкие и доли,  
То не стаи галочки летят  
К Дону на великие просторы!»  
Или так воспеть тебе, Боян,  
Внук Велесов, наш военный стан:  
«За Сулою кони ржут,  
Слава в Киеве звенит,  
В Новеграде трубы громкие трубят,  
Во Путивле стяги бранные стоят!»

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Игорь-князь с могучею дружиной  
Мила брата Всеволода ждет.  
Молвит буй-гур Всеволод: «Единый  
Ты мне брат, мой Игорь, и оплот!  
Дети Святослава мы с тобою,  
Так седлай же борзых коней, брат!  
А мои, давно готовы к бою,  
Возле Курска под седлом стоят».

А куряне славные —  
 Витязи исправные:  
 Родились под трубами,  
 Росли под шеломами,  
 Выросли, как воины,  
 С конца копья вскормлены.  
 Все пути им ведомы,  
 Все яруги знаемы,  
 Луки их натянуты,  
 Колчаны отворены,  
 Сабли их наточены,  
 Шеломы позолочены.

Сами скачут по полю волками  
 И, всегда готовые к борьбе,  
 Добывают острыми мечами  
 Князю — славы, почестей — себе!

Но, взглянув на солнце в этот день,  
 Подивился Игорь на светило:  
 Середь бела дня ночная тень  
 Ополченья русские покрыла.  
 И не зная, что сулит судьбина,  
 Князь промолвил: «Братья и дружина!  
 Лучше быть убиту от мечей,  
 Чем от рук поганых полонену!  
 Сядем, братья, на лихих коней  
 Да посмотрим синего мы Дону!»  
 Вспала князю эта мысль на ум —  
 Искусить неведомого края,  
 И сказал он, полон ратных дум,  
 Знаменьем небес пренебрегая:  
 «Копие хочу я преломить  
 В половецком поле незнакомом,  
 С вами, братья, голову сложить  
 Либо Дону зачерпнуть шеломом!»

Игорь-князь во злат стремень вступает,  
 В чистое он поле выезжает.  
 Солнце тьмою путь ему закрыло,  
 Ночь грозой птиц перебудила,  
 Свист зверей несется, полон гнева,  
 Кличет Див над ним с вершины древа,

Кличет Див, как половец в дозоре,  
За Сулу, на Сурож, на Поморье,  
Корсуню и всей округе ханской,  
И тебе, болван тмутороканский!

5

И бегут, заслышав о набеге,  
Половцы сквозь степи и яруги,  
И скрипят их старые телеги,  
Голосят, как лебеди в испуге.  
Игорь к Дону движется с полками,  
А беда несется вслед за ним:  
Птицы, поднимаясь над дубами,  
Реют с криком жалобным своим,  
По оврагам волки завывают,  
Крик орлов доносится из мглы —  
Знать, на кости русские скликают  
Зверя кровожадные орлы;  
На щиты червленые лисица  
Дико брешет в сумраке ночном...  
    О Русская земля!  
    Ты уже за холмом.

6

Долго длится ночь. Но засветился  
Утренними зорями восток.  
Уж туман над полем за клубился,  
Говор галок в роще пробудился,  
Соловьиный щекот приумолк.  
Русичи, сомкнув щиты рядами,  
К славной изготовились борьбе,  
Добывая острыми мечами  
Князю — славы, почестей — себе.

7

На рассвете, в пятницу, в туманах,  
Стрелами по полю полетев,  
Смяло войско половцев поганных  
И умчало половецких дев.  
Захватили золота без счета,  
Грудю аксамитов и шелков,  
Вымостили топкие болота  
Епанчами красными врагов.

А червлёный стяг с хоругвью белой,  
Челку и копьё из серебра  
Взял в награду Святославич смелый,  
Не желая прочего добра.

8

Выбрав в поле место для ночлега  
И нуждаясь в отдыхе давно,  
Спит гнездо бесстрашное Олега —  
Далеко подвинулось оно!  
Залетело храброе далече,  
И никто ему не господин:  
Будь то сокол, будь то гордый кречет,  
Будь то чёрный ворон — половчин.  
А в степи, с ордой своєю дикой  
Серым волком рыская чуть свет,  
Старый Гзак на Дон бежит великий,  
И Кончак спешит ему вослед.

9

Ночь прошла, и кровавые зори  
Возвещают бедствие с утра.  
Туча надвигается от моря  
На четыре княжеских шатра,  
Чтоб четыре солнца не сверкали,  
Освещая Игореву рать,  
Быть сегодня грому на Каяле,  
Лить дождю и стрелами хлестать!  
Уж трепещут синие зарницы,  
Вспыхивают молнии кругом.  
Вот где копьям русским преломиться,  
Вот где саблям острым притупиться,  
Загремев о вражеский шелом!  
О Русская земля!  
Ты уже за холмом.

10

Вот Стрибожьи вылетели внуки —  
Зашумели ветры у реки,  
И взметнули вражеские луки  
Тучу стрел на русские полки.  
Стоном стонет мать-земля сырая,  
Мутно реки быстрые текут,  
Пыль несется, поле покрывая,  
Стяги плещут: половцы идут!

С Дона, с моря, с криками и с воем  
Валит враг, но, полон ратных сил,  
Русский стан сомкнулся перед боем —  
Щит к щиту — и степь загордил.

11

Славный яр-тур Всеволод! С полками  
В обороне крепко ты стоишь,  
Прыщешь стрелы, острыми клинками  
О шеломы ратные гремишь.  
Где ты ни проскачешь, тур, шеломом  
Золотым посвечивая, там  
Шишаки земель аварских с громом  
Падают, разбиты пополам.  
И слетают головы с поганных,  
Саблями порублены в бою,  
И тебе ли, тур, скорбеть о ранах,  
Если жизнь не ценишь ты свою!  
Если ты на ратном этом поле  
Позабыл о славе прежних дней,  
О златом черниговском престоле,  
О желанной Глебовне своей!

12

Были, братья, времена Траяна,  
Миновали Ярослава годы,  
Позабылись правнуками рано  
Грозные Олеговы походы.  
Тот Олег мечом ковал крамолу,  
Пробираясь к отчему престолу,  
Сеял стрелы и, готовясь к брани,  
В злат стремень вступал в Тмуторокани.  
В злат стремень вступал, готовясь к сече,  
Звон тот слушал Всеволод далече,  
А Владимир за своей стеною  
Уши затыкал перед бедою.

13

А Борису, сыну Вячеслава,  
Зелен саван у Канина брега  
Присудила воинская слава  
За обиду храброго Олега.  
На такой же горестной Каяле,  
Укрепив носилки между выюков,  
Святополк отца увез в печали,

На конях угорских убаюкав.  
Прозван Гориславичем в народе,  
Князь Олег пришел на Русь как ворог,  
Внук Дажь-бога бедствовал в походе,  
Век людской в крамолах стал недолог.  
И не стало жизни нам богатой,  
Редко в поле выходил оратай,  
Вороны над пашнею кружились,  
На убитых с криками садились,  
Да слетались галки на беседу,  
Собираясь стаями к обеду...  
Много битв в те годы отзвучало,  
Но такой, как эта, не бывало.

14

Уж с утра до вечера и снова,  
С вечера до самого утра,  
Бьется войско князя удалого  
И растет кровавых тел гора.  
День и ночь над полем незнакомым  
Стрелы половецкие свистят,  
Сабли ударяют по шеломам,  
Копья харалужные трещат.  
Мертвыми усеяно костями,  
Далеко от крови почернев,  
Задымилось поле под ногами,  
И взошел великими скорбями  
На Руси кровавый тот посев.

15

Что там шумит,  
Что там звенит  
Далеко во мгле перед зарею?  
Игорь, весь израненный, спешит  
Беглецов вернуть обратно к бою.  
Не удержишь вражескую рать!  
Жалко брата Игорю терять.  
Бились день, рубились день другой,  
В третий день к полудню стяги пали,  
И расстался с братом брат родной  
На реке кровавой, на Каяле.  
Недостало русичам вина,  
Славный пир дружины завершили —  
Напоили сватов допьяна,  
Да и сами головы сложили.  
Степь поникла, жалости полна,  
И деревья ветви приклонили.

И настала тяжкая година,  
 Поглотила русичей чужбина,  
 Поднялась Обида от курганов  
 И вступила девой в край Траянов.  
 Крыльями лебязьими всплеснула,  
 Дон и море оглашая криком,  
 Времена довольства пошатнула,  
 Возвестив о бедствии великом.  
 А князья дружин не собирают,  
 Не идут войной на супостата,  
 Малое великим называют  
 И куют крамолу брат на брата.  
 А враги на Русь несутся тучей,  
 И повсюду бедствие и горе.  
 Далеко ты, сокол наш могучий,  
 Птиц бия, ушел на сине море!

Не воскреснуть Игоря дружине,  
 Не подняться после лютой сечи!  
 И явилась Карна, и в кручине  
 Смертный вопль исторгла, и далече  
 Заметалась Жёля по дорогам,  
 Потрясая искромётным рогом.  
 И от края, братья, и до края  
 Пали жены русские, рыдая:  
 «Уж не видеть милых лад нам боле!  
 Кто разбудит их на ратном поле?  
 Их теперь нам мыслию не смыслить,  
 Их теперь нам думою не сдумать,  
 И не жить нам в тереме богатом,  
 Не звенеть нам серебром да златом!»

Стонет, братья, Киев над горою,  
 Тяжела Чернигову напасть,  
 И печаль обильною рекою  
 По селеньям русским разлилась.  
 И нависли половцы над нами,  
 Дань берут по белке со двора,  
 И растет крамола меж князьями,  
 И не видно от князей добра.

Игорь-князь и Всеволод отважный,  
 Святослава храбрые сыны,—  
 Вот ведь кто с дружиною бесстрашной  
 Разбудил поганых для войны!  
 А давно ли, мощною рукою  
 За обиды наши покарав,  
 Это зло великою грозою  
 Усыпил отец их Святослав!  
 Был он грозен в Киеве с врагами  
 И поганых ратей не щадил:  
 Устрашил их сильными полками,  
 Порубил булатными мечами  
 И на Степь ногою наступил.  
 Потоптал холмы он и яруги,  
 Возмутил теченье быстрых рек,  
 Исушил болотные округи,  
 Степь до лукоморья пересек.  
 А того поганого Кобяка  
 Из железных вражеских рядов  
 Вихрем вырвал, и упал, собака,  
 В Киеве, у княжьих теремов.

Венецѣйцы, греки и морава  
 Что ни день о русичах поют,  
 Величают князя Святослава,  
 Игоря отважного клянут.  
 И смеется гость земли немецкой,  
 Что, когда не стало больше сил,  
 Игорь-князь в Каяле половецкой  
 Русские богатства утопил.  
 И бежит молва про удалого,  
 Будто он, на Русь накликав зло,  
 Из седла, несчастный, золотого  
 Пересел в кашеево седло...  
 Приумолкли города, и снова  
 На Руси веселье полегло.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

В Киеве далеко, на горах,  
 Смутный сон приснился Святославу,  
 И объял его великий страх,  
 И собрал бояр он по уставу.



«С вечера до нынешнего дня,—  
Молвил князь, поникнув головою,—  
На кровати тисовой меня  
Покрывали черной пеленою.  
Черпали мне синее вино,  
Горькое отравленное зелье,  
Сыпали жемчуг на полотно  
Из колчанов вражьего изделия.  
Златоверхий терем мой стоял  
Без конька, и, предвещая горе,  
Вражий ворон в Плесенске кричал  
И летел, шумя, на сине море».

2

И бояре князю отвечали:  
«Смутен ум твой, княже, от печали.  
Не твои ль два сокола, два чада,  
Поднялись над полем незнакомым  
Поискать Тмуторокани-града  
Либо Дону зачерпнуть шеломом?  
Да напрасны были их усилья.  
Посмеявшись на твои седины,  
Подрубили половцы им крылья,  
А самих опутали в путины».

3

В третий день окончилась борьба  
На реке кровавой, на Каяле,  
И погасли в небе два столба,  
Два светила в сумраке пропали,  
Вместе с ними, за море упав,  
Два прекрасных месяца затмились —  
Молодой Олег и Святослав  
В темноту ночную погрузились.  
И закрылось небо, и погас  
Белый свет над Русскою землею.  
И, как барсы лютые, на нас  
Кинулись поганые с войною.  
И воздвиглась на Хвалу Хула,  
И на волю вырвалось Насилье,  
Прянул Див на землю, и была  
Ночь кругом и горя изобилье.

4

Девы готские у края  
Моря синего живут.

Русским золотом играя,  
Время Бусово поют.  
Мечь лелеют Шаруканью,  
Нет конца их ликованью...  
Нас же, братия-дружина,  
Только беды стерегут.

5

И тогда великий Святослав  
Изронил свое златое слово,  
Со слезами смешано, сказав:  
«О сыны, не ждал я зла такого!  
Загубили юность вы свою,  
На врага не вовремя напали,  
Не с великой честью в бою  
Вражью кровь на землю проливали.  
Ваше сердце в кованой броне  
Закалилось в буйстве самочинном.  
Что ж вы, дети, натворили мне  
И моим серебряным сединам?  
Где мой брат, мой грозный Ярослав,  
Где его черниговские слуги?  
Где татраны, жители дубрав,  
Топчаки, ольберы и ревуги?  
А ведь было время — без щитов,  
Выхватив ножи из голенища,  
Шли они на полчища врагов,  
Чтоб отмстить за наши пепелища.  
Вот где славы прадедовской гром!  
Вы ж решили бить наудалую:  
«Нашу славу силой мы возьмем,  
А за ней поделим и былую».  
Диво ль старцу — мне помолодеть?  
Старый сокол, хоть и слаб он с виду,  
Высоко заставит птиц лететь,  
Никому не даст гнезда в обиду.  
Да князья помочь мне не хотят,  
Мало толку в силе молодецкой.  
Время, что ли, двинулось назад?  
Ведь под самым Римовом кричат  
Русичи под саблей половецкой!  
И Владимир в ранах, чуть живой,—  
Горе князю в сече боевой!»

6

Князь великий Всеволод! Доколе  
Муки нам великие терпеть?

Не тебе ль на суздальском престоле  
О престоле отчем порадеть?  
Ты и Волгу веслами расплещешь,  
Ты шеломом вычерпаешь Дон,  
Из живых ты луков стрелы мечешь,  
Сыновьями Глеба окружен.  
Если б ты привел на помощь рати,  
Чтоб врага не выпустить из рук,—  
Продавали б девок по ногате,  
А рабов — по резани на круг.

7

Вы, князя буй Рюрик и Давид!  
Смолкли ваши воинские громы.  
А не ваши ль плавали в крови  
Золотом покрытые шеломя?  
И не ваши ль храбрые полки  
Рыкают, как туры, умирая  
От каленой сабли, от руки  
Ратника неведомого края?  
Встаньте, государи, в злат стремя  
За обиду в этот черный день,  
За Русскую землю,  
За Игоревы раны —  
Удалого сына Святославича!

8

Ярослав, князь галицкий! Твой град  
Высоко стоит под облаками.  
Оседлал вершины ты Карпат  
И подпер железными полками.  
На своем престоле золотом  
Восемь дел ты, князь, решаешь разом,  
И народ зовет тебя кругом  
Осмомыслом — за великий разум.  
Дверь Дуная заперев на ключ,  
Королю дорогу заступая,  
Бремена ты мечешь выше туч,  
Суд вершишь до самого Дуная.  
Власть твоя по землям потекла,  
В Киевскиеходишь ты пределы,  
И в салтанов с отчего стола  
Ты пускаешь княжеские стрелы.  
Так стреляй в Кончака, государь,  
С дальних гор на ворога ударь —

За Русскую землю,  
За Игоревы раны —  
Удалого сына Святославича!

9

Вы, князя Мстислав и буй Роман!  
Мчит ваш ум на подвиг мысль живая.  
И несетесь вы на вражий стан,  
Соколом ширясь сквозь туман,  
Птицу в буйстве одолеть желая.  
Вся в железе княжеская грудь,  
Золотом шелом латинский блещет,  
И повсюду, где лежит ваш путь,  
Вся земля от тяжести трепещет.  
Хинову вы били и Литву;  
Деремела, половцы, ятвяги,  
Бросив копьа, пали на траву  
И склонили буйную главу  
Под мечи булатные и стяги.

10

Но уж прежней славы больше с нами нет.  
Уж не светит Игорю солнца ясный свет.  
Не ко благу дерево листья обронило:  
Поганое войско грады поделило.  
По Суле, по Роси счету нет врагу.  
Не воскреснуть Игореву храброму полку!  
Дон зовет нас, княже, кличет нас с тобой!  
Ольговичи храбрые одни вступили в бой.

11

Князь Ингварь, князь Всеволод! И вас  
Мы зовем для дальнего похода,  
Трое ведь Мстиславичей у нас,  
Шестокрыльцев княжеского рода!  
Не в бою ли вы себе честном  
Города и волости достали?  
Где же ваш отеческий шелом,  
Верный щит, копье из ляшской стали?  
Чтоб ворота Полю запереть,  
Вашим стрелам время зазвенеть  
За Русскую землю,  
За Игоревы раны —  
Удалого сына Святославича!

Уж не течет серебряной струею  
 К Переяславлю-городу Сула.  
 Уже Двина за полоцкой стеною  
 Под клик поганых в топи утекла.  
 Но Изяслав, Васильков сын, мечами  
 В литовские шеломы позвонил,  
 Один с своими храбрыми полками  
 Всеславу-деду славы прирубил.  
 И сам, прирублен саблею каленой,  
 В чужом краю, среди кровавых трав,  
 Кипучей кровью в битве обагранный,  
 Упал на щит червлёный, простонав:  
 «Твою дружину, княже, придели  
 Лишь птичьи крылья у степных дорог,  
 И полизали кровь на юном теле  
 Лесные звери, выйдя из берлог».  
 И в смертный час на помощь храбру мужу  
 Никто из братьев в бой не поспешил.  
 Один в степи свою жемчужну душу  
 Из храброго он тела изронил.  
 Через золотое, братья, ожерелье  
 Ушла она, покинув свой приют.  
 Печальны песни, замерло веселье,  
 Лишь трубы городенские поют...

Ярослав и правнуки Всеслава!  
 Преклоните стяги! Бросьте меч!  
 Вы из древней выскочили славы,  
 Коль решили честью пренебречь.  
 Это вы раздорами и смутой  
 К нам на Русь поганых завели,  
 И с тех пор житья нам нет от лютой  
 Половецкой проклятой земли!

Шел седьмой по счету век Траянов.  
 Князь могучий полоцкий Всеслав  
 Кинул жребий, в будущее глянув,  
 О своей любимой загадав.  
 Замышляя новую крамолу,  
 Он опору в Киеве нашел,  
 И примчался к древнему престолу,  
 И копьём ударил о престол.

Но не дрогнул старый княжий терем,  
И Всеслав, повиснув в синей мгле,  
Выскочил из Белгорода зверем —  
Не жилец на Киевской земле.  
И, звеня секирами на славу,  
Двери новгородские открыл,  
И расшиб он славу Ярославу,  
И с Дудуток через лес-дубраву  
До Немиги волком проскочил.  
А на речке, братья, на Немиге  
Княжью честь в обиду не дают —  
День и ночь снопы кладут на риге,  
Не снопы, а головы кладут.  
Не цепом — мечом своим булатным  
В том краю молотит земледел,  
И кладет он жизнь на поле ратном,  
Веет душу из кровавых тел.  
Берега Немиги той проклятой  
Почернели от кровавых трав —  
Не добром засеял их оратай,  
Но костями русскими — Всеслав.

15

Тот Всеслав людей судом судил,  
Города Всеслав князьям делил,  
Сам всю ночь, как зверь, блуждал в тумане,  
Вечер — в Киеве, до зорь — в Тмуторокани,  
Словно волк, напав на верный путь,  
Мог он Хорсу бег пересягнуть.

16

У Софии в Полоцке, бывало,  
Позвонят к заутрене, а он  
В Киеве, едва заря настала,  
Колокольный слышит перезвон.  
И хотя в его могучем теле  
Обитала вещая душа,  
Все ж страданья князя одолели,  
И погиб он, местию дыша.  
Так свершил он путь свой небывалый.  
И сказал Боян ему тогда:  
«Князь Всеслав! Ни мудрый, ни удалый  
Не минуют божьего суда».

О, стонать тебе, земля родная,  
 Прежние години вспоминая  
 И князей давно минувших лет!  
 Старого Владимира уж нет.  
 Был он храбр, и никакая сила  
 К Киеву б его не пригвоздила.  
 Кто же стяги древние хранит?  
 Эти — Рюрик носит, те — Давид,  
 Но не вместе их знамена плещут,  
 Врозь поют их копия и блещут.

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

#### 1

Над широким берегом Дуная,  
 Над великой Галицкой землей  
 Плачет, из Путивля долетая,  
 Голос Ярославны молодой:

«Обернусь я, бедная, кукушкой,  
 По Дунаю-речке полечу  
 И рукав с бобровою опушкой,  
 Наклонясь, в Каяле омочу.  
 Улетят, развеются туманы,  
 Приоткроет очи Игорь-князь,  
 И утру кровавые я раны,  
 Над могучим телом наклонясь».

Далеко в Путивле, на забрале,  
 Лишь заря займетса поутру,  
 Ярославна, полная печали,  
 Как кукушка, кличет на юру:

«Что ты, Ветер, злобно повеваешь,  
 Что клубишь туманы у реки,  
 Стрелы половецкие вздымаешь,  
 Мечешь их на русские полки?  
 Чем тебе не любо на просторе  
 Высоко под облаком летать,  
 Корабли лелеять в синем море,  
 За кормою волны колыхать?  
 Ты же, стрелы вражеские сея,  
 Только смертью веешь с высоты.  
 Ах, зачем, зачем мое веселье  
 В ковылях навек развеял ты?»

На заре в Путивле причитая,  
Как кукушка раннею весной,  
Ярославна кличет молодая,  
На стене рыдая городской:

«Днепр мой славный! Каменные горы  
В землях половецких ты пробил,  
Святослава в дальние просторы  
До полков Кобяковых носил.  
Возделей же князя, господине,  
Сохрани на дальней стороне,  
Чтоб забыла слезы я отныне,  
Чтобы жив вернулся он ко мне!»

Далеко в Путивле, на забрале,  
Лишь заря займется поутру,  
Ярославна, полная печали,  
Как кукушка, кличет на юру:

«Солнце трижды светлое! С тобою  
Каждому приветно и тепло.  
Что ж ты войско князя удалое  
Жаркими лучами обожгло?  
И зачем в пустыне ты безводной  
Под ударом грозных половчан  
Жаждою стянуло лук походный,  
Горем переполнило колчан?»

2

И взыграло море. Сквозь туман  
Вихрь промчался к северу родному —  
Сам Господь из половецких стран  
Князю путь указывает к дому.  
Уж погасли зори. Игорь спит.  
Дремлет Игорь, но не засыпает.  
Игорь к Дону мыслями летит,  
До Донца дорогу измеряет.  
Вот уж полночь. Конь давно готов.  
Кто свистит в тумане за рекою?  
То Овлур. Его условный зов  
Слышит князь, укрытый темнотою:  
«Выходи, князь Игорь!» И едва  
Смолк Овлур, как от ночного гула  
Вздогнула земля,  
Зашумела трава,  
Буйным ветром вежи всколыхнуло.



В горностая-белку обратясь,  
К тростникам помчался Игорь-князь,

И поплыл, как гоголь, по волне,  
Полетел, как ветер, на коне.

Конь упал, и князь с коня долой,  
Серым волком скачет он домой.

Словно сокол, вьется в облака,  
Увидав Донец издалека.

Без дорог летит он, без путей,  
Бьет к обеду уток-лебедей.

Там, где Игорь соколом летит,  
Там Овлур, как серый волк, бежит,—

Все в росе от полуночных трав,  
Бóрзых ко́ней в беге надорвав.

3

Уж не каркнет ворон в поле,  
Уж не крикнет галка там,  
Не трещат сороки боле,  
Только скачут по кустам.  
Дятлы, Игоря встречая,  
Стуком кажут путь к реке,  
И, рассвет веселый возвещая,  
Соловьи ликуют вдалеке.

4

И на волнах витязя лелея,  
Рек Донец: «Велик ты, Игорь-князь!  
Русским землям ты принес веселье,  
Из неволи к дому возвратясь».  
«О река,— ответил князь,— немало  
И тебе величья! В час ночной  
Ты на волнах Игоря качала,  
Берег свой серебряный устлала  
Для него зеленою травой.  
И когда дремал он под листвою,  
Где царила сумрачная мгла,  
Страж ему был гоголь над водою,  
Чайка князя в небе стерегла».

А не всем рекам такая слава.  
 Вот Стугна, худой имея нрав,  
 Разлилась близ устья величаво,  
 Все ручьи соседние пожрав,  
 И закрыла Днепр от Ростислава,  
 И погиб в пучине Ростислав.  
 Плачет мать над темною рекою,  
 Кличет сына-юношу во мгле,  
 И цветы поникли, и с тоскою  
 Приклонилось дерево к земле.

Не сороки во поле стрекочут,  
 Не вороны кличут у Донца —  
 Кони половецкие топочут,  
 Гзак с Кончаком ищут беглеца.  
 И сказал Кончаку старый Гзак:  
 «Если сокол улетает в терем,  
 Соколенок попадет впросак —  
 Золотой стрелой его подстрелим».  
 И тогда сказал ему Кончак:  
 «Если сокол к терему стремится,  
 Соколенок попадет впросак —  
 Мы его опутаем девицей».  
 «Коль его опутаем девицей,—  
 Отвечал Кончаку старый Гзак,—  
 Он с девицей в терем свой умчится  
 И начнет нас бить любая птица  
 В половецком поле, хан Кончак!»

И изрек Боян, чем кончить речь  
 Песнотворцу князя Святослава:  
 «Тяжко, братья, голове без плеч,  
 Горько телу, коль оно безглаво».  
 Мрак стоит над Русскою землей:  
 Горько ей без Игоря одной.

Но восходит солнце в небеси —  
 Игорь-князь явился на Руси.

Вьются песни с дальнего Дуная,  
 Через море в Киев долетая.

По Боричеву восходит удалой  
К Пирогощей богородице святой.

И страны рады,  
И веселы грады.

Пели песню старым мы князьям,  
Молодых настало время славить нам:

Слава князю Игорю,  
Буй-тур Всеволоду,  
Владимиру Игоревичу!

Слава всем, кто, не жалея сил,  
За христиан полки поганых бил!

Здрав будь, князь, и вся дружина здрава!  
Слава князьям и дружине слава!

*1938, 1945*

# АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

---

## РАННИЕ ГОДЫ

Наши предки происходят из крестьян деревни Красная Гора Уржумского уезда Вятской губернии. Деревня расположена на высоком берегу реки Вятки, рядом с городищем, где, по преданию, было укрепление ушкуйников, пришедших в старые времена из Новгорода или Пскова. Возможно, что и наши предки приходятся сродни этим своевольным колонизаторам Вятского края.

Прадедом моим был некий Яков, крестьянин, а дедом — сын его Агафон, личность, как мне представляется, во многих отношениях незаурядная. Высокого роста, косая сажень в плечах, он до кончины своей был физически необычайно силен, гнул в трубку медные екатерининские пятаки и в то же время отличался большим простодушием и доверчивостью к людям. В николаевские времена он двадцать пять лет прослужил на военной службе, отбился от крестьянства и, выйдя в отставку, записался в уржумские мещане. Работал он где-то в лесничестве лесным объездчиком. Когда в Крымскую войну разнесся слух о бедствиях русской армии, дед мой стал во главе дружины добровольцев и повел ее пешком через всю Россию на выручку Севастополя. Вернули его откуда-то из-под Курска: Севастополь пал, не дождавшись своего нового защитника.

Сам я деда не помню, но зато хорошо помню его жену, мою бабу, тихую безропотную старушку, которую дед держал в страхе божием. На фотографиях рядом с дедом она выглядит весьма слабым и смиренным созданием. Не думаю, что жизнь ее с супругом была особенно сладкой. Деда она пережила: Агафон умер еще в крепких летах от апоплексического удара.

Одного из двух своих сыновей, моего отца Алексея Агафоновича, дед умудрился обучить в Казанском сельскохозяйственном училище на казенную стипендию. Отец стал агрономом, человеком умственного труда, — первый в длинном ряду своих предков-земледельцев. По своему воспитанию, нраву и характеру работы

он стоял где-то на полпути между крестьянством и тогдашней интеллигенцией. Не столь теоретик, сколь убежденный практик, он около сорока лет проработал с крестьянами, разъезжая по полям своего участка, чуть ли не треть уезда перевел с трехполья на многополье и, уже в советское время, шестидесятилетним стариком, был чествуем как герой труда, о чем и до сих пор в моих бумагах хранится немудрая уездная грамота.

Отцу были свойственны многие черты старозаветной патриархальности, которые каким-то странным образом уживались в нем с его наукой и с его борьбой против земледельческой косности крестьянства. Высокий, видный собою, с красивой черной шевелюрой, он носил свою светло-рыжую бороду на два клина, ходил в поддевке и русских сапогах, был умеренно религиозен, науки почитал, в высокие дела мира сего предпочитал не вмешиваться и жил интересами своей непосредственной работы и заботами своего многочисленного семейства.

Семью он старался держать в строгости, руководствуясь, вероятно, взглядами, унаследованными с детства, но уже и среда была не та, и времена были другие. Женился он поздно, в сорокалетнем возрасте, и взял себе в жены школьную учительницу из уездного города Нолинска<sup>1</sup>, мою будущую мать, — девушку, сочувствующую революционным идеям своего времени. Брак родителей был неудачен во всех отношениях. Трудно представить себе, что толкнуло друг к другу этих людей, столь различных по воспитанию и складу характера. Семейные раздоры были обычными картинами моего детства.

Я был первым ребенком в семье и родился в 1903 году 24 апреля под Казанью, на ферме, где отец служил агрономом. Когда мне было лет шесть, у отца случилась какая-то служебная неприятность, в результате которой мы переехали сначала в село Кукмор, а потом в Вятскую губернию. Это был мрачный период в жизни отца: некоторое время он был без работы, в Кукморе служил даже не по специальности — страховым агентом и выпивал с горя. Впрочем, период этот длился недолго: в 1910 году мы перебрались в родной отцу Уржумский уезд, где отец снова получил место агронома в селе Сернур.

Село было небольшое: площадь с церковью, волостным правлением и домами причта и две длинные улицы, примыкающие к ней с двух концов — Нурбель и Низовка. Под прямым углом к этим улицам к площади примыкали две короткие улочки: на одной была сельская школа, а на другой — больница. Недалеко от школы поселились и мы в длинном бревенчатом доме, разделенном перегородками на отдельные комнаты-клетушки.

Удивительные были места в этом Сернуре и его окрестностях! Помнится мне Елифаниевская ферма — поместье какого-то старозаветного богатея-священника — черный дряхлый дом из

---

<sup>1</sup> Лидию Андреевну Дьяконову. (Примеч. ред.)

столетних бревен, величественный огромный сад, пруды, заросшие ивами, и бесконечные уголья: луга и рощи. Мои первые неизгладимые впечатления природы связаны с этими местами. Вдоволь наслушался я там соловьев, вдоволь насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести растительного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих моих стихотворениях.

А человеческая жизнь вокруг была такая скудная! Особенно бедствовали марийцы — исконные жители этого края. Нищета, голод, трахома сживали их со свету. Купеческое сословие, дома священников — они стояли как-то в стороне от нашей семьи: по скудости средств отец не мог, да и не хотел стоять на равной ноге с ними. Мы, дети, однако ж, знали между собою, у нас были общие интересы, игры. В 1912 году, когда повсюду праздновалось столетие наполеоновской войны, мы, мальчишки, бредили Кутузовым, Багратионом, Платовым и знали как свои пять пальцев всех героев двенадцатого года. Увешанные бумажными орденами, деревянными саблями, мы с пиками наперевес носились по окрестным садам и вели ожесточенные бои с зарослями крапивы, которая изображала собой воинство Бонапарта. Я неизменно был атаманом казачьих войск Платовым и никогда не соглашался на более почетные роли, ибо Платов представлялся мне образом российского героизма, удали и молодечества.

В начальной школе я учился старательно. Но школа была бедная и скудная, ученики — крестьянские мальчики, и среди них — много марийцев, изнуренных нуждою. Священник о. Сергей бивал нас линейкой по рукам и ставил на горох в угол. Однажды зимой, в лютый мороз, в село принесли чудотворную икону, и мой товарищ, марийский мальчик Ваня Мамаев, в худой своей одежке, с утра до ночи ходил с монахами по домам, таская церковный фонарь на длинной палке. Бедняга замерз до полусмерти, измучился и получил в награду лаковую картинку с изображением Николая Чудотворца. Я завидовал его счастью самой черной завистью.

Уржум, ближайший уездный город, был в шестидесяти верстах от нашего села. В Уржуме было реальное училище, отлично оборудованное в новом корпусе, построенном на средства местного земства — одного из передовых земств тогдашней России. В 1913 году, десятилетний мальчиком, я сдавал туда вступительные экзамены. Экзамены шли в огромном зале. Перед стеклянной дверью в этот зал толпились и волновались родители. Когда мать провела меня в это святилище науки, я слышал, как кто-то сказал в толпе: «Ну, этот сдаст. Смотрите, лоб-то какой обширный!» И действительно, сначала все шло благополучно. Я хорошо отвечал по устным предметам — русскому языку, закону божьему, арифметике. Но письменная арифметика подвела: в задачке я что-то напутал, долго бился, отчаялся и, каюсь, малодушно

всплакнул, сидя на своей парте. К счастью, в мой листочек заглянул подошедший сзади учитель и, усмехнувшись, ткнул пальцем куда следовало. Я увидел ошибку, и задачка решилась. В списке принятых оказалась и моя фамилия.

Это было великое, несказанное счастье! Мой мир раздвинулся до громадных пределов, ибо крохотный Уржум представлялся моему взору колоссальным городом, полным всяких чудес. Как была прекрасна эта Большая улица с великолепным красного кирпича собором! Как пленительны были звуки рояля, доносившиеся из открытых окон купеческого дома — звуки, еще никогда в жизни не слышанные мною! А городской сад с оркестром, а городские по углам, а магазины, полные необычайно дорогих и прекрасных вещей! А эти милые гимназисточки в коричневых платьицах с белыми передничками, красавицы,— все как одна! — на которых я боялся поднять глаза, смущаясь и робея перед лицом их нежной прелести! Недаром вот уже три года, как я писал стихи, и, читая поэтов, понабрался у них всякой всячины!

У моего отца была библиотека — книжный шкаф, наполненный книгами. С 1900 года отец выписывал «Ниву», и понемногу из приложенных к этому журналу у него составилось порядочное собрание русской классики, которое он старательно переплетал и приумножал случайными покупками. Этот отцовский шкаф с раннего детства стал моим любимым наставником и воспитателем. За стеклянной его дверцей, наклеенное на картоночку, виднелось наставление, вырезанное отцом из календаря. Я сотни раз читал его, и теперь, сорок пять лет спустя, дословно помню его немудреное содержание. Наставление гласило: «Милый друг! Люби и уважай книги. Книги — плод ума человеческого. Береги их, не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги — все равно что хлеб».

Сам-то отец, говоря по правде, не так уж часто заглядывал в свой шкаф, он скорее уважал его, чем любил, — однако детская душа восприняла его календарную премудрость со всей пылкостью и непосредственностью детства. К тому же каждая книга, прочитанная мной, убеждала меня в правильности этого наставления. Здесь, около книжного шкафа с его календарной панацеей, я навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам еще не вполне понимая смысл этого большого для меня события.

И вот я — реалист. На мне великолепная черного сукна фуражка с лаковым козырьком, блестящим гербом и желтыми кантами. Я одет в черную, с теми же кантами, шинель, и пуговицы мои золотого цвета. Однако парадная форма положена нам голубая, и потому нас, реалистов, дразнят: «Яичница с луком!» Но кто дразнит? Ученики какого-то городского училища. Это — от зависти. Зависть же оттого, что в городе одна-единственная женская гимназия, а мужских училищ два — реальное и городское. Мы, как кавалеры, без особенного усилия забываем их — городских. Отсюда наши вековечные распри.

Иной раз эти распри принимают серьезный оборот. В городе существует заброшенное Митрофаниевское кладбище — место свиданий и любовных встреч. Бывают вечера, когда по незримо-му телеграфу передается весть: «Наших бьют!» Тогда все реалисты, наперекор всем установлениям и правопорядкам, устремляются к Митрофанию и вступают в бой с городскими. Орудиями боя чаще всего служат кожаные форменные ремни, обернутые вокруг ладони. Медная бляха, направленная ребром на противника, действует как булава и может натворить немало бед. Почти всегда победителями выходим мы, реалисты, но кое-когда достается и нам, если мы проморгаем нужное время.

Но как тяжело вдали от дома! Я устроен «на хлеба» к хозяйке Таисии Алексеевне. Вместе со мной в комнате живет еще один мальчик. Нас кормят, нам стирают белье, за нами приглядывают, и все это стоит нашим отцам недешево — по тринадцать рублей с брата в месяц. Наш надзиратель «Бобка», а то и сам инспектор, могут нагрязнуть к нам в любой вечер: после семи часов вечера мы не имеем права появляться на улице. Но где же набраться силы, чтобы выполнять это предписание? Здесь, в этом великолепном городе, действует кинематограф «Фурор», а там идут картины с участием Веры Холодной и несравненного Мозжухина! Приходится идти на то, что старшие наряжают меня девчонкой и тащат с собой на очередной киносеанс. Все как-то сходило с рук, но однажды мы попались: в наше отсутствие явился на квартиру инспектор и устроил скандал. К счастью, в этот вечер горела городская лесопилка, и мы отговорились тем, что были на пожаре. В кондуит мы все же попали, но это было полбеды.

Реальное училище было великолепно. Каждое утро, раздевшись внизу, я, придерживая рукой ранец, поднимался по двум пролетам лестницы и в трех шагах от инспектора щелкал каблуками, кланялся и старался прошмыгнуть дальше. Но это не всегда удавалось. Образец педантизма, немец-инспектор Силяндер был неумолимо строг. Заметив несвеженачищенные ботинки, он отсылал нерадивого вниз, где под лестницей стояла скамья со щетками и ваксой. Там надлежало привести обувь в порядок и процедуру представления повторить снова. В перемену, когда мы беззаботно бегали по коридору или гуляли по залу, к нам мог подойти надзиратель, расстегнуть воротник блузы и проверить белье. И горе тому, у кого белье было цветное или недостаточно чистое — неряха попадал в кондуит или получал строгий выговор от начальства. Так школа приучала нас следить за собой, и это было необходимо, так как состав учеников у нас был пестрый — были тут дети и городской интеллигенции, и дети чиновников, и дети купцов, и много крестьянских детей. Жизненные навыки у нас были в одно и то же время и разнообразны и недостаточны.

Наш учебный день начинался в актовом зале общей молитвой. Здесь, на передней стене, к которой мы становились лицом, висел большой, до самого потолка, парадный портрет царя в зо-



лотой раме. Царь был изображен в мантии и во всех регалиях. Классы выстраивались в установленном порядке, но из них выделялся хор, который становился с левой стороны. Когда все приходило в порядок и учителя, одетые в мундиры, занимали свои места, в зале появлялся директор, и молитва начиналась. Сначала какой-нибудь младенец-новичок читал «Царю небесный», потом пели, потом отец Михаил, наш законоучитель, вечно страдающий флюсом, жиденьким тенорком читал главу из Евангелия, и все это заканчивалось пением гимна «Боже, царя храни». Затем мы с облегчением разбегались по классам.

Оборудование школы было не только хорошо, но сделало бы честь любому столичному училищу. Впоследствии, будучи ленинградским студентом, я давал пробные уроки в некоторых школах Ленинграда, но ни одна из них не шла в сравнение с нашим реальным училищем, расположенным в ста восьмидесяти километрах от железной дороги. У нас были большие, чистые и светлые классы, отличные кабинеты и аудитории по физике и химии, где скамьи располагались амфитеатром, и нам отовсюду были видны те опыты, которые демонстрировал учитель. Особенно великолепен был класс для рисования. Это тоже был амфитеатр, где каждый из нас имел отдельный мольберт. Вокруг стояли статуи — копии античных скульптур. Рисование вместе с математикой считались у нас важнейшими предметами, нас обучали владеть и карандашом, и акварелью, и маслом. У нас были свои местные художники-знаменитости, и вообще живопись была предметом всеобщего увлечения. Хорош был также гимнастический зал с его оборудованием: турником, кожаной кобылой, параллельными брусками, канатами и шестами. На праздниках «сокольской» гимнастики мы выступали в специальных рубашках с трехцветными поясами, и любоваться нашими выступленьями приходил весь город.

Круг учителей был пестрый. Общей нашей любовью стал Владислав Павлович Спасский, учитель истории, еще молодой тогда человек. В то время когда прочие учителя ходили в форменных сюртуках, он почему-то носил пиджак, правда, с теми же лацканами и пуговицами. С принятыми у нас учебниками Иванова он считался мало, основными движущими силами истории считал материальное бытие человечества и по основным вопросам давал свои формулировки, которые заставлял записывать в тетрадь и требовал от нас хорошего их понимания. Никакие ссылки на учебник не помогали иному лентяю в его ответах, — уделом его была неизменная двойка в дневнике. Это обстоятельство долгое время обескураживало нас, но со временем мы поняли, что Спасский — человек самостоятельной мысли, и это обстоятельство необычайно подняло его авторитет в наших глазах. В жизни он был малоразговорчив, сосредоточен и никогда не был с нами запанибрата. Мы уважали его и гордились тем, что он был нашим классным наставником с первого класса.

Учитель естествоведения был высок, кривоват на один глаз, но преподавал увлекательно, был любитель посмеяться, и перед каникулами часто читал нам Чехова, причем читал так уморительно и так заразительно смеялся сам, что мы всем классом, конечно, дружно вторили ему. Это был хороший, дружелюбно настроенный к нам и прогрессивный человек, как то показало его поведение после революции.

Федор Логинович Логинов, учитель рисования, красавец мужчина, кумир уездных дам, пользовался нашей любовью именно потому, что преподавал любезное нашему сердцу рисование, а также потому, что имел порядочный баритон и недурно пел на наших концертах.

Безусловное влияние на нас имела учительница немецкого языка Эльза Густавовна, по мужу Сушкова. В своем синем форменном платье, педантично-аккуратная и в то же время моложавая и миловидная, она была с нами настойчива и трудолюбива. Часто на переменах мы слышали, как она беседует по-немецки с инспектором, и этот свободный иноязычный разговор на нас, провинциальных мальчуганов, производил большое впечатление.

Зато всем классом, дружно, как по уговору, мы ненавидели нашу француженку Елизавету Осиповну Вейль. Это была низенькая, чопорная, в седых аккуратных буклях, старая дева, и во всех ее манерах было что-то такое, что нам, маленьким медвежатам, казалось глубоко чуждым и враждебным. Она почему-то ходила с тростью и часто гуляла по городу со своей отвратительной болонкой. С классом у нее не было общего языка, она была придирчива и нажила себе среди нас немало врагов. В первом же классе мы однажды устроили на ее уроке целое представление. Старая дева имела привычку довольно часто чихать. Чихнув, она величественно открывала свой ридикюль, вынимала платочек, и мы были обязаны сказать ей хором: «А вотр сантэ!»

Пашка Коршунов принес в класс нюхательного табаку и в перемену, перед французским языком, покуда все мы развлекались в зале, рассыпал табак по партам, причем изрядное количество его попало и на учительскую кафедру. Начался урок. Все шло по заведенному порядку, уже было выяснено, какое «ожорд-ви» число и кто из учеников «сонтапсан», как вдруг учительница вынула платок и чихнула.

— А вотр сантэ,— сказали мы, и занятия продолжались.

Но вот француженка чихнула во второй, в третий, в четвертый раз.

— А вотр сантэ! А вотр сантэ! — отвечали мы.

И вдруг и справа и слева послышались чиханья, сперва легкие и короткие, потом все более ожесточенные и, наконец, превратившиеся в сплошное безобразие. Старушка же, закрывшись платочком, чихала непрерывно, слезы ручьем текли по ее лицу, и класс, сам изнемогая от нестерпимого зуда в носу и глотке, кричал, захлебываясь:

— А вотр сантэ, а вотр сантэ, мадемуазель!

Кончилось дело тем, что француженка выбежала за дверь и Пашка Коршунов в одну минуту замел все следы своего преступления. Явился инспектор. После уроков мы два часа простояли на ногах всем классом. Пашку Коршунова мы не выдали.

В первые дни революции, когда я учился в четвертом классе, в квартире француженки были выбиты камнями все окна, и с тех пор она исчезла с нашего горизонта. Нечего говорить о том, что по-французски мы были «ни в зуб ногой».

Мальчишеских дурачеств было достаточно, но любопытно, что проявлялись они лишь в отношении немногих, особенно любимых нами учителей. Однажды нам, наблюдательным бесенятам, показалось, и, может быть, не без некоторого основания, что Спасский и немка равнодушны друг к другу. Тотчас на классной доске появилась огромная надпись мелом: «В. П. = Э. Г.». То есть Владислав Павлович равняется Эльзе Густавовне. Немка, увидев эту надпись, покраснела и поспешно вышла из класса. Но едва в класс вошел Спасский и увидел наше произведение, он спокойно сел за кафедру и обычным голосом сказал:

— Дежурный, сотрите с доски.

Это было сказано так ровно, спокойно и твердо, что класс сразу понял: тут шутить нельзя. И шутка больше не повторялась.

Батюшку, отца Михаила, мы не ставили ни во что. Это был удивительный неудачник, ни в ком не вызывающий сожаления. Когда-то он окончил юридический факультет университета, но потом, по убеждениям, принял духовный сан. Со своим вечным флюсом, с багрово-сизым носом, с бабьим тенорком и мочальными волосиками, он производил жалкое впечатление. Жена ему ежегодно рожала по очередному младенцу, и это тоже смешило нас. Однажды наши озорники прибили ему калоши гвоздями к полу, так что батюшка, надевая их, едва не растянулся, и упал бы, если бы не подвернувшийся под руку швейцар Василий. На уроках, ко всеобщей нашей потехе, он повествовал об Ионе во чреве кита и всем ставил или пятерки, или единицы. Уважать его оснований не было.

Остальные учителя были ни то ни се. Русский язык преподавал Иван Савельевич Баймеков, мариец по-национальности, арифметику и алгебру — молодой белобрысый Беляев, — личности, ничем не примечательные. Учителем гимнастики был некто Холодковский, он же надзиратель, он же «Бобка». В нем чувствовалось нечто от старозаветного педея: с начальством он был угодлив, со старшеклассниками держался запанибрата, и они угощали его папиросами в уборной. Мы, младшие, его вниманием не пользовались, но инстинктивно считали его предателем и не доверяли ему.

Во главе училища стоял директор Богатырев Михаил Федорович. Швейцар Василий, раздевая его внизу, величал его: «Ваше

превосходительство». Директор был представителен, красив в своей живописной седине, к тому же он считался незаурядным математиком и великолепным шахматистом. Но он стоял так высоко над нами и так мало общался с младшими классами, что мы долгое время не имели о нем определенного мнения.

Из моих новых товарищей я сразу же подружился с Мишей Ивановым, сыном учительницы женской гимназии. Это был нежный тонкий мальчик с прекрасными темными глазами, впечатлительный, скромный, большой любитель рисования, сразу сделавший большие успехи по этому предмету. Сам же я был в детстве порядочный увалень, малоподвижный, застенчивый и, втайне, честолюбивый и настороженный. Когда, бывало, мать говорила мне в детстве: «Ты пошел бы погулять, Коля!» — я неизменно отвечал ей: «Нет, я лучше посижу». И сидел один в молчании, и мне нисколько не было скучно, и голова моя была, очевидно, занята какими-то важными размышлениями. С нервным и хрупким Мишей Ивановым нас сблизила, как видно, противоположность темперамента при общем сходстве интересов: мы оба были поклонниками искусства. Наша дружба была верной и прочной за все время нашего ученичества. Мы поверяли друг другу самые интимные свои тайны, делились самыми смелыми своими надеждами. А их было уже немало в те ранние наши годы!

Оба мы были влюблены — постоянно и безусловно. Разница была лишь в том, что Миша никогда не изменял в своих мечтах юной и прелестной Ниночке Перельман, — мои же предметы менялись почти еженедельно. Уж если говорить по правде, то еще в Сернуре я был безнадежно влюблен в свою маленькую соседку Еню Баранову. Ее полное имя было Евгения, но все, по домашней привычке, звали ее почему-то Еня, а не Женя. У Ени были красивые серые глаза, которые своей чистой округлостью заставляли вспоминать о ее фамилии, но это придавало ей лишь особую прелесть. После долгих мучительных колебаний я однажды совершенно неожиданно сказал ей басом: «Я люблю вас, Еня!» Еня с недоумением и полным непониманием происходящего подняла на меня свои чистые бараньи глазки, и, увидав их, я побегавел от стыда, повернулся и ударился в малодушное бегство. Через несколько дней после этого события нас обоих отвезли в Уржум и отдали меня в реальное училище, а ее — в гимназию. И надо же было так случиться, что ежедневно утром, по дороге в школу, мы непременно встречались с нею, и она смотрела на меня так вопросительно, так недоумевающе... Я же, надувшись, едва кланялся ей: этим способом я, несчастный, мстил ей за свое невыразимое позорище.

Потом появилась у меня другая любовь — бледная, как лилия, дочка немца-провизора Рита Витман. В своей круглой гимназической шапочке со значком, загадочная и молчаливая, она была, безусловно, воплощением совершенства, но объясниться

с нею я уже не мог, и она никогда не узнала о том, как мечтал о ней этот краснощекий реалистик, какие пламенные стихи посвящал он ее красоте!

Вслед за Ритой Витман появились у меня и другие предметы воздыхания, и среди них — курносая и разбитная Нина Пантюхина. С этой девицей был у меня хотя и не длинный, но деятельный роман. В начале немецкой войны мы собирали пожертвования в пользу раненых воинов. Ходили по домам парами: реалист и гимназистка. Реалист носил кружку для денег, гимназистка — щиток с металлическими жетонами, которые прикалывались на грудь жертвователям. Во всем этом деле моей неизменной дамой была Нина. И на каждой лестнице, прежде чем дернуть за ручку звонка, мы, да простит нам господь Бог, целовались с удовольствием и увлечением. Таким образом я мало-помалу начинал постигать искусство любви, в то время как мой бедный друг Миша Иванов кротко и безнадежно мечтал о своей красавице и не дерзал даже близко подходить к ней!

Роман Миши Иванова с Ниной Перельман кончился трагически. Были в нашем классе два оболтуса — Митька Окунев и Петька Ливанов. Эти великовозрастные парни, аккуратные второгодники, сидели рядом на «камчатке» и были воплощением всех пороков, доступных нашему воображению. Они не учили уроков, дерзили учителям, курили, немилосердно угнетали нас щелчками, пинками и подзатыльниками. Ливанов имел при этом необычайно выдающийся кадык и пел в хоре басом. Огненно-рыжий, весь в веснушках, Митька Окунев был удалец по дамской части. Когда, после исчезновения француженки Вейль, на ее место была назначена новая учительница — великолепная, с пышными формами шатенка, — Митька Окунев, будучи вызван к ответу, принимал фатоватую позу ловеласа и молча упирался своими наглыми глазницами в эту новоприбывшую красавицу. И весь класс, замирая, видел, как лицо ее начинало покрываться багровым румянцем. Она краснела вся, до самых ушей, даже шея ее краснела, на глазах ее появлялись слезы, и наконец, захлопнув журнал, она убежала из класса... Товарищ этого молодца — Петька Ливанов — в последние годы нашего ученичества соблазнил бедняжку Нину Перельман и бросил ее, а Миша Иванов, неизменный и молчаливый ее поклонник, сошел с ума в Москве, куда он уехал поступать в художественное училище. Через несколько лет он умер в Уржуме, у своих родных...

Маленький захолустный Уржум впоследствии прославился как родина С. М. Кирова. В мое время это был обычный мещанский городок, окруженный морем полей и лесов северо-восточной части России. Были в нем два мизерных заводика — кожевенный и спирто-водочный, в семи верстах — пристань на судоходной Вятке. Отцы города — местное купечество — развлекались в Обществе трезвости, своеобразном городском клубе. Было пять-шесть церквей, театр в виде длинного деревянного барака под названи-

ем «Аудитория», земская управа, воинское присутствие, номера Потапова и еще кого-то, весьма основательный острог на площади, аптека, казарма местного гарнизона. Гарнизон состоял из роты солдат под командой бравого поручика, кривого на один глаз, но лихого, в перчатках и при шпаге. Существовала пожарная команда с ее выдающимся духовым оркестром. На парадах по царским дням мы имели удовольствие наблюдать все это храброе воинство. Парад принимал настоящий генерал, правда, в отставке, по фамилии Смирнов. Эта еле двигающаяся развалина, одетая в древний мундир, белые штаны и треуголку, с трудом вылезала из собора, воинство брало «на караул», и еле слышный старческий голосок поздравлял его с тезоименитством государя императора. Воинство гаркало в ответ, неистово подавал команду поручик, пожарники, хлебнув заблаговременно по чарке, взывали на своих трубах и литаврах, и рота дефилировала к казарме. Толпа торговок, шумя и толкаясь, провожала своих любезных восторженными взглядами и восклицаниями.

Каждую субботу и воскресенье мы обязаны были являться к обедне и всенощной. Мы, реалисты, построенные в ряды, стояли в правом приделе собора, гимназистки в своих белых передничках — в левом. За спиной дежурило начальство, наблюдая за нашим поведением. Дневные службы я не любил: это тоскливое двухчасовое стояние на ногах, и притом на виду у инспектора, удручало всю нашу братию. Мудрено было жить божественными мыслями, если каждую минуту можно было ожидать замечания за то, что не крестишься и не кланяешься там, где это положено правилами. Но тихие всенощные в полутемной, мерцающей огоньками церкви невольно располагали к задумчивости и сладкой грусти. Хор был отличный, и когда девичьи голоса пели «Слава в вышних Богу» или «Свете тихий», слезы подступали к горлу, и я по-мальчишески верил во что-то высшее и милосердное, что парит высоко над нами и, наверное, поможет мне добиться настоящего человеческого счастья.

Иногда мы прислуживали в соборе. Одетые в негнущиеся стихари, двое или трое из нас ходили зажигать и тушить свечи перед иконами, помогали в алтаре и потихоньку попивали «теплоту» — разведенное в теплой воде красное вино, которым запивают причастие. Но, будучи служками, мы несли еще и другие, не установленные начальством и совершенно добровольные обязанности. Пачки любовных записок переходили с нашей помощью от реалистов к гимназисткам и обратно в продолжение всей службы. Это дело требовало ловкости и умения, но мы быстро освоились с ним и почти никогда не попадались в лапы начальства.

Большим воскресным событием был еженедельный базар, собиравшийся на площади перед острогом. Сюда съезжались крестьяне со всего уезда. Везли скот, мясо, муку, дрова, пеньку и все то, что можно было вывезти из деревни. Домохозяйки всех рангов с озабоченными и вдохновенными лицами сновали в этой

толпе: провизия закупалась на всю неделю, было о чем позаботиться. Бойко работала «монополька». Начиная с полудня вокруг нее лежали живые трупы, слышался бабий вой, воздух наполнялся смрадом пережженного спирта, песнями и руганью. Не отставало от «монопольки» и Общество трезвости. По крутым его ступенькам посетители зачастую съезжали на спине и лишь с помощью годового могли подняться на собственные конечности.

На фоне этой замкнутой и десятками лет узаконенной жизни резко выделялась и влекла нас к себе другая жизнь, не слишком богатая, но все же заметная и все более растущая. В «Аудитории» регулярно работал и давал свои незамысловатые спектакли любительский драматический кружок. Существовало музыкальное училище, музыка повсюду пользовалась почетом и любовью. В первый год моего ученичества у нас в реальном училище, силами учителей, интеллигенции и старшекласников ставилась (полностью!) «Аида». Правда, опера шла под аккомпанемент рояля и с помощью лишь местных ограниченных средств — но шла! Концерты давались регулярно то там, то тут. Работали две приличные библиотеки. И впоследствии, в первые годы революции, когда, спасаясь от голода, хлынула к нам из столиц артистическая интеллигенция, она нашла в Уржуме добрую почву для работы, понимание и всеобщее поклонение.

По временам из Сернур приезжал отец и забирал меня к себе в номера Потапова. Здесь мы вели роскошную жизнь — лакомились икрой, копченой рыбкой, сыром. Все это были деликатесы, недоступные нам в обычной жизни. На рождественские и пасхальные каникулы отец увозил меня домой, в Сернур.

Чудесные зимние дороги — одно из лучших моих детских воспоминаний. Отец ездил на паре казенных лошадей в крытой повозке или кошевых санях. Он был в тулупе поверх полушубка, в огромных валенках — настоящий богатырь-бородач. Соответственным образом одевали и меня. Усевшись в повозку, мы покрывали ноги меховым одеялом и уже не могли под тяжестью одежды двинуть ни рукой, ни ногой. Ямщик влезал на козлы, разбирал вожжи, вздрагивал колокольчик на дуге у коренного, и мы трогались. Предстоял целый день пути при 20—25-градусном морозе.

И зима, огромная, просторная, нестерпимо блистающая на снежных пустынях полей, развертывала передо мной свои диковинные картины. Поля были беспредельны, и лишь далеко на горизонте темнела полоска леса. Снег скрипел, пел и визжал под полозьями; дребезжал колокольчик; развевая свои седые, покрытые инеем гривы, храпели лошади и протяжно покрикивал ямщик, похожий на рождественского деда с ледяными сосульками в замерзшей бороде. По временам мы ехали лесом, и это было сказочное государство сна, таинственное и неподвижное. И только заячьи следы на снегу да легкий трепет какой-то зимней птички, мгновенно вспорхнувшей с елки и уронившей в сугроб целую

охапку снега, говорили о том, что не все здесь мертво и неподвижно, что жизнь продолжается, тихая, скрытная, беззвучная, но никогда не умирающая до конца.

Совсем другой была природа под пасху. Она оживала вся сразу и, окончательно еще не проснувшись, была наполнена смутным и тревожным шумом постепенного своего пробуждения. Темнел и с мелодичным еле слышным звоном таял снег; ручьи уже начинали свои бесшабашные танцы; падали капли; скот радостно и сдержанно шумел в деревнях и просился на волю. И реки, эти замерзшие царственные красавицы, вздрагивали, покрывались туманом и уже грозили нам неисчислимыми бедами. Однажды мы с отцом попали в разводье. Лошади успели проскочить, но тяжелая повозка провалилась и уперлась передком в твердую льдину. Вода хлестала через нас по меховому одеялу, и мы были на волосок от гибели. Но хорошие кони вынесли, и опасность миновала.

Кормили лошадей на полдороге, в марийской деревне Часовня. Тут мы отдыхали, пили чай в вонючей, грязной избе, окруженные полуголыми ребятишками, и с полатей, посасывая длинную трубку, неподвижно смотрела на нас дряхлая лысая старуха — существо, лишь отдаленно похожее на человека. Домой приезжали поздно, при свете звезд, когда все село уже спало и только в нашем доме светился огонек: домашние ждали нас.

Семье жилось нелегко. Детей у матери было шестеро, и я — старший из них. Погруженная в домашние заботы, мать старилась раньше времени и томилась в захолустье. Когда-то радостная и веселая, теперь она видела всю безвыходность своего неудачного супружества и нерастраченные душевные силы свои выражала в иступленной любви к детям. Она чувствовала, что настоящая живая жизнь идет где-то стороной, далеко от нее, сама же она обречена на медленное душевное умирание. Она с гордостью рассказывала нам, что есть на свете люди, которые желают добра народу и борются за его счастье и за это их гонят и преследуют; что сестра ее, тетя Миля, сидела в тюрьме за нелегальную работу, так же как сидел один из отцовых племянников, студент, известный в нашей семье под кличкой Коля-большой, в отличие от меня — Коли-маленького. Коля-большой по временам приезжал к нам со своей неизменной гитарой и собирал вокруг себя целую толпу местной молодежи. Он славно пел свои неведомые нам студенческие песни и всем своим веселым видом вовсе не напоминал подвижника, пострадавшего за народ. Эта была загадка, разгадать которую я был еще не в силах.

В 1914 году, когда я учился во втором классе, началась немецкая война. Но она была так далеко от нас и так мало поддавалась нашему представлению, что вначале больших перемен в нашу жизнь не внесла. Однажды приезжали в училище бывшие наши выпускники, теперь молодые прапорщики, отправляющиеся на фронт, прощаться с директором и учителями. Они были в новеньких защитных куртках, в погонах, с сабельками. Мы, разинув



рот, наблюдали издали за ними и мучительно завидовали им. Потом разнесся слух, что убили одного из них — Кошкина. Труп его в свинцовом гробу привезли в город, и все реальное училище хоронило его на городском кладбище. По этому поводу я написал весьма патриотическое стихотворение «На смерть Кошкина» и долгое время считал его образцом изящной словесности.

Во всех домах появились карты военных действий с передвигающимися флажками, отмечающими линию фронта. Вначале все это занимало нас, особенно во время прусского наступления, но затем, когда обнаружилось, что флажки передвигаются не только вперед, но и назад, и даже далеко назад, — игра постепенно приелась, и мы охладели к ней. И только буйные крики пьяных новобранцев да женский плач, которые все чаще слышались у воинского присутствия, напоминали нам о том, что в мире творится нечто страшное и беспощадное, нимало не похожее на это безмятежное передвигание флажков в глубине уржумского захолустья.

1955

## ИСТОРИЯ МОЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

### 1

Это случилось в Ленинграде 19 марта 1938 года. Секретарь Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко вызвал меня в союз по срочному делу. В его кабинете сидели два неизвестных мне человека в гражданской одежде.

— Эти товарищи хотят говорить с вами, — сказал Мирошниченко. Один из незнакомцев показал мне свой документ сотрудника НКВД.

— Мы должны переговорить с вами у вас на дому, — сказал он.

В ожидавшей меня машине мы приехали ко мне домой, на Канал Грибоедова. Жена лежала с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чем дело. Сотрудники НКВД предъявили мне ордер на арест.

— Вот до чего мы дожили, — сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер.

Начался обыск. Отобрали два чемодана рукописей и книг. Я попрощался с семьей. Младшей дочке было в то время 11 месяцев. Когда я целовал ее, она впервые пролепетала: «Папа!» Мы вышли и прошли коридором к выходу на лестницу. Тут жена с криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались.

Меня привезли в Дом предварительного заключения (ДПЗ), соединенный с так называемым Большим домом на Литейном

проспекте. Обыскали, отобрали чемодан, шарф, подтяжки, воротничок, срезали металлические пуговицы с костюма, заперли в крошечную камеру. Через некоторое время велели оставить вещи в какой-то другой камере и коридорами повели на допрос.

Начался допрос, который продолжался около четырех суток без перерыва. Вслед за первыми фразами послышались брань, крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо преступления меня вывели из общей комнаты следователей, и с этого времени допрос велся главным образом в кабинете моего следователя Лупандина (Николая Николаевича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то время не справлялись с делами ввиду большого количества арестованных.

Следователи настаивали на том, чтобы я сознался в своих преступлениях против советской власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не в чем.

— Знаешь ли ты, что говорил Горький о тех врагах, которые не сдаются? — спрашивал следователь. — Их уничтожат!

— Это не имеет ко мне отношения, — отвечал я.

Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что допрашивают писателя.

Я протестовал против незаконного ареста, против грубого обращения, криков и брани, ссылаясь на права, которыми я, как и всякий гражданин, обладаю по советской конституции.

— Действие конституции кончается у нашего порога, — издевательски отвечал следователь.

Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в соседнем кабинете, по временам слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали. Впрочем, допрос иногда прерывался и мы сидели молча. Следователь что-то писал, я пытался дремать, но он тотчас будил меня.

По ходу допроса выяснялось, что НКВД пытается сколотить дело о некоей контрреволюционной писательской организации. Главой организации предполагалось сделать Н. С. Тихонова. В качестве членов должны были фигурировать писатели-ленинградцы, к этому времени уже арестованные: Бенедикт Лившиц, Елена Тагер, Георгий Куклин, кажется, Борис Корнилов, кто-то еще и, наконец, я. Усиленно допытывались сведений о Федине

и Маршаке. Неоднократно шла речь о Н. М. Олейникове, Т. И. Табидзе, Д. И. Хармсе и А. И. Введенском — поэтах, с которыми я был связан старым знакомством и общими литературными интересами. В особую вину мне ставилась моя поэма «Торжество Земледелия», которая была напечатана Тихоновым в журнале «Звезда» в 1933 году. Зачитывались «изобличающие» меня «показания» Лившица и Тагер, однако прочитать их собственными глазами мне не давали. Я требовал очной ставки с Лившицем и Тагер, но ее не получил.

На четвертые сутки, в результате нервного напряжения, голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и на каждой ее странице я видел все новые и новые изображения. Не обращая ни на что внимания, я разъяснял следователям содержание этих картин. Мне сейчас трудно определить мое тогдашнее состояние, но помнится, я чувствовал внутреннее облегчение и торжество свое перед этими людьми, которым не удастся сделать меня бесчестным человеком. Сознание, очевидно, еще теплилось во мне, если я запомнил это обстоятельство и помню его до сих пор.

Не знаю, сколько времени это продолжалось. Наконец, меня вытолкнули в другую комнату. Оглушенный ударом сзади, я упал, стал подниматься, но последовал второй удар в лицо. Я потерял сознание. Очнулся я, захлебываясь от воды, которую кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось, начали срывать с меня одежду. Я снова потерял сознание. Едва я пришел в себя, как какие-то неизвестные мне парни поволокли меня по каменным коридорам тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моей беззащитностью. Они втоптали меня в камеру с железной решетчатой дверью, уровень пола которой был ниже пола коридора, и заперли в ней. Как только я очнулся (не знаю, как скоро случилось это), первой мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить себя этим людям или, по крайней мере, не отдать свою жизнь даром! В камере стояла тяжелая железная койка. Я подтащил ее к решетчатой двери и подпер ее спинкой дверную ручку. Чтобы ручка не соскочила со спинки, я прикрутил ее к кровати полотенцем, которое было на мне вместо шарфа. За этим занятием я был застигнут моими мучителями. Они бросились к двери, чтобы раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру, и, пользуясь ею, как пикой, оборонялся насколько мог, и скоро отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы справиться со мной, им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести его в действие. Струя воды под сильным напо-

ром ударила в меня и обожгла тело. Меня загнали этой струей в угол и, после долгих усилий, вломились в камеру целой толпой. Тут меня жестоко избили, испинали сапогами, и врачи впоследствии удивлялись, как остались целы мои внутренности— настолько велики были следы истязаний.

Я очнулся от невыносимой боли в правой руке. С завернутыми назад руками я лежал, прикрученный к железным перекладинам койки. Одна из перекладин врезалась в руку и нестерпимо мучила меня. Мне чудилось, что вода заливает камеру, что уровень ее поднимается все выше и выше, что через мгновение меня зальет с головой. Я кричал в отчаянье и требовал, чтобы какой-то губернатор приказал освободить меня. Это продолжалось бесконечно долго. Дальше все путается в моем сознании. Вспоминаю, что я пришел в себя на деревянных нарах. Все вокруг было мокро, одежда промокла насквозь, рядом валялся пиджак, тоже мокрый и тяжелый, как камень. Затем, как сквозь сон, помню, что какие-то люди волокли меня под руки по двору... Когда сознание снова вернулось ко мне, я был уже в больнице для умалишенных.

Тюремная больница Института судебной психиатрии помещалась недалеко от Дома предварительного заключения. Здесь меня держали, если я не ошибаюсь, около двух недель, сначала в буйном, потом в тихом отделениях.

Состояние мое было тяжелое: я был потрясен и доведен до невменяемости, физически же измучен истязаниями, голодом и бессонницей. Но остаток сознания еще теплился во мне или возвращался ко мне по временам. Так, я хорошо запомнил, как, раздевая меня и принимая от меня одежду, волновалась медицинская сестра: у нее тряслись руки и дрожали губы. Не помню и не знаю, как лечили меня на первых порах. Помню только, что я пил по целой стопке какую-то мутную жидкость, от которой голова делалась деревянной и бесчувственной. Вначале, в припадке отчаянья, я торопился рассказать врачам обо всем, что было со мною. Но врачи лишь твердили мне: «Вы должны успокоиться, чтобы оправдать себя перед судом». Больница в эти дни была моим убежищем, а врачи если и не очень лечили, то, по крайней мере, не мучили меня. Из них я помню врача Гонтарева и женщину-врача Келчевскую (имя ее Нина, отчества не помню).

Из больных мне вспоминается умалишенный, который, изображая громкоговоритель, часто вставал в моем изголовье и трубным голосом произносил величания Сталину. Другой бегал на четвереньках, лая по-собачьи. Это были самые беспокойные люди. На других безумие накатывало лишь по временам. В обычное время они молчали, саркастически улыбаясь и жестикулируя, или неподвижно лежали на своих постелях.

Через несколько дней я стал приходить в себя и с ужасом понял, что мне предстоит скорое возвращение в дом пыток. Это случилось на одном из медицинских осмотров, когда на вопрос

врача, откуда взялись черные кровоподтеки на моем теле, я ответил: «Упал и ушибся». Я заметил, как переглянулись врачи: им стало ясно, что сознание вернулось ко мне и я уже не хочу винить следователей, чтобы не ухудшить своего положения. Однако я был еще очень слаб, психически неустойчив, с трудом дышал от боли при каждом вдохе, и это обстоятельство на несколько дней отсрочило мою выписку.

Возвращаясь в тюрьму, я ожидал, что меня снова возьмут на допрос, и приготовился ко всему, лишь бы не наклеветать ни на себя, ни на других. На допрос меня, однако, не повели, но втолкнули в одну из больших общих камер, до отказа наполненную заключенными. Это была большая, человек на 12—15, комната, с решетчатой дверью, выходящей в тюремный коридор. Людей в ней было человек 70—80, а по временам доходило и до 100. Облака пара и специфическое тюремное зловоние неслись из нее в коридор, и я помню, как они поразили меня. Дверь с трудом закрылась за мной, и я оказался в толпе людей, стоящих вплотную друг возле друга или сидящих беспорядочными кучами по всей камере. Узнав, что новичок — писатель, соседи заявили мне, что в камере есть и другие писатели, и вскоре привели ко мне П. Н. Медведева и Д. И. Выгодского, арестованных ранее меня. Увидав меня в жалком моем положении, товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении этого слова.

## 2

Большинство свободных людей отличаются от несвободных общими характерными для них признаками. Они достаточно уверены в себе, в той или иной мере обладают чувством собственного достоинства, спокойно и разумно реагируют на внешние раздражения... В годы моего заключения средний человек, без всякой уважительной причины лишенный свободы, униженный, оскорбленный, напуганный и сбитый с толку той фантастической действительностью, в которую он внезапно попал, — чаще всего теряет особенности, присущие ему на свободе. Как пойманный в силки заяц, он беспомощно метался в них, ломился в открытые двери, доказывая свою невинность, дрожал от страха перед ничтожными выродками, потерявшими свое человекоподобие, всех подозревал, терял веру в самых близких людей и сам обнаруживал наиболее низменные свои черты, доселе скрытые от постороннего глаза. Через несколько дней тюремной обработки черты раба явственно выступали на его облике, и ложь, возведенная на него, начинала пускать свои корни в его смятенную и дрожащую душу.

В ДПЗ, где заключенные содержались в период следствия, этот процесс духовного растрепания людей только лишь начинался.

Здесь можно было наблюдать все виды отчаяния, все проявления холодной безнадежности, конвульсивного истерического веселья и цинического наплевательства на все на свете, в том числе и на собственную жизнь. Странно было видеть этих взрослых людей, то рыдающих, то падающих в обморок, то трясущихся от страха, затравленных и жалких. Мне рассказывали, что писатель Адриан Пиотровский, сидевший в камере незадолго до меня, потерял от горя всякий облик человеческого, метался по камере, царапал грудь каким-то гвоздем и устраивал по ночам постыдные вещи на глазах у всей камеры. Но рекорд в этом отношении побил, кажется, Валентин Стенич, сидевший в камере по соседству. Эстет, сноб и гурман в обычной жизни, он, по рассказам заключенных, быстро нашел со следователями общий язык и за пачку папирос подписывал любые показания. Справедливость требует сказать, что наряду с этими людьми были и другие, сохранившие ценой величайших усилий свое человеческое достоинство. Зачастую эти порядочные люди до ареста были совсем маленькими скромными винтиками нашего общества, в то время как великие люди мира сего нередко превращались в тюрьме в жалкое подобие человека. Тюрьма выводила людей на чистую воду, только не в том смысле, как этого хотели Заковский и его начальство.

Весь этот процесс разложения человека проходил на глазах у всей камеры. Человек не мог здесь уединиться ни на миг, и даже свою нужду отправлял он в открытой уборной, находившейся тут же. Тот, кто хотел плакать,—плакал при всех, и чувство естественного стыда удесятерило его муки. Тот, кто хотел покончить с собою,—ночью, под одеялом, сжав зубы, осколком стекла пытался вскрыть вены на руке, но чей-либо бессонный взор быстро обнаруживал самоубийцу, и товарищи обезоруживали его. Эта жизнь на людях была добавочной пыткой, но в то же время она помогла многим перенести их невыносимые мучения.

Камера, куда я попал, была подобна огромному, вечно жужжавшему муравейнику, где люди целый день топтались друг подле друга, дышали чужими испарениями, ходили, перешагивая через лежащие тела, ссорились и мирились, плакали и смеялись. Уголовники здесь были смешаны с политическими, но в 1937—1938 годах политических было в десять раз больше, чем уголовных, и потому в тюрьме уголовники держались робко и неуверенно. Они были нашими владыками в лагерях, в тюрьме же были едва заметны. Во главе камеры стоял выборный староста по фамилии Гётман. От него зависел распорядок нашей жизни. Он соответственно тюремному стажу распределял места—где кому спать и сидеть, он распределял довольствие и наблюдал за порядком. Большая слаженность и дисциплина требовались для того, чтобы всем устроиться на ночь. Места было столько, что люди могли лечь только на бок, вплотную прижавшись друг к другу, да и то не все враз, но в две очереди. Устройство на ночь происходило по команде старосты, и это было удивительное зрелище соразмерных,

точно рассчитанных движений и перемещений, выработанных многими «поколениями» заключенных, принужденных жить в одной тесно спрессованной толпе и постепенно передающих новичкам свои навыки.

Днем камера жила вялой и скучной жизнью. Каждое пустяковое житейское дело: пришить пуговицу, починить разорванное платье, сходить в уборную — выросло здесь в целую проблему. Так, для того чтобы сходить в уборную, нужно было отстоять в очереди не менее чем полчаса. Оживление в дневной распорядок вносили только завтрак, обед и ужин. В ДПЗ кормили сносно, заключенные не голодали. Другим развлечением были обыски. Обыски устраивались регулярно и носили унижительный характер. Цели своей они достигали только отчасти, так как любой заключенный знает десятки способов, как уберечь свою иголку, огрызок карандаша или самое большое свое сокровище — перочинный ножичек или лезвие от самобрейки. На допросы в течение дня заключенных почти не вызывали.

Допросы начинались ночью, когда весь многоэтажный застенок на Литейном проспекте озарялся сотнями огней и сотни сержантов, лейтенантов и капитанов госбезопасности вместе со своими подручными приступали к очередной работе. Огромный каменный двор здания, куда выходили открытые окна кабинетов, наполнялся стоном и душераздирающими воплями избиваемых людей. Вся камера вздрагивала, точно электрический ток внезапно пробегал по ней, и немой ужас снова появлялся в глазах заключенных. Часто, чтобы заглушить эти вопли, во дворе ставились тяжелые грузовики с работающими моторами. Но за треском моторов наше воображение рисовало уже нечто совершенно неопишемое, и наше нервное возбуждение доходило до крайней степени.

От времени до времени брали на допрос того или другого заключенного. Процесс вызова был такой.

— Иванов! — кричал, подходя к решетке двери, тюремный служащий.

— Василий Петрович! — должен был ответить заключенный, называя свое имя-отчество.

— К следователю!

Заключенного выводили из камеры, обыскивали и вели коридорами в здание НКВД. На всех коридорах были устроены деревянные, наглухо закрывающиеся будки, нечто вроде шкафов или телефонных будок. Во избежание встреч с другими арестованными, которые показывались в конце коридора, заключенного обычно вталкивали в одну из таких будок, где он должен был ждать, куда встречного уведут дальше.

По временам в камеру возвращались уже допрошенные; зачастую их вталкивали в полной прострации, и они падали на наши руки; других же почти вносили, и мы потом долго ухаживали за этими несчастными, прикладывая холодные компрессы и отпа-

ивая их водой. Впрочем, нередко бывало и так, что тюремщик приходил лишь за вещами заключенного, а сам заключенный, вызванный на допрос, в камеру уже не возвращался.

Издательство и побои испытывал в то время каждый, кто пытался вести себя на допросах не так, как это было угодно следователю, то есть, попросту говоря, всякий, кто не хотел быть клеветником.

Дав. Ис. Выгодского, честнейшего человека, талантливого писателя, старика, следователь таскал за бороду и плевал ему в лицо. Шестидесятилетнего профессора математики, моего соседа по камере, больного печенью (фамилию его не могу припомнить), следователь-садист ставил на четвереньки и целыми часами держал в таком положении, чтобы обострить болезнь и вызвать нестерпимые боли. Однажды, по дороге на допрос, меня по ошибке втолкнули в чужой кабинет, и я видел, как красивая молодая женщина в черном платье ударила следователя по лицу и тот схватил ее за волосы, повалил на пол и стал пинать ее сапогами. Меня тотчас же выволокли из комнаты, и я слышал за спиной ее ужасные вопли.

Чем объясняли заключенные эти вопиющие извращения в следственном деле, эти бесчеловечные пытки и истязания? Большинство было убеждено в том, что их всерьез принимают за великих преступников. Рассказывали об одном несчастном, который при каждом избиении неистово кричал: «Да здравствует Сталин!» Два молодца лупили его резиновыми дубинками, завернутыми в газету, а он, корчась от боли, славословил Сталина, желая этим доказать свою правоту. Тень догадки мелькала в головах наиболее здравомыслящих людей, а иные, очевидно, были недалеко от истинного понимания дела, но все они, затравленные и терроризированные, не имели смелости поделиться мыслями друг с другом, так как не без основания полагали, что в камере снуют соглядатаи и тайные осведомители, вольные и невольные. В моей голове созревала странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожить советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы. Эту свою догадку я сообщил одному старому партийцу, сидевшему со мной, и с ужасом в глазах он сознался мне, что и сам думает то же, но не смеет никому заикнуться об этом. И действительно, чем иным могли мы объяснить все те ужасы, которые происходили с нами,— мы, советские люди, воспитанные в духе преданности делу социализма? Только теперь, восемнадцать лет спустя, жизнь наконец показала мне, в чем мы были правы и в чем заблуждались...

После возвращения из больницы меня оставили в покое и долгое время к следователю не вызывали. Когда же допросы возобновились,— а их было еще несколько,— никто меня больше не бил, дело ограничивалось обычными угрозами и бранью.



Я стоял на своем, следствие топталось на месте. Наконец, в августе месяце, я был вызван «с вещами» и переведен в «Кресты».

Я помню этот жаркий день, когда, одетый в драповое пальто, со свертком белья под мышкой, я был приведен в маленькую камеру «Крестов», рассчитанную на двух заключенных. Десять голых человеческих фигур, истекающих потом и изнемогающих от жары, сидели, как индийские божки, на корточках вдоль стен по всему периметру камеры. Поздоровавшись, я разделся догола и сел между ними, одиннадцатый по счету. Вскоре подо мной на каменном полу образовалось большое влажное пятно. Так началась моя жизнь в «Крестах».

В камере стояла одна железная койка, и на ней спал старый капитан Северного флота, общепризнанный староста камеры. У него не действовали ноги, отбитые на допросе в Архангельске. Старый морской волк, привыкший смотреть в глаза смерти, теперь он был беспомощен, как ребенок.

В «Крестах» меня на допросы не водили: следствие было, очевидно, закончено. Сразу и резко ухудшилось питание, и если бы мы не имели права прикупать продукты на собственные деньги, мы сидели бы полуголодом.

В начале октября мне было объявлено под расписку, что я приговорен Особым совещанием (то есть без суда) к пяти годам лагерей «за троцкистскую контрреволюционную деятельность». 5 октября я сообщил об этом жене, и мне было разрешено свидание с нею: предполагалась скорая отправка на этап.

Свидание состоялось в конце месяца. Жена держалась благо-разумно, хотя ее с маленькими детьми уже выслали из города и моя участь была ей известна. Я получил от нее мешок с необходимыми вещами, и мы расстались, не зная, увидимся ли еще когда-нибудь...

Этап тронулся 8 ноября, на другой день после отъезда моей семьи из Ленинграда. Везли нас в теплушках, под сильной охраной, и дня через два мы оказались в Свердловской пересыльной тюрьме, где просидели около месяца. С 5 декабря, дня Советской конституции, начался наш великий сибирский этап — целая одиссея фантастических переживаний, о которой следует рассказать поподробнее.

Везли нас с такими предосторожностями, как будто мы были не обыкновенные люди, забитые, замордованные и несчастные, но какие-то сверхъестественные злодеи, способные в каждую минуту взорвать всю вселенную, дай только нам шаг ступить свободно. Наш поезд, состоящий из бесконечного ряда тюремных теплушек, представлял собой диковинное зрелище. На крышах вагонов были установлены прожектора, заливавшие светом окрестности. Тут и там на крышах и площадях торчали пулеметы, было великое множество охраны, на остановках выпускались собаки овчарки, готовые растерзать любого беглеца. В те редкие дни, когда нас выводили в баню или вели в какую-либо пересылку, нас вы-

страивали рядами, ставили на колени в снег, заворачивали руки за спину. В таком положении мы стояли и ждали, пока не закончится процедура проверки, а вокруг смотрели на нас десятки ружейных дул, и сзади, наседая на наши пятки, яростно выли овчарки, вырываясь из рук проводников. Шли в затылок друг другу.

— Шаг в сторону — открываю огонь! — было обычное предупреждение.

Впрочем, за весь двухмесячный путь из вагона мы выходили только в Новосибирске, Иркутске и Чите. Нечего и говорить, что посторонних людей к нам не подпускали и за версту.

Шестьдесят с лишком дней мы тащились по Сибирской магистрали, простаивая целыми сутками на запасных путях. В теплушке было, помнится, человек сорок народу. Стояла лютая зима, морозы с каждым днем все крепчали и крепчали. Посередине вагона топилась маленькая чугунная печурка, около которой сидел дневальный и смотрел за нею. Вначале мы жили на два этажа — одна половина людей помещалась внизу, а вторая — сверху, на высоких нарах, устроенных по обе стороны вагона, на уровне немного ниже человеческого роста. Но вскоре нестерпимый мороз загнал всех нижних жителей на нары, но и здесь, сбившись в кучу и согревая друг друга собственными телами, мы жестоко страдали от холодов. Понемногу жизнь превратилась в чисто физиологическое существование, лишённое духовных интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы не умереть от голода и жажды, не замерзнуть и не быть застреленным, подобно зачумленной собаке...

В день полагалось на человека 300 граммов хлеба, дважды в день кипяток и обед из жидкой «баланды» и черпачка каши. Голодным и иззябшим людям этой пищи, конечно, не хватало. Но и этот жалкий паек выдавался нерегулярно, и, очевидно, не всегда по вине обслуживающих нас привилегированных уголовных заключенных. Дело в том, что снабжение всей этой громады арестованных людей, двигавшихся в то время по Сибири нескончаемыми эшелонами, представляло собой сложную хозяйственную задачу. На многих станциях из-за лютых холодов и нераспорядительности начальства невозможно было снабдить людей даже водой. Однажды мы около трех суток почти не получали воды и, встречая новый 1939 год где-то около Байкала, должны были лизать черные закоптелые сосульки, наростшие на стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся забыть до конца жизни.

В том же вагоне я впервые столкнулся с миром уголовников, которые стали проклятием для нас, осужденных влачить свое существование рядом с ними, а зачастую и под их началом.

Уголовники — воры-рецидивисты, грабители, бандиты, убийцы со всей многочисленной свитой своих единомышленников, соучастников и подручных различных мастей и оттенков, — народ особый, представляющий собою общественную категорию, сло-

жившуюся на протяжении многих лет, выработавшую свои особые нормы жизни, свою особую мораль и даже особую эстетику. Эти люди жили по своим собственным законам, и законы их были крепче, чем законы любого государства. У них были свои вожаки, одно слово которых могло стоить жизни любому рядовому члену их касты. Все они были связаны между собой общностью своих взглядов на жизнь, и у них эти взгляды не отделялись от их житейской практики. Исконные жители тюрем и лагерей, они искренно и глубоко презирали нас — разнокалиберную, пеструю, сбитую с толку толпу случайных посетителей их захребетного мира. С их точки зрения, мы были жалкой тварью, не заслуживающей уважения и надлежащей самой беспощадной эксплуатации и смерти. И тогда, когда это зависело от них, они со спокойной совестью уничтожали нас с прямого или косвенного благословения лагерного начальства.

Я держусь того мнения, что значительная часть уголовников действительно незаурядный народ. Это действительно чем-то выдающиеся люди, способности которых по тем или иным причинам развилась по преступному пути, враждебному разумным нормам человеческого общежития. Во имя своей морали почти все они были способны на необычайные, порой героические поступки; они без страха шли на смерть, ибо презрение товарищей было для них во сто раз страшнее любой смерти. Правда, в мое время наиболее крупные вожаки уголовного мира были уже уничтожены. О них ходили лишь легенды, и все уголовное население лагерей видело в этих легендах свой идеал и старалось жить по заветам своих героев. Крупных вожаков уже не было, но идеология их была жива и невредима.

Как-то само собой наш вагон распался на две части: 58-я статья поселилась на одних нарах, уголовники — на других. Обреченные на сосуществование, мы с затаенной враждой смотрели друг на друга, и лишь по временам эта вражда прорывалась наружу. Вспыхивали яростные ссоры, готовые всякую минуту перейти в побоище. Помню, как однажды, без всякого повода с моей стороны, замахнулся на меня поленом один из наших уголовников, подверженный припадкам и каким-то молниеносным истерикам. Товарищи удержали его, и я остался невредимым. Однако атмосфера особой психической напряженности не проходила ни на миг и накладывала свой отпечаток на нашу вагонную жизнь.

От времени до времени в вагон являлось начальство с поверкой. Для того чтобы пересчитать людей, нас перегоняли на одни нары. С этих нар по особой команде мы переползали по доске на другие нары, и в это время производился счет. Как сейчас вижу эту картину: черные от копоти, заросшие бородами, мы, как обезьяны, ползем друг за другом на четвереньках по доске, освещаемые тусклым светом фонарей, а малограмотная стража держит нас под наведенными винтовками и считает, считает, путаясь в своей мудреной цифири.

Нас заедали насекомые, и две бани, устроенные нам в Иркутске и Чите, не избавили нас от этого бедствия. Обе эти бани были сущим испытанием для нас. Каждая из них была похожа на преисподнюю, наполненную дико гогочущей толпой бесов и бесенят. О мытье нечего было и думать. Счастливец чувствовал себя тот, кому удавалось спасти от уголовников свои носильные вещи. Потеря вещей обозначала собой почти верную смерть в дороге. Так оно и случилось с некоторыми несчастными: они погибли в эшелоне, не доехав до лагеря. В нашем вагоне смертных случаев не было.

Два с лишним месяца тянулся наш скорбный поезд по Сибирской магистрали. Два маленьких заледенелых оконца под толчком лишь на короткое время дня робко освещали нашу теплушку. В остальное время горел огарок свечи в фонаре, а когда не давали свечи, весь вагон погружался в непроглядный мрак. Тесно прижавшись друг к другу, мы лежали в этой первобытной тьме, внимая стуку колес и предаваясь безутешным думам о своей участи. По утрам лишь краем глаза видели мы в окно беспредельные просторы сибирских полей, бесконечную занесенную снегом тайгу, тени сел и городов, осененные столбами вертикального дыма, фантастические отвесные скалы байкальского побережья... Нас везли все дальше и дальше, на Дальний Восток, на край света...

В первых числах февраля прибыли мы в Хабаровск. Долго стояли здесь. Потом вдруг потянулись обратно, доехали до Волочаевки и повернули с магистрали к северу, по новой железнодорожной ветке. По обе стороны дороги замелькали колонны лагерей с их караульными вышками и поселки из новеньких пряничных домиков, построенных по одному образцу. Царство БАМа встречало нас, своих новых поселенцев. Поезд остановился, загрохотали засовы, и мы вышли из своих убежищ в этот новый мир, залитый солнцем, закованный в пятидесятиградусный холод, окруженный видениями тонких, уходящих в самое небо дальневосточных берез.

Так мы прибыли в город Комсомольск-на-Амуре.

<1956>

## КАРТИНЫ ДАЛЬНОГО ВОСТОКА

Это — особая страна, непохожая на наши места; мир, к которому надо привыкнуть. Прежде всего, это не равнина, не долина. Это необозримое море каменистых холмов и гор — сопок, поросших тайгой. Природа еще девственна здесь, и хлябь еще не отделилась от суши вполне, как это бывает в местности, освоенной человеком. Во всей своей торжественной дикости и жестокости

предстает здесь природа. Не будешь ты тут разгуливать по удобным дорогам, восторгаться красотой мощных дубов и живописным расположением роц и речек. Придется тебе перескакивать с кочки на кочку, утспать в ржавой воде, страдать от комаров и мошек, которые гучами носятся в воздухе, представляя собой настоящее бедствие для человека и животных. Поднимаясь на сопку, напрасно будешь ты надеяться, что наконец-то твоя нога ступит на твердую сухую почву, — нет, и на сопке та же хлябь, те же кочки.

И тайга — это вовсе не величественный лес огромных деревьев. Горько разочаруешься ты с первого взгляда, встретив здесь главным образом малорослые, довольно тонкие в обхвате хвойные породы, которые беспорядочными зарослями тянутся в бесконечные дали, то поднимаясь на сопки, то спускаясь вниз. Есть тут, конечно, и величественные, красноватые лиственницы, и дубы, и бархат, но не они представляют общий фон, но именно эта неказистая, переплетенная глухая тайга, и страшная и привлекательная в одно и то же время.

Приходилось мне бывать на тушении лесных пожаров. Тайга летом горит часто, и бороться с пожарами трудно. Ночью можно видеть, как огненные струи бегут по склонам сопок, как понемногу пламя овладевает вершиной и начинает гулять по ней, заливая небо багровым заревом, видимым за десятки километров. В тайге страшно. Пламя летит где-то вверху по листве. Еще где-то далеко бушует пожар, но треск его все ближе и ближе. Еще не горит ничего вокруг, но вот вверху вспыхнула ветка, другая, — не заметишь, как и когда загорелись они, и вот уже понеслись во все стороны искры, и скоро целые охапки пламени вспыхивают над головой, разливая по стволам огненные струи. Уже давно, гонимые жаром, улетели птицы. Волки, зайцы и все зверье, позабыв о вражде, не чуя человека, ломаются прочь, не разбирая дороги. И вот уже вся эта первобытная хлябь, что под ногами, зашевелилась, поползла, засуетилась, полетела, начала карабкаться во все стороны, потревоженная близостью огня. Вся тварь насекомая, которую и не видишь никогда, полубесформенная, многоногая, слепая, одурелая, мечется в воздухе, лезет в нос, в глотку, ползет по ногам; воистину страшное зрелище!

Насекомых здесь великое множество, и многие из них примечательно красивы. Бабочки огромны, и расцветка их прекрасна. Дыхание каких-то южных морей чувствуется в этой замечательной окраске. Великое множество жуков, иные из них — настоящие великаны с усами в вершок и более. Летом сопки покрываются морем чудесных цветов — огромные белые лилии, багровые пионы, жасмин в человеческий рост, багульник, — все это напоминает собой южные цветы, выведенные рукой человека, а не дикорастущие по воле Божией. И климат здесь — какое-то странное смешение суровоконтинентального и мягкоприморского, что накладывает своеобразную печать на всю природу Дальнего Востока.

Но почва камениста. Я не знаю тех геологических бурь, которые сотворили здесь всю эту каменную кутерьму, но стоит только снять растительный слой, как лопата натывается на глину и камень. В карьере мы обнажаем и взламываем вековечные пласты каменных пород, и странно видеть их матовую поверхность, впервые от сотворения мира обнаженную и увидавшую солнечный свет.

Когда-нибудь, проезжая к берегам Охотского моря и наблюдая природу из окна вагона, путешественник будет изумлен величественным зрелищем, которое откроется перед его глазами. С вершин сопок он увидит вздыбленное каменное море, как бы застывшее в момент крайнего напряжения бури. Каменное море, поросшее лесом, изрезанное горными речками, то мелководными, то бурными и широкими в период таянья снегов. И что ни поворот, то новые изменчивые картины в новом аспекте света и тени будут внезапно появляться перед его глазами. Но это будет потом. Сейчас здесь суровый нелегкий человеческий труд.

Лето здесь дождливо, но осенние месяцы — сентябрь и октябрь — прекрасны всегда. Устанавливается сухая погода, мирное осеннее солнце заливает светом начинающую желтеть тайгу, и вся природа как бы успокаивается в преддверии зимы — величественной дальневосточной зимы.

Зимние холода суровы — до сорока и пятидесяти градусов ниже нуля, но температура эта переносится сравнительно легче, чем такая же в России. По ночам черное-черное небо, усеянное блистательным скопищем ярких звезд, висит над белоснежным миром. Лютый мороз. Над поселком, где печи топят круглые сутки, стоит многоствольная, почти неподвижная колоннада дымов. Почти неподвижен и колоссально высок каждый из этих белых столбов, и только где-то высоко-высоко вверху складывается он пластом, подпирая черное небо. Совсем-совсем низко, упираясь хвостом в горизонт, блистает Большая Медведица. И сидит на столбе, над бараками, уставившись оком в сугробы, неподвижная полярная сова, стерегущая крыс, которые водятся тут, у жилья, в превеликом множестве.

Утром, когда в морозном тумане поднимается из-за горизонта смутно-багровое солнце, можно нередко видеть на небе примечательные огненные столбы, которые в силу каких-то атмосферных причин образуют вокруг солнца нечто вроде скрещенных прожекторных лучей. И еще любопытно: вдруг вспыхивает яркая радуга и так висит над снегом, точно нарисованная, удивляя непривычных человек.

Весна большей частью медленная, с обильными водами и грязью непролазной. Но вот вода сошла, почва подсохла, как будто устанавливается лето. Но тут начинаются паводки. Постепенно собирая воду с дальних сопок, набухают мелкие речки, вода все прибывает и прибывает, и вот, круша и ломая лесные завалы, уже несется она с ревом и грохотом. Нередко можно видеть,

как водяной вал высотой в метр и более перекатывается через кучи обрушенных деревьев, и тогда безобидная мелкая речушка в один миг превращается в грозно ревущее море.

И много еще разных разностей можно написать о тех краях. Можно упомянуть о вечной мерзлоте, когда, выширяемые застывшей водой, целые груды камней сами собой вылезают на земную поверхность; о дикорастущем винограде, который мирно уживается рядом с северной клюквой; о птицах, которые здесь не поют (кстати говоря, цветы здесь без запаха, за исключением ландыша); о милых маленьких бурундуках и так далее. Наконец, особого описания требует Амур, который, подобно гигантской ленте, извиваясь, катит свои волны у подножия бесчисленных сопкок, и ветры, как по трубе, летят над ним, следуя по течению, ибо сопки не дают им прорваться в глубь страны. Но мое письмо — это только беспорядочный набросок, обо всем нет времени написать...

*21 апр. 1944 г.  
Алтайский край*

# ПИСЬМА

1921—1958

---

М. И. КАСЬЯНОВУ

*7 ноября 1921 г. Петроград.*

Дорогой Миша! Как твои дела? Как себя чувствуешь и поправляется ли твоё здоровье? Твоё письмо произвело на меня удручающее впечатление... Трудно жить, невозможно жить! Поедешь ли в Уржум? Этот вопрос волнует и нас за последнее время, в связи с зимним роппуском на полтора-два месяца, — может быть, и нам придется поехать, а если снимут с государственного снабжения (что весьма возможно), то боюсь, не пришлось бы поехать туда на неопределенное время. Все это сейчас еще крайне неопределенно, а потому — мучительно. Практические дела с каждым днем все хужают — бунтует душа, а жизнь не уступает. Проклятый желудок требует своих минимумов, а минимумы пахнут бесконечными десятками и сотнями тысяч... А душа бунтует — но, увы, и она просит того же... Сегодня поехал на Невский, зашел в книжный магазин — утерпеть не мог — и спустил почти последние ресурсы... Но как я рад, Мишка, какие я купил книги!

Во-1) Д. Г. Гинцбург. О русском стихосложении. Изд. 1915 г. Объемистая, весьма серьезная книга. Автор обладает богатой эрудицией в области исследования не только русского, но и древне-нововосточного, латинского и пр. стихосложений.

2) В. Брюсов. Опыты. Книга, тебе известная, как единственная в своем роде.

3) Н. Шебуев. Версификация (Как писать стихи). Сортом-двумя ниже, но не лишняя.

Кроме того, кой-кого из поэтов и журналы.

Вообще благодаря знакомым мой ум начинает освежаться под влиянием новых книг, которые начинают периодически цир-



кулировать через мои руки. Теперь читаю, используя всякую возможность. Хочется, до боли хочется работать над ритмом, но обстоятельства не позволяют заняться делом серьезным. Пишу не очень много. Но чувствую непреодолимое влечение к поэзии О. Мандельштама («Камень») и пр. Так хочется принять на веру его слова.

- Есть ценностей незыблемая скала...
- И думал я: витийствовать не надо...

И я не витийствую. По крайней мере, не хочу витийствовать. Появляется какое-то иное отношение к поэзии, тяготение к глубоким вдумчивым строфам, тяготение к сильному смысловому образу. С другой стороны — томит душу непосредственная бессмысленность существования. Есть страшный искус — дорога к сладостному одиночеству, но это — Клеопатра, которая убивает. Родина, мораль, религия — современность — революция — точно тяжкая громада висят над душой эти гнетущие вопросы. Бессмысленно плакать и жаловаться — быть Надсонами современности, но как-то сами собой выливаются черные строки:

В похоронном свисте революций  
Видишь ты кровавые персты?  
Мысли стонут, песни бьются —  
Слышишь ты?  
Это мы — устав от созерцанья,  
От логически-невыполненных дел,  
В мир бросаем песни без названья  
Скорбью отягчающий размер.  
Отнял мир у нас каждое желанье,  
Каждый плач и ненависть и вздох,  
И лица родимого страданье  
Топчет грязь подбитых каблучков.  
Как далек восход зари последней!  
Как пустыня тяжкая шемит!  
И стоим — оплеванные тени,  
Подневольные времен гробовщики!

Проклятая, да, проклятая жизнь! Я запутался в ее серых, тягучих нитях, как в тенетах, и где выход?

Толстой и Ницше одинаково чужды мне, но божественный Гёте матовым куполом скрывает от меня небо, и я не вижу через него Бога. И бьюсь. Так живет и болит моя душа.

Конечно, все силы приложу для того, чтобы остаться здесь. Это все же необходимо; иначе будет трудно. Но пусть будет то, что будет...

Ты пиши. Жду от тебя писем. Ведь моя жизнь так одинока, в сущности. Соседи по квартире знают меня как грубого, несимпатичного полумужика, и я — странное дело — как будто радуюсь этому. Ведь жизнь такая странная вещь — если видишь в себе что-нибудь — не показывай этого никому — пусть ты будешь для

других кем угодно, но пусть руки их не трогают твоего сердца. И в сущности, это почти всегда так и бывает. Я знаю многих людей, которые инстинктивно показывают себя другими, не теми, что есть. Это так понятно. Но я люблю и боюсь своего одиночества.

Я вспоминаю Москву. И нашу комнату на Теплом, и Шульговского, и тебя, и... Помнишь?

Конечно, было бы хорошо, если бы ты как-нибудь перекатил сюда. У нас предполагается основание небольшого кружка Поэтов, причем, кажется, будет возможно и печататься. Подумай над этим и напиши мне. Писем от тебя жду всегда. И радуюсь им. Поэтому пиши, не откладывая дела.

Пока же до свидания, будь здоров и поправляй свои дела.

*Твой Н. Заболотский<sup>1</sup>.*

Напиши: получил ли 50 т., которые я и Аркадий тебе переслали? Миша! Если поедешь в Уржум, может быть, ты захватишь с собой мой башлык? Остальное, если можно, оставь у Абрамова. Я, ей-Богу, ума не приложу, как их перетащить или сюда, или домой. Но подожди, что-нибудь придумаю...

К. Резвых и Аркадий шлют привет.

*Н. З.*

М. И. КАСЬЯНОВУ

*11 ноября 1921 г. Петроград.*

Мой дорогой Миша, прости — за 3 месяца моего петроградского житья не послал тебе ни одного слова. Почему? Ни одной минуты не уделил еще себе из всего этого времени — обратился в профессионального грузчика — физическая работа — все время заняла до сих пор — сюда еще присоединяется хроническое безденежье и полуголодное существование. 3 месяца убиты на будущее. Работал в порту по выгрузке кораблей — за эту работу получу скоро различных продуктов (шпику, муки, сахару, рыбы и пр.) общей стоимостью на один-полтора миллиона. Кроме того, заработал тысячу 400 на лесозаготовке. На все это думаю немного подправиться — весь обносился и исхудал, так что меня в институте многие почти не узнают. Пока с продовольственной стороны мы — я, Аркадий и К. Резвых (Борис не вынес и укатил в Уржум) различаем 3 периода в своей жизни. I картофельный, II мучной и сейчас III — жировой. Отделяется один от другого — расстройствами желудков. Сейчас живу более или менее сносно, но холодище мешает заниматься. Только что начинаю посещать

<sup>1</sup> В 1925 г. Н. А. Заболотский изменил написание своей фамилии: Заболотский — Заболотский. (*Примеч. составителя.*)

лекции и начинаю зарываться в глубины человечества — сумерийские, хамитские и пр. и пр. эпохи. С журналом дело не ладится. Паек прибавили: 1 ф. хлеба, 4 ф. крупы, 5 ф. селедков, 1 — масла, 1 — сахару и пр. Голодать кончаю. Зато отупел совершенно и плачу над самим собой. Ничего не пишу или очень мало. Иногда выступаю на концертах — публика относится с удивлением и нерешительно хлопает.

Сколько утрат — умер А. Блок, уехал из России А. Белый, Гумилева — расстреляли.

Когда Аня Иванова сказала, что ты болен, — меня бросило в пот. Просыпаясь по ночам и дрожа под своим одеялом, долго думал о тебе. Недавно Аня сказала: Коля, знаете, ведь Миша Кас. такого-то числа... — меня охватил столбняк — выписался из больницы.

Я немного нездоров. Папироса не доставляет удовольствия, мысли скачут, холодные пальцы лениво движут перо. Сегодня я вспомнил мое глубокое детство. Елку, Рождество. Печка топится. Пар из дверей. Мальчишки в инее. — Можно прославить?

Лежал в постели и пел про себя:

— Рождество твое Христе боже наш...

У дверей стояли студентки и смеялись...

Радуюсь за тебя (Институт Слова). Когда Аркадию сообщал об этом — он улыбнулся:

— Полетели гуси с медицинского! Полетели...

Завидую тебе, что ты много, видимо, подумал, лежа в больнице. Пиши, брат...

Живу в обществе Аркадия и Кольки Резвых. Математика и желудок. Одиночество. В Институте много славных ребят, но толку мало. Бабя нет, да и не надо. Скучаю по тебе.

Дома положение плохо. Отец болен, совхоз шатается и пр.

Пиши мне стихи. Здесь Мандельштам пишет замечательные стихи. Послушай-ка.

Возьми на радость из моих ладоней  
Немного солнца и немного меда,  
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,  
Не услышать в меха обутой тени,  
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,  
Мохнатые, как маленькие пчелы,  
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,  
Их родина: дремучий лес Тайгета,  
Их пища: время, медуница, мята...

Возьми ж на радость дикий мой подарок, —  
Невзрачное сухое ожерелье  
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

После сладкого вина, отведай горького.  
Вот мои:

ОТРЫВОК

...Промерзшие кочки, брусника,  
Смолистые запахи пней.  
Мне кажется: новая книга  
Раскрыта искателю мне.  
Ведь вечер ветвист и клетчат.  
Ах вечер, как сон в Октябре,  
И сосны, как желтые свечи  
На Божьем лесном алтаре...

Из другого:

Он, таящийся у входов «в те края, где тонет жизнь Несказанного Слова»:

5

...Но день пройдет печален и высок.  
Он выйдет вдруг походкой угловатой,  
Накинёт на меня упругое лассо  
И кровь иссушит на заре проклятой.  
Борьба и жизнь... Пытает глаз туман...  
Тоскует жизнь тоскою расставанья,  
И голод — одинокий секундант —  
Шаги костяшкой меряет заране...

Пиши, дорогой друг, чаще. Я буду, клянусь всем святым. О Москве пиши, о поэтах. Пока кончу. Подожду лучшего настроения. Прикладываю старое письмо. Прочти его. Может быть, из сравнения его с этим поймешь, как действует на меня Питер. Можно ли к тебе приехать на Рождество? Или ты приедешь? Пиши об этом. Адрес мой в первом письме. Ребята кланяются.

Крепко тебя обнимаю, дружище. Выздоровливай, работай, будь радостен. Что Ира? Видел ее во сне недавно.

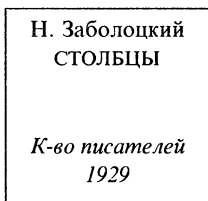
*Н. Заболотский.*

Л. А. ЮДИНУ

28. VI. 28. <Ленинград.>

Дорогой Лев Александрович, наступило время написать Вам деловое письмо, содержание которого Вы, вероятно, знаете со слов Стерлигова. Дело в том, что К-во писателей берет в печать мою книгу стихов, которую предполагает выпустить осенью в сентябре — октябре этого года. Я уже давно хотел обратиться к Вам с просьбой сделать для этой книжки обложку. Малахов, с которым я говорил по этому поводу, сказал мне, что, если обложка удовлетворит вкусам издательства, — она будет принята.

В этом деле нельзя рассчитывать на материальное вознаграждение, т. к. К-во существует пока в кредит и, например, я за книгу ничего не получаю. Если Вы и не отказались бы сделать эту работу, то лишь как дружескую услугу для меня лично. Мне кажется, что Ваш шрифт, использованный для большого плаката к «3 обзорным часам», очень идет к книге. Обложка очень простая, шрифтовая. Вот ее содержание:



Слово «Столбцы» должно быть сделано Вашим шрифтом, оно доминирует. Шрифт своеобразный, но строгий и законченный. В нем — вся соль. С виду будто бы ничего особенного, а приглядишься — и открывается совершенно новое дело. Два цвета: белый и черный. Размер точно пока сказать не могу. Вероятно, 13,5 × 20,5 сант. Вроде последней книги Пастернака.

Я доживаю в Ленинграде последние дни; числа 5-го июля уезжаю в Вятку и буду здесь в Ленинграде числа 10—15 августа. Мой вятский адрес: Вятка, ул. Дрылевского, д. 4, кв. 11, Вере Алексеевне Заболоцкой, для меня. Если Вы, Лев Ал., не откажетесь от моей просьбы, — будьте добры, черкните мне в Вятку. Рисунок, думаю, нужен будет в августе.

Привет!

*Н. Заболоцкий.*

К. Э. ЦИОЛКОВСКОМУ

*7 января 1932 г. Ленинград.*

Уважаемый Константин Эдуардович!

По роду моих занятий (литература) мне до сих пор не пришлось сталкиваться с Вашими работами. На днях я прочел Ваше сочинение «Растение будущего. Животное космоса. Самозарождение», 1929. Ваши мысли о будущем человечества поразили меня настолько, что теперь я не успокоюсь, пока не прочту других сочинений Ваших. Между тем достать их необычайно трудно, почти невозможно.

Поэтому я решил обратиться к Вам с просьбой: в случае, если у Вас еще осталось что-нибудь из Ваших изданий — не можете ли Вы выслать мне хотя бы некоторые из них? Особенно хотелось

бы мне иметь «Будущее земли», «Воля вселенной», «Растение будущего. Животное космоса. Самозарождение» и другие в этом роде, понятные для читателя, не имеющего узкого, специального образования. Я чувствую, что для меня и моих друзей Ваши книги будут иметь большое значение, и мы будем бесконечно благодарны Вам за них.

В случае, если книг у Вас больше не осталось, не откажите сообщить — где их можно приобрести.

Простите меня за мою далеко не скромную просьбу и за то время, которое я отнимаю у Вас. Но мне кажется, что искусство будущего так тесно сольется с наукой, что уже и теперь пришло для нас время узнать и полюбить лучших наших ученых — и Вас в первую очередь.

Заранее благодарный Вам

*Н. Заболоцкий.*

Адрес мой: Ленинград, Петроградская сторона, Б. Пушкарская ул., д. 36, кв. 9. Николаю Алексеевичу Заболоцкому.

К. Э. ЦИОЛКОВСКОМУ

*18 янв. 1932 г. Ленинград.*

Дорогой Константин Эдуардович!

Ваши книги я получил. Благодарю Вас от всего сердца. Почти все я уже прочел, но прочел залпом. На меня надвинулось нечто до такой степени новое и огромное, что продумать его до конца я пока не в силах: слишком воспламенена голова.

Не могу не выразить своего восхищения перед Вашей жизнью и деятельностью. Я всегда знал, что жизнь выдающихся людей — великий бескорыстный подвиг. Но каждый раз, когда сталкиваешься с таким подвигом на деле, — снова и снова удивляешься: до какой степени может быть силен человек! И теперь, соприкоснувшись с Вами, я снова наполняюсь радостью — лучшей из всех земных радостей, — радостью за человека и человечество.

Ваши книги я буду изучать долго и внимательно. Некоторые вопросы для меня не ясны, несмотря на то что Вашу переписку с корреспондентами я прочел внимательно.

Например, мне неясно, почему моя жизнь возникает после моей смерти. Если атомы, составляющие мое тело, разбредутся по вселенной, вступят в другие, более совершенные организации, то ведь данная-то ассоциация их уже больше не возобновится и, следовательно, я уже не возникну снова.

Допускаю, что атом, попадая в организм извне, проникается жизнью этого организма и начинает думать, что он живет в этом организме с самого зачатия. Но ведь эта же картина произойдет с каждым из моих атомов: они войдут в состав различных орга-

низмов и проникнутся *их* жизнью, забыв о жизни в *моем* теле,— точно так же, как сейчас они не помнят о своих предыдущих существованиях.

Наконец, и самый атом не есть неделимая частица. Он — тоже организация более мелких частиц. Последние, надо думать, в свою очередь состоят из более мелких и т. д. Атом при известных условиях разрушается точно так же, как разрушаюсь (умираю) я. С каждой из составляющих его частиц происходит то же, что и с моими атомами после моей смерти.

Чем совершеннее организация, тем лучше чувствует себя каждая составляющая ее часть. Чем совершеннее атом — тем лучше электрону, чем совершеннее человек — тем лучше атому, чем совершеннее человеческое общество — тем лучше человеку. Личное бессмертие возможно только в одной организации. Не бессмертны ни человек, ни атом, ни электрон. Бессмертна и все более блаженна лишь материя — тот таинственный материал, который мы никак не можем уловить в его окончательном и простейшем виде.

Вот мне и кажется, что Вы говорите о блаженстве не нас самих, а о блаженстве нашего материала в других, более совершенных организациях будущего. Все дело, очевидно, в том, *как* понимает и чувствует себя человек. Вы, очевидно, очень ясно и твердо чувствуете себя государством атомов. Мы же, Ваши корреспонденты, не можем отрешиться от взгляда на себя как на нечто единое и неделимое. Ведь одно дело — знать, а другое — чувствовать. Консервативное чувство, воспитанное в нас веками, цепляется за наше знание и мешает ему двигаться вперед. А чувствовать себя государством есть, очевидно, новое завоевание человеческого гения.

Это ощущение, столь ясно выраженное в Ваших работах, было знакомо гениальному поэту Хлебникову, умершему в 1922 году. Привожу его стихотворение:

#### Я И РОССИЯ

Россия тысячам тысяч свободу дала.  
Милое дело! Долго будут помнить про это.  
А я снял рубаху,  
И каждый зеркальный небоскреб моего волоса,  
Каждая скважина  
Города тела  
Вывесила ковры и кумачовые ткани.  
Гражданки и граждане  
Меня — государства  
Тысячеоконных кудрей толпились у окон,  
Ольги и Игоря,  
Не по заказу,  
Радуюсь солнцу, смотрели сквозь кожу.  
Пала темница рубашки!  
А я просто снял рубашку:

Дал солнце народам Меня  
Голый стоял около моря —  
Так я дарил народам свободу,  
Толпам загара.

(III том, стр. 304)

Мне хотелось бы знать — правильно ли я понимаю Вас в этом пункте. Я понимаю, что в Вашей системе этот пункт исключительно важен, так как из него следуют многие дальнейшие выводы.

Вообще говоря, Ваши мысли о будущем Земли, человечества, животных и растений глубоко волнуют меня, и они очень близки мне. В моих ненапечатанных поэмах и стихах я, как мог, разрешал их. Сейчас, после ознакомления с Вашими трудами, мне многое придется передумать заново. В отношении людей и книг мне всегда исключительно «везло». Книги ищут человека сами. Вот и теперь, благодаря Вашей исключительной внимательности, Ваши книги нашли меня. Несколько отрывков из моих работ покажут Вам — как я думал и во что верил до сих пор.

*Отрывок из поэмы*

ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

(Солдат, организатор колхоза, разговаривает  
с домашними животными о будущем)<sup>1</sup>

. . . . .

Таким образом, переселяя людей в эфир, я оставлял землю для животных и растений, развивающихся до степени высокоорганизованных существ. О превращении растений в животных говорит следующий отрывок из стихотворения

ШКОЛА ЖУКОВ

*говорят люди будущего*

Х у д о ж н и к и

...Мы рисуем  
Историю новых растений.  
Дети простых садоводов —  
Стали они словно бомбы.

Первое их пробуждение мы не забудем,  
Час, когда в ножке листа обозначился мускул,  
В теле картошки зачаток мозгов появился  
И кукурузы глазок  
Открылся на кончике стебля...

и т. д.

(1931 г.)

<sup>1</sup> Далее цитируются 88 строк из пятой гл. «Начало науки» — от строки 27 «Коровы, мне приснился сон...» до строки 114 «Отведать пищи лебедей». (Примеч. ред.)



Больше не буду утомлять Вас выписками. Скажу только, что в кругу этих тем я живу уже давно. Сейчас мне 28 лет. В будущем надеюсь писать об этом еще. Вот почему мне особенно радостно было познакомиться с Вашей работой.

Не могу ли я быть чем-нибудь полезен для Вас в Ленинграде? Правда, я не располагаю видным общественным положением, в литературе я пока почти одинок, но все, что я в силах сделать,— я исполнил бы с величайшей готовностью.

Желаю Вам здоровья, долгой жизни, хорошей работы.

*Н. Заболоцкий.*

Ленинград, Б. Пушкарская, 36, кв. 9.

М. И. КАСЬЯНОВУ

*10.IX.32. Ленинград.*

Дорогой Миша, рад, что отыскался твой след. Книжка «Столбцы» — единственная моя книжка стихов. Она вышла в 1929 году и разошлась в несколько дней как в Ленинграде, так и в Москве. Переизданий не было до сих пор, т. к. книжка вызвала в литературе порядочный скандал и я был причислен к лику нечестивых. Если интересуешься этим делом — просмотри статью Селивановского «Система кошек» в журнале «На лит. посту» за 1929 г., № 15, и статью (совершенно похабную) Незнамова «Система девок» в «Печать и революция», 1930 г., № 4, и статью Горелова «Распад сознания» в журнале «Стройка» за 1930 г., № 1. Это наиболее характерное из того, что писалось о моей книжке. Что касается самой книжки, то последний экземпляр ее похитили у меня более года тому назад, и даже в своей работе теперь я пользуюсь чужим экземпляром. Но этой зимой я надеюсь выпустить первый том, в который «Столбцы» целиком войдут. Книга уже принята к печати, и, если не будет никаких дальнейших осложнений, все будет хорошо. Как только книга выйдет, сразу вышлю ее тебе по твоему адресу.

Что написать о себе? В маленьком письме трудно рассказать все. После того как судьба разъединила нас, литературой заниматься я не перестал. Писал много, но первых результатов добился только в 26 году, то есть через 5 лет после Москвы. Критика обвиняет меня в индивидуализме, и поскольку это касается *способа писать*, *способа думать и видеть*, то, очевидно, я действительно чем-то отличаюсь от большинства ныне пишущих. Ни к какой лит. группировке я не примыкаю, стою отдельно, только вхожу в Союз советских писателей. У меня много врагов, но много и друзей.

Отдельные мои стихи ты можешь найти в толстом ленинградском журнале «Звезда» за 1929 год.

О своей личной жизни: три года как женат, и женат удачно, растёт сынок Никитушка, ему семь с половиной месяцев, весь в отца, и очень мне нравится. Когда будешь в Ленинграде — обязательно заезжай ко мне, вспомним старину, почитаем стихи, выпьем доброго ленинградского пива. В Москву я едва ли поеду — стараюсь избегать Москвы, так как мне не нравится московский литературный люд, хотя и там есть много моих друзей.

За эти годы доносились до меня смутные слухи, что ты женат, имеешь детей и усердно врачуешь болящих. Напиши мне о своей жизни. Встречаешь ли старых общих московских знакомых и кого?

Из старых уржумцев здесь Коля Сбоев и Лиля Польшнер — супруги. Они часто бывают у нас, и мы дружно живем с ними. Коля Резвых тоже здесь — он женат, родил дочку. Вижусь с ним редко. Жмакин тоже здесь. Почти с ним не вижусь.

Ну, будь здоров, прости, что не могу исполнить твою просьбу сейчас, подожди зимы. Письма твоего жду. Если доставишь «Звезду» — напиши, что думаешь о стихах.

Твой *Н. Заболоцкий*.

Л-д., Б. Пушкинская, 36, кв. 9.  
P. S. Как ты узнал мой адрес?

Е. В. КЛЫКОВОЙ

26.V. 33. <Ленинград.>

Здравствуй, мамуля!

В Москве шум из-за «Торжества Земледелия».

Говорят, что «Звезда» впервые за все время ее существования на столах у всех москвичей; одни хвалят и очень, другие в бешенстве, третьи злорадствуют — вот, мол, до чего докатились. Так или иначе, <но из><sup>1</sup> Москвы надо что-нибудь ждать <, посмотрим,> что будет.

Пишу, продолжаю новую п<озму...> закончил вторую часть, по <...> 100 строк. Всего, предполага<ю...>. Никому не читаю, пока <...>.

Каверин предлагал д<елать юно>шеский киносценарий, <отказался,> т. к. очень боюсь, что в<ыйдет то же,> что и с книжкой для Лядовой и Житкова. Сейчас, пока пишется взрослое, — не надо упускать времени и жать всюю.

Получились жактом дрова, содрали с меня за доплату и перевозку 3-х кубометров 50 рублей, и я опять остался без денег. Но хорошо хоть то, что к зиме дрова будут. Распределять будут на днях, <попрошу> Абдулу перепилить и выложить <поленницу во> дворе, чтоб сохли. [...].

<sup>1</sup> Угол письма оборван. (Примеч. составителя.)

У Степанова еще не был.

Ну, будь здорова, детка. Никитушка, будь здоров. Папа целует вас.

*Н. Заб.*

Р. С. Скоро, кажется, надо будет в обязательном порядке регистрироваться в загсе.

Приеду 1-го, как говорил.

Т. И. ТАБИДЗЕ

*1 июля 1936 г. Ленинград.*

Дорогой Тициан Иустинович!

Последние дни мы очень ждали Вас в Ленинград. Ваша открытка, где Вы сообщаете об отъезде в Грузию, очень меня огорчила. Я надеялся переговорить с Вами о многих делах. Теперь наш разговор, очевидно, оттянется до осени.

В кратких чертах дело сводится к следующему. Ленинградский Детиздат поручает мне сокращенный перевод и обработку для детей — Руставели. Инициатива этого дела исходит от меня. Кажется, это нужное дело. Во всяком случае, современный русский массовый читатель, и особенно школьник, переводом Бальмонта пользоваться не смогут. Обработка, которую я затеваю, послужила бы делу популяризации Руставели в широких массах современного русского читателя.

Я понимаю, что это трудное и ответственное дело, тем более что его нужно выполнить в течение одного года до 1 сентября 1937 г. с тем, чтобы в самом конце юбилейного года книжка уже вышла из печати.

Наш друг Микола Бажан, у которого я провел недавно недели две, завещает мне свой подстрочник (Иорданишвили) с транскрипцией. В сентябре месяце, в самом начале, я намерен приехать в Тифлис. Я должен буду связаться с Институтом Руставели и с людьми, подготавливающими его юбилей. Необходимо подышать воздухом Грузии и почувствовать Руставели на его родине. Тем более что русская литература не дает даже элементарных сведений об этом великом поэте.

Моя обработка по своему объему не будет превышать  $\frac{1}{3}$  подлинника. Тем более будет трудно, в этом сжатом виде, передать дух и поэтические особенности оригинала.

Если в сентябре месяце Вы, Тициан Иустинович, будете в Тифлисе, я буду просить Вас свести меня с нужными людьми и помочь мне в этом деле. К редактированию обработки мы думаем привлечь Н. С. Тихонова, хотя я с ним еще не говорил об этом.

Ради бога, сообщите мне, что Вы обо всем этом думаете, будете ли в сентябре в Тифлисе и можно ли мне будет рассчитывать на помощь со стороны Института Руставели.

До самого последнего времени я был перегружен прозаическими обработками и только теперь заканчиваю их. Намерен был тотчас же приняться за Важа Пшавела, но теперь в связи с этой срочной затеей перевод «Алуда Кетелаури» несколько затягивается. Прошу Вас сообщить, к какому времени он Вам нужен. И что Вы находите нужным делать в первую голову.

Числа 8 или 10 я выезжаю на Украину, где живет моя семья. Я устроил себе дачку на берегу Днепра, за Каневом, в живописном благодатном местечке, которое описано у Гоголя в «Вие».

Прошу Вас написать мне по адресу: УССР. Киевская область. Золотоноша. П/о Прохоровка, дом Кронберга, мне. Я буду там до самого сентября и приеду в Тифлис, не заезжая в Ленинград.

И еще есть за Вами должок: обещали послать мне подстрочник и транскрипцию Вашего стихотворения, названия которого я не знаю, но которое Вы читали мне и которое, вероятно, помните. Я бы хотел попытаться перевести эту прекрасную, трогательную вещь. Или, может быть, мы в сентябре договоримся об этом, т. к. подстрочник требуется очень подробный и с авторским комментарием.

В начале октября я вернусь в Ленинград.

Вот краткий отчет о моих планах на лето и на весь будущий год. Очень прошу Вас, напишите, как Вы ко всему этому относитесь.

Передайте мой сердечный привет Нине Александровне.

Ваш *Н. Заболоцкий*.

Т. И. ТАБИДЗЕ

2 августа 1936 г. Прохоровка.

Дорогой Тициан Иустинович!

Благодарю Вас за письмо, я получил его своевременно, и оно меня очень обрадовало. Я, признаться, одно время думал, что перделка для детей не может заинтересовать публику: мы еще не привыкли по-настоящему учитывать интересы массового читателя. Но ведь Руставели написал *народную вещь*, в Грузии она известна всему народу. Значит, и в русском переводе мы должны постараться довести ее до широких масс читателей... После Вашего письма я спокоен. Если специалисты по Руставели мне помогут, я надеюсь справиться с работой в один год.

Что касается материальной стороны, то я имею договор с Ленинградским отделением Детиздата, где я работаю давно.

Ваша мысль относительно Гр. Ев. Цыпина — превосходна. Я с ним в самых лучших отношениях. Он знает меня еще с тех пор, как работал в «Известиях» и печатал там мои стихи. Вероятно, он с большой охотой взялся бы за это дело, но меня, признаться, очень угнетает мысль о постоянных поездках в Москву, и я решил заключить договор в Ленинграде. Там пошли на мои условия и обещали просить Н. С. Тихонова быть редактором этой книги. Сам Н. С. сейчас на Кавказе, и я с ним не успел переговорить лично.

«Алуду Кетелаури» я буду переводить зимой, параллельно с Руставели. В Тифлисе мы поговорим об этом подробнее. У меня нет транскрипции этой вещи, кроме того, нужно устроиться с консультацией. Впрочем, это, вероятно, можно устроить и в Ленинграде с помощью С. В. Вирсаладзе, который помогал мне, когда я переводил поэму Орбелиани.

Ваши новые стихи очень хороши, это чувствуется и по подстрочнику. Я сразу стал переводить их и вот посылаю Вам два перевода: «В ущелье Арагвы» и «Рождение слова». Это — не окончательные тексты, тем более что некоторые строчки для меня и до сих пор темноваты, и я слишком свободно перевел их. Вообще, как Вы видите, переводы довольно свободные. Я очень страшусь пунктуальной передачи смысла в том случае, если это звучит в русском стихе нарочито и неестественно. Я стремлюсь к тому, чтобы перевод звучал как оригинальное стихотворение. Это не значит, конечно, что я допускаю искажение смысла. Я стараюсь только интерпретировать смысл в том случае, когда это требуется для легкости и ясности стиха. В Ваших стихах пленяет меня удивительная близость душевного мира к миру природы. У Вас эти два мира сливаются в одно неразрывное целое — и это для нашего времени явление редчайшее. Среди современных русских поэтов природу любят и чувствуют лишь очень немногие... Такое гармоничное и естественное слияние душевного мира с природой, какое я вижу по Вашим стихам, я не встречал еще ни у кого. Оно, конечно, есть результат долгой поэтической и душевной работы, — результат, о котором молодые поэты могут только мечтать.

Я Вас прошу, Тициан Иустинович, отметить в моих переводах все те места, которые требуют исправлений. Их есть несколько, и некоторые я уже знаю. В Тифлисе я постараюсь выправить переводы.

Что касается стихотворения «Ананури», то я перевел его неудачно и буду переводить (позже) снова, когда несколько позабудется первый перевод. Кроме того, мне еще нужно посоветоваться с Вами относительно некоторых темных мест подстрочника.

В Тифлисе я буду в первых числах сентября.

Ваш Н. Заболоцкий.

14 ноября 1936. Ленинград.

Дорогой Симон!

Большое спасибо за письмо, вырезки из газет и снимки. Ну и красавцы! Жена хохотала, глядя на нас. Особенно трогателен тот снимок, где я пытаюсь схватить тебя в объятия. Спрячь его подальше и не показывай никому.

Ты настаиваешь, чтобы я написал стихи о Гори.

Изволь, стихи готовы, посылаю тебе список. Они возникли благодаря тебе,— читай же и наслаждайся. Шутки в сторону — стихи, кажется, не очень плохие. Прошу тебя, прочти и сообщи мне — каковы они, нет ли каких грузинских неточностей и пр. Одновременно посылаю их Живову в «Известия», с просьбой напечатать во время Съезда Советов. Напечатают ли — неизвестно.

Теперь, дорогой товарищ, очередь за вами! Жду твоих стихов о Гори — помни наш уговор!

Занятый этими стихами, твои вещи еще не успел перевести. Но переведу на днях и немедленно тебе вышлю.

Будь здоров! Мой привет Марии Николаевне, Николаю Зурбовичу и всем. Список стихов для Марии Ник. вышлю на днях.

Жду твоего письма.

Твой *Н. Заболоцкий*.

Р. С. Список «Горийской симфонии» посылаю также Тициану Табидзе.

Радуюсь за Миколу Платоновича. Телеграммы ему послал.

М. П. БАЖАНУ

11 <декабря> 1936. Петергоф.

Дорогой Микола Платонович!

Простите, ради бога, за долгое молчание. И в Грузии, и здесь, после Грузии, жизнь довольно основательно крутит меня, и, хотя каждый день собираюсь написать Вам, руки не дошли до сегодняшнего дня. В Грузии, сами понимаете, пробыл месяц, который, как известно, заключает в себе 30 дней. Из этих 30 дней — 24 дня был пьян, остальное время занимался делами. Удивляюсь себе, как успел сделать все, что было нужно. Причина тому — наш дорогой Симон. Он потратил на меня много времени и забот, дай бог ему здоровья. Конечно, всего того, что Вы видели в Грузии, я не видел, но все же был в Кахетии, в Цинандалах, в Мцхете и иных местах. Очень сошелся с грузинами, особенно с Симоном. Были с ним в Гори и дали друг другу обещание написать об этой поездке стихи. По «Известиям» Вы, может быть,

знаете, что свое обещание я выполнил; что же касается Симона, то он, лентяй, как будто еще не написал ничего.

Приехал из Грузии — в Ленинграде много перемен, особенно в Детиздате, где я постоянно работаю. Пересказывать все эти дела долго, утомительно, и Вам, человеку постороннему, неинтересно. [...]

Потом навалилась работа: написал несколько своих стихов, перевел два стихотворения Г. Табидзе, три стихотворения Симона для «Двух пятилеток», и, наконец, в Петергофе — поэму Важа Пшавела «Алуда Кетелаури» на 600 с лишним строк. Это прекрасная вещь, не знаю, как удался перевод, говорят, что удался.

Ко всему этому прибавился ремонт квартиры. Забрал всю семью и перевез в Петергоф, в гостиницу. В квартире — разгром. Целый месяц торчим здесь и завтра наконец едем обратно. Ремонт закончен. Но жить без дома я положительно не могу. И то сказать, вот уже 7 месяцев, как скитаюсь по разным местам.

Если Вы читали мою «Горийскую симфонию» в «Известиях», Вы, вероятно, поняли, что это стихотворение будет играть значительную роль в моей литературной судьбе. Признаки к тому уже налицо. 16-го ноября в Доме писателя состоится мой вечер — первый после 1929 года. Ряд журналов просят стихи. Что будет дальше — увидим.

Что касается обработки Руставели, она движется понемногу, и теперь, когда сделано все другое, спешное, она, надеюсь, пойдет полным ходом.

Очень рад, что Ваш перевод наконец закончен. Скажу по правде, немного завидую Вам, — осилить такую работищу может не всякий. Получили ли Вы мою телеграмму? Когда Вы едете в Грузию? Очень может быть, что это письмо уже не застанет Вас в Киеве. Как бы то ни было, имейте в виду, что мы с нетерпением ждем Вас в Ленинград, — и я, и моя жена. Приезжайте скорее, дорогой Микола Платонович, и обязательно остановитесь у нас. Ждем Вашего письма. Моя комната всегда в Вашем распоряжении.

Передайте наш сердечный привет Гаине Симоновне, Галине Аркадьевне, Вашей дочке и всем домашним. Мы нынче очень хорошо отдохнули у Вас на Украине. Особенно это отозвалось на Никите. Врач говорит, что у него здоровье значительно улучшилось и с железами дело обстоит несравненно лучше, чем весной. Это — дело украинского климата.

Ваш *Н. Заболоцкий*.

В. В. ГОЛЬЦЕВУ

12 ноября 1937. Сочи.

Дорогой Виктор Викторович!

Ваше письмо я получил в Ленинграде своевременно. Запоздал с ответом, потому что это было жаркое для меня время: дорабатывал

перевод Руставели, очень торопили с листами, подписывали книгу к печати. Сейчас книга в печати, к торжествам выйдет часть тиража и будет послана в Тбилиси. Кончив все эти хлопотливые дела, я удрал в Сочи, чтобы немного вздохнуть и воспользоваться остатками южного лета. Кроме того, мой ангионевроз уже давно гнал меня на Мацесту. Сегодня уже пятый день, как я в Сочи, беру мацестинские ванны, наслаждаюсь ясными теплыми днями, морем и полным отдыхом.

Погода здесь стоит отличная. Морские купанья мне запрещены, но купаются здесь уже только старые энгузиасты этого дела, т. к. в море холодновато. Солнце днем, однако, припекает порядочно, и немало народу разгуливает в белых костюмах.

Живу в санатории Наркомзема. Учреждение приличное, и любопытен состав отдыхающих: знатные комбайнеры, животноводы, колхозники, которым есть что порассказать и у которых есть чему поучиться. Интернационал полный: казах отдыхает рядом с дагестанцем, чеченец — с русским и пр.

Думаю пробить здесь до 7-го декабря, после чего двинусь в Ленинград или Тбилиси, смотря по обстоятельствам. Обстоятельства же следующие: когда я был у вас в Москве, Аршаруни сказал мне, что внес мое имя в список командированных на руставелевские торжества. Список этот отправлен вверх на утверждение. Я до сих пор не знаю, утвержден ли список, поеду ли я в Тбилиси и какого числа будет юбилей. На днях послал Аршаруни запрос. Дело в том, что в случае, если я получу командировку, я хотел бы проехать в Тбилиси прямо отсюда, из Сочи, не заезжая в Москву и Ленинград, что отняло бы у меня 6—8 дней (туда и обратно). 27 ноября, по правилам санатория, я уже должен заказать себе билет. К этому времени я хотел бы иметь ответ Руставелевской комиссии. Посему, дорогой Виктор Викторович, независимо от Аршаруни, прошу Вас и умоляю: сообщите мне, как обстоит дело с моей поездкой. Вы, как секретарь Руставелевской комиссии, вероятно, в курсе дела. Если моя поездка утверждена, документы и деньги следует выслать мне в Сочи по адресу:

Сочи. Санаторий Наркомзема, корпус № 1, палата № 3, мне.

Я очень рад, что моя книжка пришлась, кажется, Вам по душе. Она еще не цельная: торчат концы старого, видны ростки нового. Буду надеяться, что к концу будущего года переиздам книжку в более цельном виде. На будущий год у меня большая работа: нужно переложить на русские стихи «Слово о полку Игореве» — работа интересная и ответственная. Кроме того, думаю заняться переводом Важа Пшавела и своими стихами.

В случае, если моя поездка в Тбилиси устроится, надеюсь скоро встретиться с Вами, Симоном и другими друзьями в Тбилиси.



Передайте мой сердечный привет Юлии Сергеевне и благодарность за ее приписку к письму.

Будьте здоровы. Жду Вашего письма.

Ваш *Н. Заболоцкий*.

Е. В. ЗАБОЛОЦКОЙ

*5 октября 1938 г. <Ленинград, тюрьма «Кресты».>*

Родная моя Катенька, милый мой сынок Никитушка, ангел мой Наташечка, здравствуйте, родные мои! Я жив и здоров, и душа моя всегда с вами. Я получил пять лет лагерей. Срок исчисляется со дня ареста. Не горюй и не плачь, родная Катя. Трудно тебе будет, но нужно сохранить и себя и детей. Я верю в тебя и надеюсь, что наше счастье погом вернется к нам. Нас, родная, могут скоро отправить, приходи скорее на свидание. Может быть, успеешь. Захвати с собой, если можно, вещевую передачу: 1) мешок вещеюй без пряжек и ремней, на толстых лямках, 2) пару мешочков для продуктов, 3) бурки, 4) что-нибудь вместо теплого шарфа, 5) мои черные новые ботинки с галошами, 6) старые черные брюки, 7) портянки и 2 пары носков, 8) пары по 2 маек и трусов, 9) простыню старую или тряпку, 10) малые наволочки. Мои деньги в ДПЗ, захвати рублей 300, здесь договоримся. Не забудь захватить паспорт. Что мои деточки? Помнят ли папу? Всегда, всегда буду тверд и крепок с мыслью, что увижу вас и буду с вами. Жду тебя, может быть, успеешь. Захвати письмо и проси свидания, так как мы готовимся к этапу. Крепко, крепко целую моих бесконечно дорогих и милых, обнимаю, ласкаю. Будьте здоровы. Напишу при первой возможности. У меня пропали все старые болезни, и я здоров вполне. Захвати Ваши фотографии для меня. Наташеньке, дочке сегодня 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> года. Мой дорогой праздник. Никитушка, будь умным. Целую дорогую твою головку. Катя, родная, будь здорова. Целую ручки твои. Наташечка, будь здорова, бесконечно родная моя.

Ваш папа *Н. Заболоцкий*.

Арсенальная наб., д. 5.

Е. В. ЗАБОЛОЦКОЙ

*27 февраля 1939. <Район Комсомольска-на-Амуре.>*

Родная моя Катенька, милые мои дети!

Я здоров и две недели назад отправил тебе первое письмо. Ответу еще быть рано, но жду его с нетерпением. Мой адрес: г. Комсомольск-на-Амуре. Востлаг НКВД. 15 отделение, 2 колонна, мне.

Работаю на общих работах. Хотя с непривычки и трудно, но все же норму начал давать. Просил послать у тебя, если ты в силах, 50 рублей и посылку — сала, сахару, мыла, пару простого белья, 2 пары носков и портянок. Еще, дорогая, я нуждаюсь в витамине С (ц). Говорят, он продается в виде облаток рубля 1<sup>50</sup> коробка. Если есть — пошли, родная. Также хорошо бы — луку, чесноку. Вещей посылать сюда ценных не нужно.

Родные мои, не проходит часа, чтобы не подумал о вас. О детях наших тоскую я, Катя, и о тебе горюю. Жаль мне вас. Что с вами? Пиши сразу, как получишь письмо, и чаще. Я могу тебе писать 2 раза в месяц. О себе, о детях пиши. Адреса твоего еще не знаю. Пошли бумаги, марок.

Родная, я живу одной надеждой, что дело мое будет пересмотрено. Жду и верю, что будет так. 18-го февраля послал заявление Наркому. Надейся и ты, родная. Как бы мне ни было трудно, буду стараться терпеливо ожидать ответа Наркома. Родная моя, целую тебя крепко, крепко. Ласкаю и целую родного Никитушку и Наташечку. Если б только знал я, как вы и что с вами.

Будьте же здоровы, терпеливы и благоразумны.

Любящий вас папа *Н. Заболоцкий*.

Очки бы мне нужно от близорукости — 1,75 Д. Пошли, если можно заказать, в футляре.

Е. В. ЗАБОЛОЦКОЙ

*15 сентября 1940. <Район Комсомольска-на-Амуре.>*

Моя милая Катя! Вчера получил три твоих письма от 11, 16 и 17 августа — первые после долгого перерыва. Очень беспокоился о вас, хотя и думал, что это случайная задержка. Бесконечно рад, что все вы здоровы и живете более или менее сносно. Это — самое большое мое утешение; оно дает мне силу продолжать жить.

Милая Катя, мне кажется, что разбор моего дела задерживается по причинам общего порядка. По крайней мере — не я один остаюсь в лагерях с приговором, опротестованным Верховной Прокуратурой. Но, как ни долго тянется дело, все же надо иметь в виду, что только одна полная реабилитация моя может вернуть нам старую жизнь. Если я останусь не реабилитированным, если буду продолжать жить с этим незаслуженным клеймом — наша жизнь прежней не станет никогда; и все в ней будет условно. Этого забывать нельзя и потому нельзя прекращать своих усилий добиться справедливости. Пусть это будет не сейчас, пусть это будет позже — но добиваться нужно.

Еще раз прошу тебя написать мне подробнее — в каком поло-

жении остановилось дело. В майском письме ты писала: «В Москве Верховная Прокуратура передала дело в НКВД для утверждения отмены приговора». В августе ты пишешь: «Все время обещали близкий хороший конец. Но вот все еще тянется». Как согласовать это? Ушло все-таки дело из Верховной Прокуратуры в НКВД или нет? И если да, то о чем ходатайствовал Верховный Прокурор — об отмене приговора и реабилитации или нет? Ответь мне на этот вопрос ясно, чтобы я мог знать, где именно задерживается дело — в Верховной Прокуратуре или в НКВД — нужно же мне знать, куда писать снова.

Через четыре дня — половина моего срока. Будет ли вторая половина легче первой? Один заключенный — крестьянин — говорил: «Когда идешь домой с тяжелой ношей, — то до полдороги еще ничего, — а там чем ближе к дому — тем тяжелее и тяжелее». А там, если и вернусь, — то где позволят жить, где и как работать и прочее. Но загадывать еще рано. Времени впереди еще достаточно.

Первая половина прошла. За все время я покорно и терпеливо выносил все лишения, которые выпали мне. За мной нет ни единого замечания, ни одного отказа от работы, ни одного случая непослушания. Неизменно выполняю нормы до 120% (при наших чрезвычайно жестких нормах), причем качество работы — на «хорошо» и «отлично». Все это не так легко дается, но я стараюсь работать возможно лучше.

Уже осень. Ночи очень холодные, уже вода на дворе подмерзает к утру. Днем солнце — осеннее, не горячее. Живу по-старому в ожидании перевода в Комсомольск. На зиму у меня — два шерстяных одеяла, меховой пиджак, шапка, валенки. Здоров, ноги не болят. Сыт; кормят лучше, чем прошлой зимой; нужда только в сахаре, сале да махорке (или табаке).

Письма твои доставили мне много радости. Стараюсь по твоим описаниям и фотографиям представить себе детей. Наташенька представляется плохо, хотя и на фотографиях она — очаровательная девчурка, особенно — на той, где она сидит у тебя на коленях. Смотрю на ваши фотографии, и горько мне за ваше одиночество. Ты похудела, женка. Одному освободившемуся заключенному рассказывали, что его измученная похудевшая жена с момента получения вести о его освобождении вдруг начала полнеть и поправляться с каждым днем, так что он, приехав, нашел ее полной и цветущей. Будем надеяться, что и с тобой когда-нибудь случится это. Только не болей, береги себя и ребят.

Денег мне высылать не нужно, они ни к чему. Сам с удовольствием переслал бы тебе те 700 руб., которые у меня еще где-то болтаются в финотделе, если бы мог сделать это. Еще раз предпринимаю попытку выслать тебе доверенность на получение облигаций, их там на 1500 руб.

До свидания, родная. Спасибо за все хлопоты и заботы.

Крепко целую и обнимаю тебя и милых деток. Будем верить в правду, в людей; будем верить в лучшее будущее. Привет деду и знакомым.

*Твой Коля.*

19-го сентября. Письмо отправляю сегодня, вместе с доверенностью. Жду писем. *Н. З.*

*Н. А. Заболоцкий. Комсомольск-на-Амуре,  
п/я 99/к Проектный отдел. Пиши мне по этому адресу.*

**Е. В. ЗАБОЛОЦКОЙ**

*19 апреля 1941 <Комсомольск-на-Амуре.>*

Моя милая Катя! На этой неделе получил твою телеграмму о высылке хрестоматии. Очень благодарю тебя за это; ты мне оказала большую услугу.

Живу по-старому. Совсем было наступили весенние дни, но вдруг погода испортилась снова — снег, дождь, грязь по колено, ветер, — но тепло; переходы снова стали трудными, но это, конечно, не надолго. Станный здесь климат — к нему нужно долго привыкать.

Быстро бегут дни. Работа гонит их вперед с неудержимой силой. Теперь встаю в 7 утра и возвращаюсь в барак к 12 часам ночи; в час уже сплю мертвым сном. И не знаю, долго ли это все продлится. Весной возможны всякие перемены.

Стал и я стареть. Все явственней обозначается лысина, появились морщины, в коже нет прежней упругости и свежести. Время и лишения делают свое дело. И от жизни так отвикаю. Милые вы мои! Как вы далеко, и как нестерпимо хочется быть вместе с вами.

Когда ты получишь ответ относительно пересмотра дела — ты немедленно сообщи мне, и не откладывай, как тогда. Уже более 3 лет я живу одним ожиданием; и может быть, определенность была бы лучше. Я ко многому привык, и не нужно ничего скрывать от меня.

Много раз я старался представить себе, как ты живешь одна, с детьми, без домработницы. И совсем не представляю себе — во что вы одеваетесь, во что обуваетесь. Твое зимнее пальто уже в 38 году было старое, что же носишь ты теперь? Я представляю себе, как хочется тебе иногда купить себе что-нибудь — шляпу, чулки, и не на что. Все это в одно мгновение оказалось отрезанным от меня: из одной жизни я провалился в другую и смотрю теперь оттуда на вас глазами иного человека, малопонятного для вас и уже многими, вероятно, забытого.

Если бы я мог как следует отдохнуть, отоспаться и передумать много-много мыслей, которые уже давно ждут своей очереди

и которыми заниматься некогда. Моя голова еще хочет думать — она еще не утратила этой способности — и одно это обстоятельство уже радует меня. Не мне одному тяжело в заключении, но мне тяжелее, чем многим другим, потому что природа одарила меня умом и талантом.

Если бы я мог теперь писать — я бы стал писать о природе. Чем старше я становлюсь, тем ближе мне делается природа. И теперь она стоит передо мной как огромная тема, и все то, что я писал о природе до сих пор, мне кажется только небольшими и робкими попытками подойти к этой теме.

До свидания, родная. Крепко целую и обнимаю тебя и детей, с которыми мысленно всегда вместе и о которых я так тоскую. Будьте здоровы.

Ваш *Н. Заболоцкий*.

Е. В. ЗАБОЛОЦКОЙ

*19 марта 1943. <Комсомольск-на-Амуре.>*

Моя милая Катя! Открытку твою и письма от 30 декабря, 10 и 21 января я получил и посылку от 30 октября получил тоже уже давно, о чем уже писал тебе. Спасибо за все.

Я здоров и на днях, очевидно, уезжаю отсюда на Алтай. Я оставлен здесь до конца войны, но, если уеду, буду жить значительно ближе к тебе и письма будут ходить, вероятно, быстрее. Там, куда мы едем, говорят, все значительно дешевле, чем здесь, и климатические условия мягче. Впрочем, как только я приеду на новое место (и это будет, вероятно, в начале мая), я тебе сразу напишу и сообщу новый адрес.

Так, мой друг, я вступаю в новый период своей жизни, который не радует меня и не огорчает, так как чувства уже притупились и продолжение несчастья не кажется более ужасным, чем то, которое случилось 5 лет назад. Я знаю, что мои дети нуждаются в моей жизни, остаток которой еще может быть полезен для них. Поэтому будем жить и работать так же добросовестно, как и до сих пор.

Невеселую жизнь устроил я тебе, помимо желания, но крепись, моя Катя. Может быть, когда-нибудь мы с тобой — старые старикашки — будем сидеть около печечки рука в руку, вспоминая горькое прошлое, а наши большие умные дети с любовью и заботливостью будут оберегать наш покой и украшать нашу старость. Целую твою руку, моя хорошая, только будь здорова и не теряй ровности характера. Детям я пишу отдельные письма. Лиде передай мой сердечный привет; тоже и ей несладко живется и столько времени. Если будут известия о брате, сообщи мне. Может быть, приехав на место, я попрошу через тебя Евгения Львовича, чтобы он послал мне какие-нибудь куртку и брюки, хотя старые. Но об этом потом.

До свидания, милая, будь здорова.

Твой *Н. Заболоцкий*.

4 февраля 1944. &lt;Алтайский край.&gt;

Мой дорогой Коля!

Твое письмо из Молотова я получил с большим запозданием, ответил на него, но ответ пришел недавно обратно за выездом твоим в Москву. Сейчас пришло твое письмо из Москвы.

Я рад, мой дорогой, что ты до сих пор еще помнишь обо мне, и я крепко жму твою руку и душевно благодарю тебя за твое неизменное внимание к моим близким. Катя — хороший человек, она заслуживает доброго отношения к ней; что касается меня — то все твое внимание ко мне я отношу только за счет твоих качеств; я же, право, не заслужил ничем ни твоего, ни других людей расположения.

Я живу обычной полумертвой жизнью, которая предписана мне судьбой. И дни и движения, которые проделывает тело в определенные часы дня — очень похожи друг на друга. Время проходит в бесконечной механической работе. Почти ничего не читаю — за неимением времени и книг, и ничего не пишу. За всем тем — живу все-таки сносно, так как не могу жаловаться на голод, холод. Правда, здоровье сдает: порок сердца, кажется — декомпенсация. Не грущу и не отчаиваюсь. Но и надеждами не обольщаюсь, как когда-то. Несколько лет путешествовала со мной твоя книжечка Баратынского, и я полюбил его и вместе с ним разлюбил многое, что любил когда-то так сильно.

За тебя я рад, дорогой мой, что ты вместе с семьей и что ты в Москве. Конечно, теперь ты скоро будешь в Ленинграде. Это печально — что разрушена твоя квартира; но все это у тебя будет снова, лишь бы были здоровы ты и твоя семья. Я желаю тебе быстрого восстановления твоей жизни и верю, что все у тебя скоро выправится и в послевоенное время ты будешь много и плодотворно работать.

От Кати я довольно часто получаю письма, сам регулярно ей пишу, но она мои письма получает очень редко. Не знаю, в чем тут дело.

Писала она недавно о твоём разговоре с Фадеевым. Я мало что смыслю в этих делах; они выше моего разумения. Думать об этом — бесплодное и мучительное дело.

---

Нынче летом в «Правде» была обширная рецензия — подвал о книге «Грузия в борьбе за свою национальную независимость». Автора не помню — грузинская фамилия. Это — первая история Грузии, вышедшая на русском языке. Если подвернется под руку — при случае пошли мне. Хотелось бы иметь томик Тютчева. Говорят, бандероль можно послать. Но все это — при случае.

Передай мой привет знакомым, которые еще не совсем забыли меня. В вихре событий тонут судьбы маленьких людей. Ничего в том нет удивительного. Но судьбы людей интересуют меня, и если ты сообщишь мне о наших общих знакомых — где они и что с ними, — буду тебе благодарен. Выздоровел ли Юрий Николаевич?

---

До свидания, мой дорогой. Передай мой сердечный привет Лидии Константиновне, Алеше и всем твоим. Напиши как растет твой сын и как учится?

Мои дети растут, кажется, сами по себе. Катя о них хорошего мнения. Жаль, что Кате так не повезло.

Будь здоров; писем твоих буду ждать.

*Н. Заболоцкий.*

Н. Л. СТЕПАНОВУ

*29 марта 1944. <Алтайский край.>*

Дорогой Коля!

Вчера получил твое письмо от 2-го числа, которое я ждал с нетерпением. Несколько дней тому назад из случайного номера газеты я узнал о смерти Юрия Николаевича и все это время хожу под впечатлением горькой утраты. Ты знаешь, что я всегда с большим уважением относился к нему и был ему благодарен за неизменно внимательное отношение почти с первых шагов моей литературной работы. Конечно, имя его будет крепко связано с новым периодом развития русского исторического романа и он мог бы, очевидно, еще много сделать, если бы не болезнь. Взыскательность ученого боролась в нем с полетом художника — и это едва ли не первый прецедент во всей истории нашей литературы. Я отстал от жизни и не знаю — в каком состоянии оставил он своего «Пушкина». Сообщи мне об этом, дорогой; я знаю лишь только первый том его. Смерть Юрия Николаевича я переживаю как свое личное горе и глубоко соболезную тебе, который был так близок к покойному, Лидии Николаевне, Вениамину Александровичу и всем его близким.

Благодарю тебя за твои теплые отзывы о моей семье. Я более или менее аккуратно получаю письма из Уржума. Катя, как и всякая ленинградка, стремится в Ленинград, — по всей видимости, она просит у тебя совета относительно переезда; надеюсь, что, после своего посещения Ленинграда, ты ей напишешь пару строк. У меня со стороны такое впечатление, что с детишками, пожалуй, рано ехать. Впрочем, вам на месте виднее, я все это очень смутно представляю себе.

Относительно юридического моего положения могу сообщить тебе немного. По окончании срока на основании директивы 185 я задержан до конца войны. Положение, работа, быт и права остаются без изменения. 4-го числа этого месяца на имя Народного комиссара внутренних дел я послал в Особое совещание обстоятельное заявление на 11 страницах, в котором снова прошу о пересмотре дела (несмотря на окончание срока). Это первое заявление за все время войны. Числа 4-го оно ушло в запечатанном конверте в Москву.

Живется мне по-прежнему. Все время уходит на работу. Питание и условия быта по нашему специфическому положению сносные. В землянке есть радио, и в 12 ночи, придя с работы, мы с жадностью слушаем приказы, и голос Левитана нам милей всех голосов на свете.

Радуюсь, что ты и семья твоя живы, здоровы и относительно благополучны в наше сложное и суровое время. Ты (скромник!) ничего не пишешь мне о своих работах: сообщи мне — что ты успел сделать за все эти годы. Думал о теме твоей диссертации; мне лично больше улыбается исторический роман, хотя ему и не слишком везло до революции, если не считать Толстого. Да, дорогой мой, хотелось бы верить, что еще встретимся когда-нибудь и я смогу позвать твою ученую докторскую руку. Идет время. Скоро стариканами станем.

Относительно книжек — не хлопочи особенно, — я не думал, что в Москве так трудно с книгами. Просто так — имей в виду при случае, а специально не надо искать. У меня не горит и впереди, кажется, еще достаточно времени.

Как-нибудь соберусь с духом и напишу тебе особое письмо о природе, которую я видел на Дальнем Востоке и здесь. Она на меня производит такое впечатление, что иной раз я весь перерождаюсь, оставаясь с ней наедине. Эта могучая и мудрая сила таким животворным потоком льется в душу, что сам я в эти минуты делаюсь другим человеком. О, Судьба знает, что она делает.

Я хотел бы остаток моей жизни, если он будет мне предоставлен, — жить не в большом городе.

Коля! Книги меня, конечно, интересуют, но далеко не так, как раньше, и я рад этому.

Извини за беспорядочные строки. Я должен кончать письмо. Постараюсь вскоре написать снова.

Твоего письма жду. Сегодня я работал, и около меня весь день лежит конверт с твоим письмом. Оно согревает меня, спасибо, дорогой.

Мой сердечный привет Лидии Константиновне, Алеше, всем близким твоим, знакомым.

Твой *Н. Заболоцкий*.



6 июня 1944. &lt;Алтайский край.&gt;

Милый Никита! Я получил твое письмо, твои отметки хороши, я рад, что ты хорошо учишься. Стихи твои мне тоже понравились и, главным образом, тем понравились, что в них почти нет лишних слов, все описано кратко, сжато, даже сурово как-то, и мне кажется, у тебя так получилось именно потому, что ты сам испытал на себе всю ту жизнь, которую ты изображаешь. Мне было бы интересно прочесть все твое стихотворение целиком; жаль, если ты его не вспомнишь.

Я живу лучше, чем раньше, и все больше надеюсь, что мы довольно скоро встретимся. И я очень бы хотел, чтобы все вы — и ты, и мамочка, и Наташенька — были живы-здоровы и мужественно перенесли все те трудности, которые еще осталось вам перенести.

Недавно произошел со мной любопытный случай, о котором я хочу тебе написать.

Я шел на работу, один, мимо кладбища. Задумался и мало замечал, что творится вокруг. Вдруг слышу — сзади меня кто-то окликает. Оглянулся, вижу — с кладбища идет ко мне какая-то старушка и зовет меня. Я подошел к ней. Протягивает мне пару бубликов и яичко вареное.

— Не откажите, примите.

Сначала я даже не понял, в чем дело, но потом сообразил.

— Похоронили кого-нибудь? — спрашиваю. Она объяснила, что один сын у нее убит на войне, второго похоронила здесь две недели тому назад и теперь осталась одна на свете. Заплакала и пошла.

Я взял ее бублики, поклонился ей, поблагодарил и пошел дальше.

Видишь, сколько горя на свете у людей. И все-таки они живут и даже как-то умеют другим помогать. Есть чему поучиться нам у этой старушки, которая, соблюдая старый русский обычай, подала свою поминальную милостыню мне, заключенному писателю.

Весь день я ходил, вспоминая эту старушку, и, вероятно, долго ее не забуду. Будь здоров, мой дорогой мальчик. Если будет возможность, побольше читай, особенно классиков. Поцелуй маму и Наташеньку, и на каникулах желаю тебе хорошо отдохнуть.

Милый мой. Сейчас пришли вести о том, что союзники высадились в Северной Франции. Будем надеяться, что конец войне недалек.

До свидания, милый. Жду твоих писем.

Любящий тебя Н. Заболоцкий.

28 сентября 1944. <Михайловское Алтайского края.>

Моя милая Катя! Долгожданные письма от тебя наконец получились, шли долго — почти целый месяц. Все происшедшее со мной вскружило голову и мне и тебе, но теперь все улеглось, давай здраво разберемся в наших обстоятельствах.

Мне кажется, что ты поступила правильно, не поехав в Ленинград. Теперь жизнь надо налаживать у меня, и две поездки делать незачем. Но дело в том, что, как я уже писал тебе, мы заканчиваем здесь свои дела и должны уезжать отсюда. Куда и когда — это еще неизвестно, здесь специфические условия, — куда прикажут, туда и поедем. Положение должно скоро разъясниться, и, согласишься сама — приезжать сюда на месяц тебе нет никакого смысла, тем более что с семьей вдвойне трудна и без того трудная нынешняя поездка. Я отлично понимаю, что идет зима, — но что делать? И все разделяют здесь мое мнение, что сейчас вам ехать сюда невозможно, только измучимся все и у детей учебный год пропадет.

Как только осядем на новом месте, — тогда станет реальным вопрос о вашем приезде. И как это ни печально, как это ни трудно, но ты должна еще укрепиться в своем терпении на какое-то время, и я должен тоже ждать, как бы ни хотел я вас видеть здесь, мои дорогие.

Подготавливаясь к переезду, ты должна уяснить себе следующее. Живя со мною, все вы должны будете ездить со мной туда, куда меня назначат, оседлой жизни у нас нет. Мы — люди странствующие; живем на месте, пока идет стройка, закончится она — мы едем дальше, куда назначат. Это может быть и Крайний Север, и Дальний Восток, и Средняя Азия и т. д. Отсюда вывод: наша мебель — чемоданы, имущество — самое необходимое, то, что полегче и поудобнее для перевозок. Однако теплые вещи должны быть, так как суровый климат в нашей жизни — дело обычное.

С квартирами постоянные хлопоты. Здесь живем в крестьянских избах; зачастую вместе с хозяевами. Отсюда все неудобства, которые предстоят также и нам.

Все это я пишу для того, чтобы ты могла трезво оценить ту обстановку, которая тебя ожидает. Увы, она совсем не похожа на нашу прежнюю жизнь.

Когда ты будешь со мной, тебе, по всей видимости, придется также работать в системе лагеря, как это делают жены других служащих. В школе местной трудно устроиться. Но у лагеря есть и детсад, и другие подсобные предприятия.

Есть и хорошие стороны нашей жизни: снабжение, например. Я получаю хлеба 700 гр., приличные завтрак и обед и, кроме того, кое-какие продукты. Если позволяет местность — заводим

свои огороды и бахчи, что дает возможность иметь свои овощи. С одеждой сейчас туго, и вообще здесь она в цене. Что касается продуктов, то цены примерно что и у вас. Картофель — рублей 30 ведро, молоко — 15—20 литр, масло 250 — килограмм, мясо рублей 100 килограмм. Но каждая тряпка имеет цену большую.

Моя жизнь до сих пор неустроена и настраивается с большим трудом. Колины и твои деньги сохраняю, но не могу одеться — ничего нет. Хожу как и раньше. С квартирой все неладно. Отдельной комнаты пока не нашел, живу в общей избе и избегаю ходить домой. Работы очень много. Несколько дней пробыл на ударниках — так что совсем своими делами не имел возможности заниматься. Но я сыт, и это скрашивает все прочие неудобства.

Но всего больше тяготит неясность положения. Ясно одно: здесь на зиму не останемся. Куда уедем, какие будут условия на новом месте — не знаю. Остается — ждать.

Ты спрашиваешь о моих правах. Я так называемый «директивник», то есть освобожденный по директиве и обязанный работать здесь по назначению до конца войны. Это не совсем полное освобождение.

Пока практический вывод для тебя, мне кажется, все же один: овощи ты попридержи, так как пока наша разлука еще не окончена и поездка твоя сейчас невозможна. Пусть дети продолжают учиться, ты работай и не нервничай напрасно. Было бы более чем ужасно, если теперь, когда так улучшились мои дела и когда наша совместная жизнь все ближе подходит к нам, — и вдруг ты сдашь и потеряешь равновесие. Не так легко склеить нашу надломленную жизнь, это враз не делается. Будь благоразумна и помни, что семья моя мне дороже всего в жизни, и не таков мой возраст и мой характер, чтобы делать глупости. Я думаю, что ты это отлично знаешь.

Ты просишь послать фотографию. Это я сделаю, как только будет возможность сняться. Сейчас этой возможности пока нет.

Между прочим: я просил Колю через одного командированного в Москву — послать мне какие-нибудь часы и бритву. Зарез без часов. Опаздывать на работу немислимо, дома часов нет, ориентироваться во времени по петухам более чем рискованно. Надеюсь, пошлет, потом верну.

Коля пишет, что в Ленинграде еще туговато. Я слышал, что временно въезд приостановлен, и больше всего боялся, что ты застрянешь по дороге. Это было бы ужасно. От Коли 1000 рублей я получил и от тебя 200. Все они у меня целы. Стараюсь экономить во всем. Зарплата на руки — около 500, когда будет заем и профсоюзные взносы — будет меньше. Хватит пока, там увидим. Немного справлюсь — буду тебе посылать.

И больше всего жду я конца войны. Он, надеюсь, принесет нам настоящее облегчение.

Целую тебя, дорогая моя, будь здорова, будь терпелива. Будь благоразумна, береги себя, береги детей. Сбережете себя — на-

строится и наша жизнь, не сбережете (теперь, под конец!) — все наше будущее погибнет. Хотел бы я хотя на минуту посмотреть на тебя, чтобы ты поняла меня и взяла себя в руки.

Крепко обнимаю милых деток.

Твой Коля.

4 октября. Получил от тебя еще 2 письма от 15 и 17 сентября. Никаких телеграмм твоих я не получал, справлялся о них, но на телеграфе их нет — значит, все затерялось. Письмо первое было послано заказным 28 августа. Значит, оно еще не дошло. После него послал еще письмо и телеграмму.

Страшно подумать, какое безумие налетело на тебя в эти дни. Жаль мне тебя, но что делать, если неполучение писем путает все наши карты и ты готова идти на риск и ехать куда глаза глядят сейчас же, не дождавшись письма.

Я директивник, я не пользуюсь всеми правами гражданства. Ты должна это учесть. Семью я могу выписать к себе только с разрешения начальника строительства. До сих пор, думая, что твой приезд сюда пока невозможен из-за скорого нашего отъезда на новые места, этого рапорта я не подавал. Получив эти последние письма, я вижу, что ты можешь приехать сама, и поэтому завтра на всякий случай подаю рапорт. О результатах телеграфирую. О нашем отъезде отсюда — еще точно не выяснено; но думаю, что в течение октября это выяснится. Все может быть внезапным. Здесь особые условия.

Посылаю это письмо и не знаю, застанет ли оно тебя.

На всякий случай мой адрес в Михайловке: Пролетарская, 49; это на краю села. Адрес для писем: Михайловка Алтайского края, п/я 308.

Совет мой — приезжать на новое место, это будет благоразумнее, и все будет согласовано с начальством.

Но ты, кажется, готова решить иначе, письмо мое слишком запоздает, чтобы предотвратить твое решение.

Пусть будет так, как решит судьба.

Но не волнуйся напрасно и не теряй голову. Я здоров. Целую и обнимаю всех.

Любящий вас Коля.

Коля мое письмо 11 сентября уже получил, а оно было послано на 2 дня позже, чем тебе (30 августа).

Н. Л. СТЕПАНОВУ

20 июня 1945 г. Караганда.

Дорогой Коля!

На днях я закончил черновую редакцию перевода «Слова о полку Игореве».

Теперь, когда переписанная рукопись лежит передо мной, я понимаю, что я еще только что вступил в преддверие большой и сложной работы. Я знаю, что я в силах проделать эту работу. Состояние моей рукописи убедило меня в этом. Но я сомневаюсь, что у меня хватит сил довести ее до конца, если обстоятельства жизни моей не изменятся к лучшему. Можно ли урывками и по ночам, после утомительного дневного труда, сделать это большое дело? Не грех ли только последние остатки своих сил тратить на этот перевод — которому можно было бы и целую жизнь посвятить, и все свои интересы подчинить? А я даже стола не имею, где я мог бы разложить свои бумаги, и даже лампочки у меня нет, которая могла бы гореть всю ночь.

Сидишь целый день на работе, копируешь чертежи и страстно ждешь той минуты, когда сможешь вернуться домой и взяться за перо. Но вот приходит она — эта минута. Пройдешь по жаре 3 километра, с книгой в руках поешь, берешь перо и чувствуешь, что ты уже слаб, что отдых нужен, нет свежести в голове, мысль сонная, перо не идет. А ты знаешь — какая это работа. Можно написать десяток вариантов на одно место — и ни один вариант не подойдет. Так иногда приходишь до самоиступления и, проклиная все, засыпаешь. И назавтра — та же картина. Только по воскресеньям дело меняется, но сколько же нужно этих воскресений, боже мой?!

Сейчас, когда я вошел в дух памятника, я преисполнен величайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе за то, что из глубины веков донесла она до нас это чудо. В пустыне веков, где камня на камне не осталось после войн, пожаров и лютого истребления, — стоит этот одинокий ни на что не похожий собор нашей древней славы. Страшно, жутко подходить к нему. Невольно хочется глазу найти в нем знакомые пропорции, золотые сечения наших привычных мировых памятников. Напрасен труд! Нет в нем этих сечений, все в нем полно особой нежной дикости, иной, не нашей мерой измерил его художник. И как трогательно осыпались углы, сидят на них вороны, волки рыщут, а оно стоит — это загадочное здание, не зная равных себе, и будет стоять вовеки, доколе будет жива культура русская.

Есть в классической латыни литые звенящие как металл строки; но что они в сравнении с этими страстными, невероятно разнообразными благородными древнерусскими формулами, которые разом западают в душу и навсегда остаются в ней! Читаешь это слово и думаешь: «Какое счастье, боже мой, быть русским человеком!»

---

Мой перевод — дело, конечно, спорное, так как, будучи рифмованным и тоническим, он не может быть точным и, конечно, внесет некоторую модернизацию. Здесь чутье и мера должны сыграть свою роль. Я счел бы задачу решенной, если бы привнесен-

ные мной черты не противоречили общему стилю, а современный стих звучал достаточно крепко, без «переводной» вялости и жвачки.

Это сделать тяжело.

Все, мой дорогой.

Прошу тебя сообщить мне в двух словах — что нового принес для «Слова» юбилейный 1938 год? Какие новые переводы (я знаю Новикова, Шторма), есть ли рифмованные? Жду писем.

Ираклию я послал письмо.

Привет от Кати всем вам.

Твой *Н. Заболоцкий*.

Н. Л. СТЕПАНОВУ

4 июля 1945. <Караганда.>

Итак, мой дорогой Николай Леонидович, уже кончился июнь и июль на полном ходу. Утешительные твои сообщения очень мне напоминают те, которые я имел в 40—41 годах и которые так жестоко обманули меня. По опыту знаю, что если дело затягивается, то и ждать добра не приходится. Очевидно, никто из крупных людей не хочет серьезно взяться за это дело и мой злой рок продолжает тяготеть надо мной. Одного жаль: годы уходят, уходит искусство.

Я должен сообщить тебе, что мой перевод «Слова о полку Игореве» в основном готов.

Моей первой целью было: дать полноценную поэму, которая, сохраняя в себе всю силу подлинника, звучала как поэма сегодняшнего дня — без всяких скидок, предоставляемых переводу. И часто, читая самому себе свою поэму, я мысленно говорю вам, мои друзья: «Дайте мне на пару часов Колонный зал, и я покажу вам, как может сегодня звучать «Слово о полку Игореве»!»

Вторая моя цель была: как можно меньше отступлений от оригинала. Я сделал все, что было в моих силах, поскольку это можно было сделать для тонического рифмованного стиха. Сейчас еще есть ряд недоработанных мест, но они доработаются к концу лета.

Итак — я пошел по наиболее скомпрометированному пути: по пути Минаева-отца и Гербеля, и пошел по этому пути потому, что, несмотря на их неудачи, все же их путь был правилен. Надо было решить основной вопрос: стихи это или не стихи? Для XII века это было тем, что для нас является стихами. Это несомненно. Как бы художественно ни обрабатывался подстрочник, какова бы ни была частная удача этого, несколько мягковатого и расплывчатого Новикова, — все же его перевод не звучит для нас стихами. Наша поэзия целиком подчинена тоническому принципу, и никакая разрушительная работа поэтов нашего века не могла поколебать тоническую стихию. Может быть, она и умрет когда-

нибудь (когда изменятся основы прекрасного в музыке), но сейчас она полна сил, имеет все возможности развиваться далее и будет жить долго. Поэтому я не колеблясь встал на точку зрения целесообразности тонического перевода, а встав на этот путь, без колебания принял и рифму, так как точки над *i* необходимы. И не раскаиваюсь. Работа была очень трудной, но я считаю в основном ее удачной.

У меня есть некоторая надежда получить здесь отпуск на две недели или на месяц. Тогда я с новыми силами наброшусь на работу и, может быть, в конце лета или осенью пошлю ее тебе. Пусть эта моя работа будет последним моим печальным приветом вам, мои друзья, потому что разрываться надвое я больше не буду, не хватит сил. Ибо нужно сохранить жизнь семье, а моя литература больше не в силах приносить пользу, наоборот — она требует дополнительной работы и расходов.

Но я люблю «Слово» и, ложась спать, вижу его во сне. Я рад, что на 43-м году жизни мне удалось пережить его в себе самом, и я с нетерпением ожидаю отпуска, чтобы еще раз как можно глубже погрузиться в него — на прощание.

Я в курсе всех переводов, единственно, чего мне не хватает, — некоторых книг по лингвистике вопроса. У меня несколько своих чтений, и я надеюсь проделать над текстом еще один опыт, от которого ожидаю возможных неожиданностей.

---

Мы живем в каком-то смутном ожидании. Я весь погружен в работу. Дети и Катя здоровы. Пугает зима, к которой мы совсем не готовы. Не знаю уж, как все это будет дальше.

До свидания, мой дорогой, жду от тебя вестей и шлю привет твоей семье.

*Н. Заболоцкий.*

Е. В. ЗАБОЛОЦКОЙ

*28 апреля 1946. Москва.*

Милая моя Катя! Вчера мне сообщили, что документы о проживании нашем в Москве подписаны и в Караганду отправлена телеграмма о выдаче тебе и детям пропуска на въезд в Москву. Что касается меня, то сейчас я буду заниматься переменной своих документов на московские и пропиской здесь. Это уже технические дела, — самое главное сделано все. В членах Союза я также восстановлен. Нечего и говорить, что я вполне доволен; не зря прошло то время, которое я здесь провел.

Так как мои издательские дела совсем еще не оформлены и я по-настоящему еще и не занимался ими, то мне приходится делать долги. На днях тебе отправлена телеграфом вторая тыся-

ча рублей. К середине мая вышлю деньги на выезд, так как самому мне, видимо, не придется ехать за вами. От Союза будет телеграмма в Карагандинский обком партии, и вам устроят проезд в прямом вагоне. Постепенно подготовляйся к дороге. После Никитиных экзаменов надо ехать.

Через несколько дней Особсаранстрою будет дана телеграмма об увольнении — от меня и Тихонова.

В отношении Уржума, как видно, — придется обождать, так как мы не справимся. Вы проедете сразу в Переделкино.

Чечельницких я встретить не мог. Пока что не дозвоился до Алескинер (их знакомых), чтобы встретиться с ними здесь. Дозвонюсь.

Не забудь взять на детей документы из школ и табеля.

Здесь весна, совсем тепло.

Мне предстоит еще много беготни, и, вероятно, будут еще временные неполадки. Но это уже пустяки, и они уладятся, так как разрешение теперь есть.

Поздравляю тебя и детей с майскими праздниками и целую.

Здесь меня знают, любят и ценят. Мне в ожидании пришлось вести очень сложную жизнь, но мне помогали друзья, и теперь очень все хорошо. В частности, М. К. Тихонова, которая очень любит и ценит тебя, сделала для нас немало. Меня знают и любят самые неожиданные люди, и это очень приятно. Действительно, это не преувеличивали, когда писали нам в письмах, что меня знают. Ну, обо всем этом поговорим потом. Как я рад, Катя, что скоро тебе будет полегче, что ты успокоишься за меня, что мы будем лучше жить! Конечно, не все сразу наладится, но все будет постепенно...

Одновременно посылаю письма Стояновскому и П. М. Цишевскому с просьбой помогать тебе при переезде...

Мамочка, будь здорова, начинай собираться понемногу. Телеграфируй, получила ли деньги. Теперь уже не обращай больше внимания на мелкие неполадки: скоро жизнь переменится.

Крепко целую тебя и детей. И Никита и Наташа радуют меня своими хорошими отметками.

Твой Коля.

И. Н. ТОМАШЕВСКОЙ

8 августа 1946. Переделкино.

Уважаемая Ирина Николаевна!

Вы, вероятно, решили, что я не исполню своего обещания и не напишу Вам. Действительно, переписывать свои стихи — занятие для меня не из приятных, тем более что я не нахожу в них того, что хотел бы сказать в стихах. Это обстоятельство задержало письмо. Но стихи кое-как перепечатали на машинке — не



посетуйте за это на меня и простите меня за лень и невнимательность.

Я, однако, довольно порядочно работал. Перевел много стихов с грузинского и узбекского — для антологий. Перевел поэму Гидаша с венгерского; она будет в «Огоньке». Закончил работу над «Словом». Перевод будет полностью напечатан в десятой книжке «Октября».

Своих стихов не пишу и не знаю, как их нужно писать.

В седьмой книжке «Октября» будет напечатана поэма Семынина «Клад». Прошу Вас обратить на нее внимание. Для меня было большой радостью прочесть эту вещь, несмотря на многое, что в ней для меня чуждо и элементарно. Может быть, мы получили настоящего поэта.

Моя семья живет благополучно. Ек. Вас. сегодня возвратилась из Ленинграда, где пробыла 2 недели, устраивая дела с дачей и пр. Очень жаль, что она не застала ни Вас, ни Бориса Викторовича.

У нас много забот в связи с подготовкой к зиме. Много еще неполадок хозяйственных и домашних. Но т. к. мои заработки начинают улучшаться, то мы надеемся все понемногу устроить. Дети здоровы и после Караганды чувствуют себя хорошо. Питаются молоком и витаминами и готовятся к школе.

О Вас ничего не слышно, а было бы приятно знать, как Вы устроились в Гурзуфе и довольны ли этим летом. Прошу Вас, когда будет свободное время, написать нам по адресу Н. Л. Степанова: Москва, Моховая, 6, кв. 5. Ек. Вас. шлет Вам свой сердечный привет. Наш общий привет просим передать Борису Викторовичу, Николаю Борисовичу и всем Вашим родственникам.

Переделкино мне очень по душе. Здесь хорошо работается, и старая московская природа так успокаивает душу. В город я стараюсь ездить как можно реже, что, впрочем, не всегда удается.

Ваш *Н. Заболоцкий*.

С. И. ЧИКОВАНИ

4 февраля 1947. <Переделкино.>

Дорогой Симон!

Поздравляю тебя с выдвижением в кандидаты Верховного Совета и прошу принять поздравления от Екатерины Васильевны и всей моей семьи. Нам очень приятно знать, что твоя литературная и общественная деятельность оценена по заслугам, доказательством чему служит и твоя прошлогодняя награда, и это выдвижение. Желаем тебе хорошей работы и плодотворной деятельности.

Прочел твою «Песнь о Д. Гурамишвили» в переводе Державина. Это, несомненно, одна из основных и лучших твоих вещей, свидетельствующая о непрерывном росте твоего таланта — очень своеобразного, выразительного и мне лично весьма близкого и привлекательного. Не сомневаюсь, что среди прочих кандидатур она в первую очередь достойна Сталинской премии.

Дорогой Симон, хотя я и знаю, что в связи с выборной кампанией ты чрезвычайно занят, однако я не могу не напомнить тебе о высылке подстрочников твоих стихов — согласно нашей договоренности. Я жду их, причем желательно иметь и грузинский текст.

Я продолжаю увлекаться мыслью о создании большой книги грузинских переводов. В частности — один из основных разделов этой книги, посвященный творчеству Гр. Орбелиани, меня сейчас занимает более всего. Я сделал ряд новых переводов — «К Ярали», «Мухамбази» (к Саломэ), «К Саломэ от Бежана-портного» — и должен уверить тебя, что они у меня звучат совсем не так, как в «Грузинских Романтиках». Вообще, мне кажется, что я понял Орбелиани, и его поэтический метод представляется мне отчетливо.

В связи с этим у меня возникла естественная мысль — сделать *всего Орбелиани*, тем более что почти все *основные* его вещи у меня уже переведены, а наследство его по объему не очень велико. Если принять во внимание, что книжечка переводов Р. Ивнева, изданная «Зарей Востока», весьма слаба, а переводы случайных авторов в «Груз. Романтиках» совершенно не передают Орбелиани, мне кажется, что издать полного Орбелиани в моих переводах — дело неплохое и своевременное. Тогда русский читатель, наряду с Бараташвили в переводе Пастернака, имел бы еще одного романтика, переведенного не случайно, но последовательно и с любовью. Эта моя идея встретила весьма сочувственное отношение со стороны Гольцева и Рябиной, и по всей видимости я смогу издать Орбелиани здесь, в Гослитиздате, отдельной книжкой и надеюсь, что это не будет неприятно моим грузинским друзьям. Пока же я работаю без договора, платонически, но усердно. Конечно, этим самым я двигаю и большую книгу переводов для «Зари Востока», если это дело у вас не заглохло.

Но я должен сказать, дорогой Симон, что так работать мне трудно, если принять во внимание мою неустроенную жизнь. Несмотря на то что перевод «Слова» имеет хорошие отзывы, что стихи мои идут в «Новом мире» и пр.— материально это меня мало устраивает и, если я не завяжу деловых связей с вами, мне будет трудно вести дело так, как надо. Что мне нужно? Во-1-х, мне нужно иметь договор с «Зарей Востока» на книгу переводов на 7 тыс. строк и получить 25 % гонорара. Во-2-х, мне нужно иметь полную уверенность в том, что летняя поездка моя к вам состоится, как мы говорили. Если это будет сделано, моя работа пойдет бесперебойно и к осени книга будет сдана издательству. Кстати говоря, Гольцев проектирует бригадную поездку в Грузию

в апреле, при моем участии, о чем он тебе писал. Если эта поездка состоится, то я и сам смогу на месте провертывать с твоей помощью эти дела; но предварительно я прошу тебя принять меры к скорейшему заключению договора, т. к. деньги нужны сейчас.

У меня все еще продолжают болеть дети. Никита ходит в школу, но у Наташи ползучая пневмония, и возможно, что ее придется класть в больницу. У Андрониковых и Степановых все благополучно. Особых новостей нет.

Прошу передать наш сердечный привет Марии Николаевне, с помощью которой надеюсь получить от тебя ответ.

Будь здоров, привет знакомым.

Твой *Н. Заболоцкий*.

Пишите мне по адресу Н. Л. Степанова: Москва, Моховая, 6, кв. 5.

С. И. ЧИКОВАНИ

*26 марта 1947. Москва.*

Дорогой Симон!

Вчера мне передали твое письмо и подстрочники. Оба стихотворения очень хороши, и я приложу все усилия к тому, чтобы перевести их как можно лучше. Очень благодарен тебе за то доверие, которое ты мне оказываешь, поручая перевод таких прекрасных стихов. Я надеюсь прибыть в Тбилиси в начале мая и привезти с собой готовые переводы.

Вся эта зима у меня ушла на перевод стихотворений Григола Орбелиани, подстрочники которого у меня были почти все, а недостающая небольшая часть делается в Москве по моему заказу. Также у меня есть и грузинское издание Гр. Орбелиани 1935 года, в котором я начал разбираться с помощью грузин-специалистов. Сейчас моя работа приближается к концу и имеет здесь успех. Я отдавался этой работе всей душой и делал переводы с той же старательностью, как собственные стихи.

К концу апреля, т. е. к нашей поездке в Грузию, у меня будет готово все собрание Орбелиани полностью (около 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> тыс. строк), и я привезу его с собой, чтобы в Грузии окончательно убедиться в правильности моего метода перевода и почитать стихи вам. В начале апреля я подписываю договор на Орбелиани в Гослитиздате, и мы издадим эту книгу здесь, в центре, чтобы она полностью дошла до русского читателя.

Дублировать это издание в Грузии мне не представляется целесообразным, но я хотел бы, чтобы оно вошло в общую книгу моих переводов в «Заре Востока», общий листаж которой будет не менее 15 листов, а может быть, и несколько больше. Таким образом, в «Заре Востока» я хотел бы иметь договор на одну книгу

(а не на две, как ты пишешь), но эта книга будет довольно большая, и примерный ее проспект таков:

Народная поэзия . . . . .	1000 стих. строк
Руставели . . . . .	2800 » »
Гр. Орбелиани . . . . .	2200 » »
Илья Чавчавадзе . . . . .	800 » »
Важа Пшавела . . . . .	1200 » »
Итого	8000 стих. стр.

Из этого числа я привезу с собой в готовом виде 6000 строк; оставшиеся 2000 или около того будут сделаны летом в Грузии специально для этой книги. Надеюсь, что в таком составе книга будет достаточно полной и значительной.

Кроме Орбелиани, за это время я сделал перевод 4 стихотворений Ильи Чавчавадзе, в том числе «Горам Кварели» и «Базалетское озеро». Эти переводы будут напечатаны в «Дружбе народов» — к юбилею Чавчавадзе; а также перевел 4 стихотворения ваших молодых товарищей Нонешвили и Маргиани, вечер которых мы провели здесь в ССП.

Мои планы на весну и лето такие. На май месяц в составе бригады я приеду в Тбилиси, но май пройдет в делах, вечерах и разъездах, и писать едва ли придется. Затем я вернусь в Москву за семьей, и, если это будет возможно, в середине июня мы месяца на два снова приедем к вам, ориентируясь на Сагурамо, чтобы семья отдохнула, а я поработал над окончанием книги. Обо всех этих делах мы еще поговорим в мае месяце.

Вместе с этим письмом я посылаю письмо Бесо Жгенти и прошу тебя передать его по адресу. В нем я даю проспект книги и пр. с тем расчетом, чтобы Бесо имел о книге более ясное представление и знал, как нужно составить договор. Меня, конечно, весьма устроило бы, если бы он в апреле месяце сумел заключить со мной этот договор и заплатить часть денег. Вот все, что я тебе хотел сообщить. О прочих вещах мы будем иметь возможность говорить с тобою в Тбилиси. Передай наш общий сердечный привет Марии Николаевне. Екатерина Васильевна мечтает о Грузии, где она надеется еще ближе познакомиться с вами, т. к. питает к вам обоим великую симпатию. Дети мои здоровы и заняты своей школой.

Будьте здоровы. Жму руки.

Твой *Н. Заболоцкий*.

В. А. ДЕСНИЦКОМУ

14 дек. 1947. Москва.

Дорогой Василий Алексеевич!

Позвольте Вас от всей души поздравить с приближающимся Вашим юбилеем и пожелать Вам здоровья и долгих дней неуго-

мимой Вашей работы. Мне хочется, чтобы это мое поздравление было предварительным, т. к. к 30 января я постараюсь приехать в Ленинград, с тем чтобы обнять Вас и поздравить Вас по-настоящему. Сколько раз за эти годы мы с Катей вспоминали Вас как отца родного и вместе с этим вспоминали нашу молодость, и Герценовский институт, и наш милый Ленинград, с которым так много связано в нашей жизни! Я очень хорошо помню, как в августе 21 года, когда на стенах города были расклеены афиши о траурных вечерах по поводу смерти Блока, Вы впервые экзаменовали меня, принимая в институт; как я безбожно пугал Пугачева со Стенькой Разиным, но зато назубок знал символистов вплоть до Эллиса и как Вы тогда мне сказали, что в голове у меня порядочная каша и что если и есть в ней что-нибудь порядочное, — то это безусловное желание учиться. В сущности говоря, тогда решалась судьба этого вятского паренка; эту судьбу решали Вы, и Вы решили ее человеколюбиво и правильно. А в институтские годы сколько раз Вы охраняли меня, когда как сын агронома я подлежал чистке и исключению! Всегда, вплоть до последних лет моего отсутствия, я чувствовал Вашу внимательную и направляющую руку, и в эти дни Вашего праздника мне хочется выразить Вам свою человеческую, душевную признательность не пышным языком официальных поздравлений, но простыми и искренними словами, полными любви и благодарности.

В редакцию «Ученых записок института», для тома, посвященного Вам, я послал свое стихотворение, но т. к. оно предназначено для печати и в нем неуместно говорить о вещах узколичных, то и звучит оно несколько общо и условно; надеюсь, Вы не посетуете на меня за это.

Два слова о себе. Жизнь моя все еще не может войти в нормальную колею после всех бед, испытанных мною. Ютимся под Москвой по чужим углам; много занимаюсь переводом грузинских классиков; немного печатаюсь в «Новом мире»; в «Советском писателе» принята к изданию книжка стихов, которая, надо думать, к весне выйдет.

Пишу трудно, с напряжением; многое в своих стихах самому не нравится; с годами утратил былую детскую самоуверенность, но, вероятно, немножко научился присматриваться к людям и стал любить их больше, чем раньше.

Милый Василий Алексеевич, крепко жму Вашу руку и обнимаю Вас. Катя едет сегодня в Ленинград; она передаст Вам это письмо.

На всякий случай, если Вам не попадался на глаза мой перевод «Слова о полку Игореве», посылаю Вам оттиск его из журнала. Эта работа стоила мне больших хлопот, но, кажется, запоздала и не пришлось ко времени. Будьте здоровы.

*Ваш Н. Заболоцкий.*

Москва, 1-й Бабьегородский пер., д. 12, кв. 48.

14 дек. 1947. Москва.

Милые друзья Евгений Львович и Катерина Ивановна!

И обнимаю Вас, и целую Вас, и куда Вы девались, и почему о Вас ничего не слышно? И что нам теперь делать, если Вы нас больше не любите, и куда нам теперь деваться, если Вы нас больше не уважаете? И с кем я теперь выпью свою горькую рюмочку, когда нет около меня милого друга Женички, когда не сидит супротив меня милый друг Катенька? А пойду-ка я, старый сивый черт, во темный лес, а кликну-ка я, старый сивый черт, зычным голосом: — Вы идите ко мне, звери лютые, звери лютые членистоногие, членистоногие да двоякодышащие, да поглядите-ка вы, звери, в ленинградскую сторонушку, да заешьте-ка вы, звери, милого друга Женичку, милого друга Женичку со его любезной Катенькой!

Тот Женька-плут  
Умком востёр,  
Умком востёр  
Да блудить мастёр!

Все с актерками Женька путается,  
Со скоморохами Женька потешается,  
Со гудошниками Женька водку пьет,  
Водку пьет да в долони бьет!

А уж время ему, старому мерину,  
От той бы забавушки очухаться,  
Очухаться, да раскумекаться,  
Да сказать ему, Женьке, таково слово:  
— Пойду-ка я, Женька, старый плут,  
Старый плут, горемычный сын,  
Во почтовое да отделение,  
Во советское наше заведение!  
Да возьму-ка я во резвы рученьки  
Золотое перышко гусиное,  
Да напишу-ка, Женька, писулечку  
Своему другу Николаю Алексеевичу  
Да тому ли господину Заболоцкому!

Господин-то Заболоцкий во палатах, чать, сидит,  
Во палатах, чать, сидит да не ест, не пьет,  
Обо мне, чать, Женьке, думу думает,  
Бородой трясет да сокрушается.  
А подам ему я, Женька, свою весточку,  
Уж как вскочит он на резвы ноженьки  
Да зачнет он тую весточку прочитывать,  
Резвой ноженькой притопывать, да приговаривать:

— Знать, и впрямь я, сударик, Заболоцкий сын,  
Не дубовая колода, не еловый сук,  
Коли Женичка-дружок ко мне пописывает,  
Коли Катенька сахарную ручку прикладывает.  
Да! Жди от вас! Напишите, когда рак свистнет.

Целую Вас, беспутные друзья мои.

Ваш *Н. Заболоцкий*.

С. И. ЧИКОВАНИ

*12 марта 1949. Москва.*

Дорогой Симон!

Посылаю тебе для ознакомления мой перевод «Этери» Важа Пшавела. Когда будет свободное время, просмотри его, пожалуйста, и сообщи мне свое мнение. Я с большой любовью делал эту вещь, заботясь о том, чтобы по-русски она звучала во весь голос, и, признаюсь, доволен ею, особенно некоторыми частями.

Это моя первая работа для будущей книги Важа Пшавела. Теперь я заново делаю «Алуду Кетелаури» сплошь рифмованным ямбом. Дальнейшая работа тормозится за неимением подстрочников. В первую голову мне нужны: «Гость и хозяин» и «Бахтриони». Бесо обещал выслать мне в феврале, и опять не послал. Нельзя ли немного их подогнать? Полгода люди обещают, а дело ни с места. Если тебе не трудно, проверь, пожалуйста, включена ли книга в изд. план 1950 года, и выясни, когда может быть со мной заключен договор? Как ты видишь, я свои обязательства выполняю, и у меня работа на ходу, но меня нужно подкрепить материально.

Бесо обещал в начале марта выслать 40% гонорара за Руставели, но не шлет. А деньги мне сейчас нужны чрезвычайно, и я очень тебя прошу поторопить его с этим делом.

Твоя книга в «Советском писателе» ушла в производство. Переводы стихов в «Огоньке» уже набраны; обещают пустить в одном из ближайших номеров.

Я очень увлечен Важа Пшавела и надеюсь в течение года, если вы меня поддержите, сделать хорошую книгу. Я ей сейчас отдаю все лучшие свои силы и смотрю на нее, как на дело своей писательской чести. У меня была мысль написать по этому поводу Р. С. Шадури с просьбой поддержать меня в этой большой работе, рассчитанной на 2—3 года. Если ты это находишь целесообразным, сообщи, и я напишу. В случае же, если он уже в курсе дела, то я всецело полагаюсь на тебя.

Было бы очень желательно повысить темпы моей работы, но это зависит уже от вас.

Дорогой Симон, извини за мои постоянные просьбы; я прибегаю к ним только потому, что ты принимаешь близко к сердцу мою переводческую работу.

Возможно, что летом я опять приеду в Сагурамо, чтобы семья отдохнула, а я поработал над Важа Пшавела в контакте с вами.

Передай мой сердечный привет Марике и всем твоим домашним. Катя вам кланяется; она часто вспоминает о Грузии, которую успела полюбить по-настоящему.

Твой *Н. Заболоцкий*.

С. И. ЧИКОВАНИ

6 июня 1953 г. <Москва.>

Дорогой Симон!

Как мне ни тяжело написать тебе это письмо, но его написать надо. Много раз в течение этих двух месяцев я принимался за перевод твоих стихов, но ничего путного у меня не получилось и не получается до сих пор. Получается нечто столь искусственное, что я не имею права выдавать за твои стихи и под чем я не могу ставить свою подпись переводчика. И сам я не могу хорошо понять — в чем дело. И стихи мне за малым исключением нравятся, и сам я как будто в нормальной рабочей форме, однако — дело ни с места. По всей видимости, дело в том, что эти стихи не в плане моих последних работ, о которых я постоянно думаю, а также потому, что я не знаю Польши и не могу дополнить подстрочник своими конкретными представлениями. Так или иначе, но переломить себя я не могу и волей-неволей не могу выполнить своего обещания. Мне вдвойне тяжело, что я в какой-то степени подвожу именно *тебя*, а не кого-нибудь другого, тебя, который так мне близок, как человек, и дорог, как поэт. Но будучи поэтом, ты только и сможешь понять меня. Вероятно, что-нибудь подобное и у тебя в жизни бывало.

Поэтому, дорогой Симон, я и пишу тебе это письмо и прошу передать подстрочники кому-нибудь другому. Может быть, их сделают Тарковский или Межиров — они оба хорошие переводчики.

У меня был творческий вечер, связанный с 50-летием, прошел хорошо, читал свои стихи, и читал много, и они были очень хорошо встречены — правда, народу было немного — человек 40—50. Сам же я занимаюсь русскими былинами. Что получится из этой затеи, сказать еще трудно.

Семья живет нормально, Никита уехал на практику, Наташа кончает экзамены. Предполагаем поехать на Рижское взморье. Когда мы увидимся с тобой? Я в Грузию пока не собираюсь. Ждали тебя в Москву в мае — не приехал. Сердечный привет Ма-



рике, Никуше и всем вашим. Будь здоров, дорогой Симон; извини, что так бессовестно, хотя и не преднамеренно, я подвел тебя.

*Н. Заболоцкий.*

А. К. КРУТЕЦКОМУ

2 января 1954 г. <Москва.>

Дорогой Алексей Константинович!

Ваше второе письмо в Москве меня не застало: я уезжал в Грузию и возвратился домой только к Новому году. То, что Вы мне пишете, очень понятно и дорого мне, хорошо, что у нас есть такие семьи, как Ваша, и хотелось бы, чтобы таких семей было больше и больше. Я буду рад получить от Вас письмо о том, как отнеслась к Важа Пшавела и Ваша семья, и о том, какое мнение составили Вы об этом поэте, прочитав всю книгу. Мне кажется, этот писатель заслуживает нашего внимания по-настоящему. Вы говорите, что в этой книге присутствую я,— правда Ваша, но правда и то, что у меня с этим поэтом много точек соприкосновения: та часть, которой я присутствую в этой книге, входит в поэзию Важа Пшавела не по моему произволу, но потому что она — и его часть.

Что касается стихов Вашего сына, то мнение мое таково. Хотя не чувствуется в них ни профессионального опыта, ни опыта длительной работы, которая сама по себе способна сложность привести к простоте, неясность — к ясности, внешний эффект заменить сдержанностью формы, хотя и нет еще всего этого в стихах, но в них есть другое: хороший человеческий росток поэтической мысли, и это главное. Взор любимой во много раз милей любого отраженного света, будь он самым величественным и эффектным с виду,— вот эта мысль, и это есть самое хорошее из того, что заключено в этом небольшом стихотворении. Особыми художественными достижениями оно не отличается, есть и ошибки фактические. Ведь луна блещет отраженным светом солнца, а не светом «над тобою проплывающих планет».

Что можно сказать молодому поэту? Много ли людей пишущих, печатающих дали людям действительно ценное? Единицы. Но этих единиц не было бы, если бы не существовало тысяч пишущих. Поэтому я желаю Вашему сыну быть верным самому себе, а остальное покажет время. Качество человека не по его специальности измеряется. А с другой стороны: именно из таких семей, как Ваша, выходят писатели и ученые. Так было и будет.

Поздравляю Вас, дорогой Алексей Константинович, с Новым годом, желаю здоровья и успехов. Передайте мои новогодние поздравления всей Вашей семье, которой я заочно люблю.

Крепко жму Вашу руку и жду писем.

*Ваш Н. Заболоцкий.*

19 июля 1955 г. Москва.

Дорогой Симон, я получил твое письмецо относительно статьи о Гурамшвили. Что-нибудь пришлю. Но сегодня мне сказали, что празднование юбилея откладывается на два месяца. Правда ли это? Если это правда, то, вероятно, и ваш юбилейный номер тоже будет отложен?

Я нынче на даче под Москвой, где работаю и понемногуправляюсь. Все еще не могу поправиться как следует, чему, впрочем, вредит работа. Работаю больше, чем следует. А без работы мне скучно.

Дача у нас в 40 км. от Москвы, удобная. Если бы ты с Марикой задумали к нам приехать — для Вас была бы отдельная комната и мы были бы рады Вам.

Как Вы живете и что нового у Вас? М. б., в самом деле соберетесь в Москву? Телеграфируйте нам!

Наш адрес теперь пишется по-новому:

Москва, 7, Хорошевское шоссе, д. 2/1, корпус 3, квартира 25. Телефон тот же.

Марике сердечный привет от всех нас, а также Нике и всем друзьям.

*Н. Заболоцкий.*

С. И. ЧИКОВАНИ

30 августа 1955. <Подлипки.>

Дорогой Симон!

Я стал хуже себя чувствовать, и поэтому пришлось поехать в санаторий до 25 сентября. Очень жалею, что так получилось; без меня тебе будет трудно договариваться о Руставели.

Дело обстоит так. Рукопись я сдал в Гослитиздат. [...] Алекс. Петр. Рябинина знает, что мы договорились с тобой о редакции, и ждет, что ты зайдешь к ней, чтобы оформить это дело и договориться о частностях. Самое главное — надо решить, где мы будем работать. Я пока ехать в Грузию не могу. Ты, очевидно, много времени провести в Москве со мною тоже не сможешь. Может быть, тебе сейчас лучше взять из Гослитиздата мою рукопись с собою, дома, в Грузии, сличить ее с оригиналом, сделать свои пометки и замечания, а затем, когда у тебя будет время (через месяц-два), приехать в Москву и поработать здесь со мной. В таком случае тебе нужно договориться с Рябининой относительно твоей командировки в Москву и вытекающих отсюда обстоятельств.

Было бы очень приятно, если бы ты с Катей навестили меня в Подлипках, чтобы договориться лично.

Моя рукопись вполне рабочая: там надо еще порядочно поработать, так как есть много неточностей перевода. Но самое сложное заключается в том, что может врать подстрочник — и вот тут-то я без твоей помощи бессилён.

Постарайся заехать в Подлипки и, во всяком случае, держи меня в курсе дела.

Твой Н. Заболоцкий.

А. Я. СЕРГЕЕВУ

16 февраля 1956. <Москва.>

Товарищ Сергеев, если я не ошибаюсь, Вы — поэт одаренный и интересный; об этом говорят тут и там прорывающиеся куски истинной поэзии. Но Вы еще едва ли мастер, так как сильно грешите и в части языка, и в образе и композиции. Конечно, во всех этих делах нет и быть не может раз навсегда установленных правил и рецептов, однако, с точки зрения личного восприятия, об этом говорить можно, а Вы, по всей видимости, этого от меня и хотите.

*Язык неточен: дед подвигался в пчелином чаду; испытывал срок (чего срок?); застывшею жидкостью капнув (ну разве же можно капать застывшей жидкостью?); стелилась на нем (стлалась); белесая ласковость — почему белесая, дело идет о бабьем лете, когда все горит и сияет; бродячим вином (бродячими бывают, напр., музыканты, а вино м. б. бродящим, если уж это так надо); пропадали в ночь (в ночь можно уходить, а пропадать — в ночи) и пр.*

*Некоторые образы неточны, неясны. Можно ли нести кувшин на плечах, если он каким-то образом нацеплен на лопату? Много неясностей в стихотворении «Строфы», хотя это стихотворение из присланных наиболее интересное.*

По временам чувствуется стремление к нарочитости. Советую Вам сравнить старые книги Пастернака с его военными стихами и послевоенными: «На ранних поездках», «Земной простор». Последние стихи — это, конечно, лучшее из всего, что он написал; пропала нарочитость, а ведь Пастернак остался, — подумайте об этом, это пример поучительный.

Мне нравятся целые куски из стихотворения «Строфы». Элементы образа поддерживаны элементами звучания. Это хорошо! Но в целом стихотворение длинно и недостаточно ясно. Я бы прояснил логические линии происшествий, и, вероятно, стихотворение от этого выиграло бы. Ведь даже «Марбург» у Пастернака «понятнее» Вашего стихотворения! Хороша первая строчка в стихотворении «Мед». Какое хорошее начало! Редко стихи так хорошо начинаются. Однако в самом стихотворении много тумана и небрежностей.

Отчего Вы так небрежно рифмуете? (Ноготь — колченогий.)

Стихотворение «Пальцы ног» я не понял. Не знаю, о чем Вы тут написали.

Повторяю: все это мои личные впечатления, ни для кого не обязательные, в том числе и для Вас. Но кажется, что Вам надо побольше работать и одновременно двигаться в сторону живой жизни. Желаю удачи!

*Н. Заболоцкий.*

Г. Г. ТАГОСОВУ

*11 мая 1956. <Москва.>*

Дорогой Гурген Георгиевич!

Сердечно рад был добрым вестям о Вас; Ваше письмо снова обрадовало меня. Множество раз за эти годы вспоминал Вас,— разве могло быть иначе! Желаю Вам хорошего отдыха, сердечно-го успокоения и долгих дней — Вам и Вашей жене! Расскажу немало о себе. В Москве я с 1946 года. Семья моя чудесным образом уцелела и осталась в живых после войны, и я соединился с нею еще до возвращения в Москву. Вы удивительно запомнили имена моих детей! Теперь они уже взрослые люди. Никита — аспирант вуза, Наташа — студентка 2 курса.

Живем в Москве, в маленькой и тесной, но отдельной квартирке; занимаюсь главным образом переводами,— большими благами не пользуюсь, но и нужды нет, и в семье достаток. Будете в Москве, не забудьте проведать,— познакомлю Вас с семьей, посидим — побеседуем, вспомним, какую кашку мы с Вами хлебали-расхлебывали...

Полтора года назад хватил меня инфаркт, выжить — выжил, но с того времени здоровье идет под уклон. Круг дней близится, видимо, к завершению: ничто бесследно не проходит. Но дети подросли, времена пришли утешительные, так что и со здоровьем расставаться не так страшно.

Я с удовольствием пошлю Вам мои переводные книжки. Оригинальной же книги покуда нет, обещают выпустить в конце года. Тогда и пошлю. Вы напрасно думаете, что я здесь пользуюсь особым успехом: мое имя весьма скромное.

Что касается Ваших стихов, то, по правде говоря, они мне не очень понравились. И дело не в том, что они не профессиональны, что в них много промахов по части размера и прочего — все это можно было бы выправить, но по сути — правка эта дела не исправит. Все дело в том, что Ваши стихи безлики, в них нет творческой индивидуальности, подобных стихов очень много. В этом их основной грех. Простите, что говорю прямо и откровенно. Я так Вас люблю, что было бы слишком совестно лукавить перед Вами.

Дорогой Гурген Георгиевич! Я крепко надеюсь, что мы с Вами еще встретимся и потолкуем. В надежде на эту встречу шлю Вам самые лучшие пожелания и прошу передать от меня дружеский привет Вашей жене.

Будьте здоровы, дорогой, обнимаю Вас. Книжки пошлю на днях. Пишите мне!

*Н. Заболотский.*

А. К. КРУТЕЦКОМУ

*6 марта 1958 г. <Москва.>*

Дорогой Алексей Константинович!

Спасибо за журнал. Спасибо-то спасибо, а пожурить Вас я должен. Ну как Вам не стыдно, зачем Вы позволили редакции так сокращать Ваш рассказ? Ведь даже неопытному читателю видно, как погуляли по этому рассказу редакторские ножницы! Для чего это Вам нужно было? Что Вы, в самом деле, печатного листа не видели, что ли? Эх, Алексей Константинович, не к лицу Вам это! Я рассердился на Вас и не скажу о рассказе ничего, пока не прочту его целиком.

Что касается статьи обо мне, то она мне понравилась определенно. Там ножницы тоже гуляли. А в результате получилось, что статью писали как бы два человека. Один писал главные предложения, и по ним видишь, что я вроде как бы дурачок. А другой писал придаточные, и по ним выходит, что я чуть ли не гений.

Очень своеобразная статья!

Автору главных предложений я мог бы сказать две вещи. Первое — о «холодке». Стихотворение подобно человеку — у него есть лицо, ум и сердце. Если человек не дикарь и не глупец, его лицо всегда более или менее спокойно. Так же спокойно должно быть и лицо стихотворения. Умный читатель под покровом внешнего спокойствия отлично видит все игралище ума и сердца. Я рассчитываю на умного читателя. Фамильярничать с ним не хочу, т. к. уважаю его.

Второе — о стихах типа «Старая актриса». Тут автор кое в чем прав, безусловно. Но я об этом догадался еще в прошлом году и сделал для себя выводы.

Я смертельно завален работой, потому и не писал Вам давно. Тут издательство «Искусство» под маркой издательства «Заря Востока» выпускает к грузинской декаде двухтомник моих переводов грузинской классики. Горы корректур, которые никому доверять не могу. Около 70 листов. Освобожусь к апрелю.

Что с Вашим сердцем? Я тоже старый сердечник, так как здоровье моего сердца осталось в содовой грязи одного сибирского озера. Два с половиной года назад был инфаркт, теперь мучит грудная жаба. Но я и мое сердце — мы понимаем друг друга. Оно

знает, что пощады ему от меня не будет, а я надеюсь, что его мужицкая порода еще потерпит некоторое время.

Ну, до свидания, Алексей Константинович, крепче держитесь. Привет семье, жду Вашу книгу.

*Н. Заболоцкий.*

Р. С. А ведь слово «раззанавесил» (в рассказе) нехорошо. Царапает.

А. К. КРУТЕЦКОМУ

*15 августа 1958 г. Таруса.*

Дорогой Алексей Константинович!

Поздравляю Вас с выходом в свет Вашей книжки, и дай бог, чтобы вслед за ней появились другие. Как бы то ни было, а выход первой книжки — праздник для автора, знаю по собственному опыту и потому радуюсь за Вас. Книгу я получил с опозданием — она лежала в Москве, я же второй месяц живу на Оке, в старом захолустном городке Таруса, который когда-то даже князей собственных имел и был выжжен монголами. Теперь это захолустье, прекрасные холмы и рощи, великолепная Ока. Здесь жил когда-то Поленов, художники тянутся сюда толпами.

Больше всего понравились мне рассказы: «Капля в море», «Касьян», «Наследство», «В степях Башкирии» (все пять вещей) и «Лицо девочки». Посвящение последнего чудесного рассказа тронуло меня, спасибо Вам.

Ваша сила в пристальном внимании к людям, в мудром доброжелательстве, в любви к ним. Большие писатели прошлого завещали нам эти качества, но боюсь, что мы, современники, многое порастеряли по нашим трудным дорогам и часто пустой декламацией стараемся прикрыть собственную душевную беспомощность. Ваша книга, при всей ее скромности и некоторых очевидных недостатках, показывает Вас как душевного писателя, а это самое важное и дорогое; все прочее в писателе — лишь добавочный, хотя и нужный багаж.

К великому множеству книг, прочитанных мной, подчас умело и любопытно написанных, я никогда не вернусь, а «Каплю», «В степях Башкирии», «Лицо девочки» я перечитаю с охотой, мне с такими вещами легче живется и в себя, и в людей верится больше.

В чем Ваши слабости? В том, что чувствуется, что пишете Вы немного и не целиком погружены в это дело. Зная Вас по письмам, я понимаю, в чем причина, но читатель не вникает в наши обстоятельства, ему безразлично, пишете ли Вы в каморке под лестницей, уставший и изнемогший на работе, или же Вы сидите в бархатном кресле и макаете перо в золотую чернильницу.

В этом жестокая сторона писательского дела. В Вашей манере чувствуется эскизность, и порой думается: дать бы этому писателю время и возможность, он написал бы и глубже, и богаче, и красочнее. И еще маленькое замечание по поводу Ваших рукописных вставок в рассказе «Касьян». Ведь они не нужны, Алексей Константинович! От них веет авторскими обидами, а читателю это ни к чему. <...>

За всем тем я книжкой Вашей доволен. Доволен и желаю новых удач. Хорошо бы Вам проститься с производством, с пружинками, да сесть за стол по-настоящему.

Я усердно поработал летом и кое-что приготовил в печать. Возможно, что осенью буду в Ленинграде и позвоню Вам.

Желаю здоровья и хорошей работы.

Сердечный привет Вашей семье.

*Ваш Н. Заболоцкий.*

## ПРИМЕЧАНИЯ

---

Первые два раздела настоящего издания представляют собой канонический свод произведений Н. А. Заболоцкого, составленный в соответствии с его литературным завещанием и включающий 175 стихотворений и 3 поэмы. По воле поэта итоговое собрание следовало сопроводить следующим примечанием: «Эта рукопись включает в себя полное собрание моих стихотворений и поэм, установленное мной в 1958 году. Все другие стихотворения, когда-либо написанные и напечатанные мной, я считаю или случайными, или неудачными. Включать их в мою книгу не нужно. Тексты настоящей рукописи проверены, исправлены и установлены окончательно; прежде публиковавшиеся варианты многих стихов следует заменять текстами, приведенными здесь».

За пределами заключительного свода остались многие произведения, своими художественными достоинствами демонстрирующие строгость и взыскательность поэта. Нам казалось правомерным выделить их в специальный, третий раздел книги, оговорив, что сам автор в свое собрание их не включил. Такая практика в отношении составления сборников Заболоцкого стала уже обычной. В четвертый раздел входит стихотворное переложение «Слова о полку Игореве» — один из лучших поэтических переводов Заболоцкого. И наконец, последний раздел включает материалы, позволяющие читателю познакомиться с фрагментами биографии Заболоцкого, в том числе его избранные письма.

В основу настоящего сборника положены тексты стихотворений, взятые из фундаментального издания: Заболоцкий Н. Собрание сочинений в трех томах. М., Художественная литература, 1983—1984. К этому же изданию мы отсылаем читателей, которые хотят получить более подробные сведения по истории текстов (место и время первой публикации, варианты и пр.).

Здесь же, в примечаниях к отдельным произведениям, даются лишь краткие историко-литературные сведения и необходимые пояснения.



## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

*Воспоминания* — Воспоминания о Н. Заболоцком. М., Советский писатель, 1984.

СС. с указанием тома — Заболоцкий Н. Собрание сочинений в трех томах. М., Художественная литература, 1983—1984.

*Македонов* — Македонов А. В. Николай Заболоцкий. Жизнь, творчество, метаморфозы. Л., Советский писатель, 1987.

## СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ

1926—1933

Белая ночь (с. 15).— *Невка* — название одного из рукавов в дельте Невы. *Елагин* — Елагинский остров, там же один из островов, на которых расположен Центральный парк культуры и отдыха Ленинграда.

Вечерний бар (с. 16).— Первоначально называлось «Красная Бавария» — по названию пивной в Ленинграде 20-х годов. *Конклав* — собрание кардиналов для избрания римского папы. *Пикадилли* — старое наименование кинотеатра «Аврора» на Невском проспекте по названию улицы в буржуазных кварталах Лондона. *«Зингер»* — фирма швейных машин; это слово было написано на шаровидном окончании купола дома на углу Невского и Канала Грибоедова (ныне — Дом книги).

Часовой (с. 21).— В 1926—1927 гг. Заболоцкий был на военной службе. Стихотворение сочинено на дежурстве у знамени полка (*Воспоминания*, с. 105).

Новый Быт (с. 22).— При подготовке первой публикации в книге «Столбцы» (1929), по настоянию редакции, в 9-й строке от конца слово «Ильич» было заменено на «кулич».

На рынке (с. 23).— В рукописном отделе ИРЛИ хранится черновой автограф с названием «Нищие на рынке» (ф. 172, № 518).

Ивановы (с. 25).— Первоначальное название «Размышления на улице».

Свадьба (с. 26).— Поводом к написанию стихотворения была мешанская свадьба студенческого товарища, который своей женитьбой, по мнению Заболоцкого, изменил их общим идеалам.

Пекарня (с. 29).— *Тиара* — головной убор древних восточных царей и римского папы. *Цимбалы* — музыкальный инструмент.

Рыбная лавка (с. 30).— *Архитриклин* — распорядитель пира в Древнем Риме.

Обводный канал (с. 31).— *Маклак* — торговец подержанными вещами, перекупщик, базарный плут. *Мустанги* — одичавшие лошади прерий, здесь — ломовые лошади.

Бродячие музыканты (с. 32).— В стихотворении изображена реальная картина, типичная для Ленинграда 20-х годов. *С роскошной песней Тамары*.— Имеется в виду популярный романс на стихи Лермонтова. *Где сквозь мансардное окошко...*— По 1926 г. Заболоцкий жил в студенческом общежитии в мансардной комнате.

На лестницах (с. 34).— В разное время называлось «Бессмертие» и «Сад пыток».

Народный Дом (с. 38).— Так называлось в Ленинграде построенное еще до революции клубно-театральное здание с примыкающим к нему парком и увеселительными строениями (карусель, «американские горы», комната кривых зеркал и пр.).

Самовар (с. 40).— Стихотворение написано в связи с предполагаемым участием Заболоцкого в создании студией «Ленфильм» кинокартины, критикующей мещанский быт. Замысел не был осуществлен.

Лицо коня (с. 45) и В жилищах наших (с. 46).— Оба стихотворения написаны в 1926 году, когда Заболоцкий начал писать первые зрелые произведения, признанные им самим и включаемые в проектируемые своды стихотворений. В основном в 1926—1928 гг. создавались стихотворения, посвященные городской теме, но в этих двух четко просматриваются натурфилософские корни творчества тех лет. Начиная с 1929 г. тема взаимоотношения человека и природы станет преобладающей. «В жилищах наших» сначала называлось «Деревья».

Меркнут знаки Зодиака (с. 51).— В письме Заболоцкого к Е. В. Клыкковой от 29 октября 1929 г. есть такие строки: «Первые два куска читать монотонно, как бы в полусне. Следующие два кусочка — о Разуме — с чувством, с подъемом, чуть-чуть риторично. А последний кусочек — опять монотонно-монотонно — тут успокоение, примирение, убаюкивание, засыпание больного человека».

Время (с. 54).— Первоначальные названия — «Мещане», «Пир четырех друзей». В начале 30-х годов часто встречались Л. С. Липавский (1904—1941), Я. С. Друскин (1902—1980), Н. М. Олейников (1898—1937), Д. И. Хармс (1905—1942) и Н. А. Заболоцкий. В их разговорах на литературные, научные и философские темы часто упоминалось время как философская категория. В стихотворении иронически изображена такая встреча. Предположительно: Иракий — Олейников, Тихон — Липавский, Лев — Хармс, Фома — Заболоцкий.

Испытание воли (с. 57).— Прообразами героев этого стихотворения являются друг Заболоцкого, драматург и любитель старинного фарфора Е. Л. Шварц (1896—1958) и сам поэт.

Царица мух (с. 63).— В архиве Заболоцкого сохранилась его записка, относящаяся ко времени написания стихотворения: «Знаменитый Агриппа Ноттингемский царицей мух называет какую-то таинственную муху, величиной с крупного шмеля <...> «Когда вы будете иметь в своем распоряжении одну из таких мух, — пишет Агриппа, — посадите ее в прозрачный ящичек <...> Взяв ящичек с мухой, отправляйтесь в путь, постоянно посматривая и подмечая ее движения. Когда вы будете находиться над местом, содержащим золото или серебро, муха замахает крыльями, и чем ближе вы будете, тем сильнее будут ее движения. Если в недрах сокрыты драгоценные камни, вы заметите содрогания в лапках и усиках. В том же случае, если там находятся лишь неблагородные металлы, как медь, железо, свинец и пр., муха будет ходить спокойно, но чем быстрее, тем ближе к поверхности они находятся». Нечто похожее на это

курьезное предание я слышал и в русских деревнях». *Пентакль* — от пентаграммы, магический знак. *Агриппа Ноттингемский* (или Неттесгеймский) Генрих Корнелий (1486—1535)— немецкий писатель, философ, врач.

**Предостережение** (с. 64).— Музыка в стихотворении отождествляется с эмоциональным началом, которому Заболоцкий противопоставляет мысль как основной элемент поэтического творчества. Однако звучанию своих стихов Заболоцкий придавал большое значение, особенно в поздние годы. В 1957 г. он писал: «Чтобы торжествовала мысль, он воплощает ее в образы. Чтобы работал язык, он извлекает из него всю его музыкальную мощь. Мысль — Образ — Музыка — вот идеальная тройственность, к которой стремится поэт» (СС. 1, с. 591).

**Подводный город** (с. 65).— *На трубе Чимальпопока*.— Чимальпопока (ум. в 1426 г.)— вождь одного из племен ацтеков. В *страшном блеске орихалка...*— по Платону, стены вокруг Акрополя, колонны и стены храма Посейдона были покрыты особой породой— орихалком, которая обладала характерным искристым блеском и ценилась очень высоко.

**Школа Жуков** (с. 66).— Стихотворение отражает натурфилософские взгляды Заболоцкого. См. письмо к К. Э. Циолковскому от 18 января 1932 г. (с. 355).

**Отдыхающие крестьяне** (с. 69).— В стихотворении, так же как в созвучных местах поэмы «Торжество Земледелия», отразились впечатления детства Заболоцкого. Поэт любил слушать вечерние разговоры крестьян и беседы с ними отца-агронома, как говорили в семье, «о вечном и бесконечном». Впрямую о беседах крестьян сказано в стихотворении «Голубиная книга».

**Битва слонов** (с. 71).— «Тема соотношения стихий природы и сознательного начала, вносимого человеком... поворачивается как тема отношения стихийного и сознательного начал в самом человеке. <...> «Слонов Подсознания» Заболоцкий связывает именно с миром стихийной, дочеловеческой жизни — «деревьев» и «волков». «Подсознание» человека сохраняет, закрепляет корни, связывающие его с «неуклюжей красотой» остальной жизни, от которой он оторвался. И Заболоцкий ищет новый синтез подсознания и сознания. <...> В конце концов силы подсознания сознательно используются сознательной поэзией. Это был ответ Заболоцкого и его бывшим друзьям обериутам,— полушутя, но всерьез,— с их попыткой создать алогическую поэзию, которая и была одной из форм «бунта Слонов» (*Македонов*, с. 154—155).

**Торжество Земледелия. Поэма** (с. 72).— В архиве Заболоцкого сохранился листок с точной хронологией написания отдельных глав поэмы: 1 глава — 13 февраля 1929 г.; 2 глава — 3 марта 1929 г.; 3 глава — 17 февраля 1930 г.; 4 глава — 29 сентября 1929 г.; 5 глава — 1—3 марта 1930 г.; 6 глава — март — апрель 1930 г.; 7 глава и пролог — в самом начале 1929 г.

Автокомментарий к поэме содержится в выступлении Заболоцкого на дискуссии по формализму 28 марта 1936 года:

«Я начал писать смело, непохоже на тот средний безрадостный тон поэтического произведения, который к этому времени определился в нашей литературе. В это время я увлекался Хлебниковым, и его строки:

Я вижу конские свободы  
И равноправие коров...—

глубоко поражали меня. Утопическая мысль о раскрепощении животных нравилась мне. Я рассуждал так:

Вместе с социалистической революцией человечество вступает в новую эру существования своего. Вместе с человеком начинается новая жизнь для всей природы, ибо человек неотделим от природы, он есть часть природы, лучшая, передовая ее часть. В борьбе за существование победил он и занял первое место среди своих сородичей — животных. Человек так далеко пошел, что в мыслях стал отделять себя от всей прочей природы, приписал себе божественное начало.

Он мыслил так: я и природа. Я — человек, властелин, с одной стороны; природа, которую я должен себе подчинить, чтобы мне жилось хорошо, — с другой. Такое чувство разобщенности с природой прошло через всю историю человечества и дошло до наших дней, до XX века, века социальных революций и небывалых достижений точных наук. Теперь дело меняется. Приближается время, когда, по слову Энгельса, люди будут не только чувствовать, но и сознавать свое единство с природой, когда делается невозможным бессмысленное и противоестественное представление о какой-то противоположности между духом и материей, человеком и природой, душой и телом.

На другой же день после всемирной революции, — думал я далее, — человечество не может не заметить, что, уничтожив эксплуатацию в самом себе, оно само является эксплуататором всей остальной «живой» и «мертвой» природы. Человечество, проникнутое духом бесклассового общества, не может не ужаснуться, окинув разумным взглядом свою прошлую борьбу с природой, приводившую к вымиранию целых видов животных и задерживающую до сих пор развитие и усовершенствование многих видов. Человек бесклассового общества, который хищническую эксплуатацию заменил всеобщим творческим трудом и плановостью, не может в будущем не распространить этого принципа на свои отношения с поработанной природой. Настанет время, когда человек — эксплуататор природы — превратится в человека — организатора природы» («Лит. Ленинград», 1936, 1 апреля).

Текст поэмы неоднократно перерабатывался.

Безумный волк. *Поэма* (с. 91).— *Ассурбанипал* (668—ок. 633 до н. э.) — воинственный владыка Ассирийской державы. *Гарпагон* — герой комедии Мольера «Скупой», здесь — символ ограниченности, заземленности.

Деревья. *Поэма* (с. 101).— Идейное содержание поэмы помогает раскрыть рукописная страница Заболоцкого, относящаяся ко времени написания: «Примечания к поэме «Деревья». Под первым пунктом приведен отрывок из «Биосферы» академика В. Вернадского об огромных возможностях организмов в накоплении вещества биосферы Земли. Под

вторым — отрывок из «Разговора о душевном мире» украинского философа и поэта Г. С. Сковороды (1722—1794): «Враги твои собственные твои суть мнения, воцарившиеся в сердце твоём и всеминутно оно мучащи, шепотники, клеветники и противники божии, хулящие непрестанно владычное в мире правление и древнейшие законы обновить покушающиеся, сами себя во тьме и согласников своих вечно мучащи, видя, что правление природы во всем не по бесноватым их желаниям, не по омраченнным понятиям, но по высочайшим отца нашего советам вчера в днесь и вовеки свято продолжается. Сии то неразумющие хулят распоряжение кругов небесных, осуждают качество земель, порочат изваяние премудрой божьей десницы в зверях, деревьях, горах, реках и травах; ничем не довольны; по их несчастному и смешному понятию, не надобно в мире ни ночи, ни зими, ни старости, ни труда, ни голоду, ни жажды, ни болезней, а паче всего смерти: к чему она? Ах, бедное наше знание и понятие!»

## СТИХОТВОРЕНИЯ

1932—1958

Я не ищу гармонии в природе (с. 109).— Авторский комментарий к этому программному стихотворению содержится в письме Заболоцкого к Л. К. Чуковской от 20 февраля 1958 г.: «Человек и природа — это единство, и говорить всерьез о каком-то покорении природы может только круглый дуралей и дуалист. Как могу я, человек, покорить природу, если сам я есть не что иное, как ее разум, ее мысль? В нашем быту это выражение «покорение природы» существует лишь как рабочий термин, унаследованный из языка дикарей. Энгельс, Вернадский, Циолковский хорошо разъяснили нам подлинную суть этого явления» (Вопросы литературы, 1979, № 11, с. 223).

Венчание плодами (с. 111).— В первоначальном варианте стихотворения наряду с И. В. Мичуриным (1855—1935) упоминается американский селекционер Бербанк (1849—1926): «Плоды Мичурина и кактусы Бербанка, прозрачные, как солнечная банка...» По Заболоцкому, совершенствование растений человеческим разумом производится во взаимных интересах человека и растений и на основе законов природы, которые хранят в себе сами растения, в стихотворении — плоды. Так трансформировалось поэтом библейское предание, в котором яблоко — плод познания.

Утренняя песня (с. 113).— До 1933 г. называлось «Семейство художника». Стихотворение написано под впечатлением от поездок на Сиверскую под Ленинградом, где одно время жила семья Заболоцкого. В первоначальном варианте стихов 9 и 18 упоминалось имя сына поэта, последняя строка читалась: «Что смерти нет и наша жизнь бессмертна».

Лодейников (с. 113).— В 1932 г. было написано стихотворение «Лодейников», в 1934 и 1936 гг.— «Лодейников в саду». Их Заболоцкий рассматривал как фрагменты будущего цикла. Позднее, в 1947 г., по его замыслу, они должны были войти в поэму о строительстве на Урале, которая не была создана, и оба эти стихотворения с изменениями и добавле-

нием 4-й главки составили окончательный вариант «Людейникова». Размышления автора о бесплодных попытках человеческого разума понять противоречивые начала природы относятся к более раннему периоду, а мысль о разрешении противоречий дикой природы созидательной деятельностью людей — к 1947 г.

Засуха (с. 120).— Это стихотворение (так же как «Ночной сад» и «Все, что было в душе») написано по впечатлениям от жизни в селе Прохоровка на Днепре летом 1936 г. Впервые в поэзии Заболоцкого столь четко ставится вопрос о психологическом взаимодействии человека и природы.

Ночной сад (с. 122).— *Железный Август в длинных сапогах...*— С августа открывался охотничий сезон.

Вчера, о смерти размышляя (с. 123).— Взаимопроникновение всех объектов природы на основе их материального единства, материализация человеческой мысли представлялись Заболоцкому основой «нетленного бытия» человека. Человек же, по его представлениям, есть выразитель разума единого организма природы. В конце жизни поэт писал: «Невидимые глазу величественные здания мысли, которые, подобно деятельным призракам, высятся над жизнью человеческого мира, воодушевляют меня, укрепляют во мне веру в человека» (СС. 1, с. 592).

Горийская симфония (с. 125).— Стихотворение написано по впечатлениям от первой поездки в Грузию осенью 1936 г. См. об этом в письмах к С. И. Чиковани от 14 ноября 1936 г. и к М. П. Бажану от 11 декабря 1936 г., а также в примечаниях к ним (с. 418 и 419).

Седов (с. 127).— В доме поэта А. И. Гитовича Заболоцкий встречался с участником экспедиции Г. Я. Седова (1877—1914) художником Н. В. Пинегиным. Его рассказы и вдохновили Заболоцкого на создание стихотворения.

Голубиная книга (с. 128).— Название стихотворения в первоначальной редакции «Великая книга». Поводом к его написанию явилось принятие 5 декабря 1936 г. Конституции СССР. Тематически примыкает к стихотворению «Отдыхающие крестьяне».

Метаморфозы (с. 129).— Первоначально называлось «Бессмертие». Представление о метаморфозах материального мира сложилось у Заболоцкого в значительной степени под влиянием работ К. Э. Циолковского (1857—1935), которые поэт получил от их автора в 1932 г.

Лесное озеро (с. 130).— По свидетельству Е. В. Заболоцкой, замысел этого стихотворения связан с прогулкой осенью 1937 г. на Глухое озеро около г. Луги Ленинградской области. В то время был написан только вариант первых двух строк стихотворения: «Опять мне блеснула, окутана сном, огромная чаша во мраке лесном». Сложено стихотворение во время длительного и тяжелого этапа в исправительно-трудовой лагерь на Дальнем Востоке в конце 1938 — начале 1939 г., записано после освобождения из заключения в 1944 г. в Алтайском крае. Заболоцкий считал его лучшим своим стихотворением. В нем утвердилось новое восприятие поэтом взаимоотношений человека и природы, основанных не только на материальном или биологическом, но и духовном единстве. См. письма к Е. В. Заболоцкой от 19 апреля 1941 г. и к Н. Л. Степанову от 29 марта 1944 г.

Соловей (с. 131).—Сложено стихотворение весной 1939 г. в лагере близ Комсомольска-на-Амуре, записано после освобождения из заключения в 1944 г. в Алтайском крае.

Слепой (с. 132).—Поводом к созданию стихотворения послужили встречи со слепым старцем, певшим «Лазаря» и собиравшим подаяние на станции Переделкино. *Где найти мне слова // Для возвышенной песни живой?*—О неудовлетворенности своими новыми стихами Заболоцкий сообщает в письмах к И. Н. Томашевской от 8 августа 1946 г., к М. В. Юдиной от того же числа и к В. А. Десницкому от 14 декабря 1947 г.

Утро (с. 133).—По-видимому, это первое стихотворение (датовано 16 апреля 1946 г.), написанное после приезда Заболоцкого в Москву. Весной того года он поселился в Переделкине.

Гроза (с. 134).—Вполне закономерно, что, начав снова писать после длительного перерыва, вызванного заключением, Заболоцкий обратился к природной аналогии разрешения напряженных раздумий радостью поэтического вдохновения и самовыражения. «Еще из древнейшего фольклора известный психологический параллелизм, олицетворение природных сил получили новое содержание: поэт не просто сопоставляет движение грозы и творческого вдохновения человека, он сумел дать их взаимное прораствание и взаимное обогащение» (*Македонов*, с. 221).

Читайте, деревья, стихи Гезиода (с. 136).—*Гезиод*—древнегреческий поэт (VIII—VII вв. до н. э.). *Оссиан*—легендарный кельтский бард и воин, по преданию, живший в III в. Шотландский писатель Дж. Макферсон (1736—1796) издал от его имени книгу стихов «Поэмы Оссиана» (литературная мистификация). *Кухулин*—герой поэм Оссиана, легендарный ирландский вождь. *Березы Морвена*.—Морвен—фантастическое королевство в поэмах Оссиана. *Девятая Камена*—одна из муз, покровительница эпической поэзии и песнопений.

В этой роще березовой (с. 138).—Стихотворение написано в Переделкине, на даче писателя В. П. Ильенкова. Окна комнаты на втором этаже, где работал Заболоцкий, выходили в березовую рощу, с раннего утра наполнявшуюся пением птиц.

Храмгэс (с. 140).—Весной 1947 г. Заболоцкий, Н. С. Тихонов, П. Г. Антокольский, В. В. Гольцев и А. П. Межиров совершили поездку по Грузии. Были они и на гидроэлектростанции на реке Храми. *Плоскогорье Цалки*—плато в Триолетских горах, где производились раскопки древних захоронений. *Пандури*—грузинский народный музыкальный инструмент.

Сагурамо (с. 141).—В июле—августе 1947 г. Заболоцкий с семьей жил в Доме творчества грузинских писателей «Сагурамо», где работал над переводом произведений Ильи Чавчавадзе (1837—1907) и советских грузинских поэтов. К первой публикации стихотворения автор сделал следующие примечания: «1. «*Сагурамо*»—бывшее имение Ильи Чавчавадзе, некогда принадлежавшее Гурамишвили. Невдалеке от Сагурамо, на месте убийства Чавчавадзе, воздвигнут обелиск его имени <...>. 2. *И странники Гурамишвили...* (в последнем варианте—спутники.—*Н. З.*)—В 1724 г., гонимые турками и персами, свыше тысячи грузин вместе с царем Вахтангом VI нашли убежище в России. К ним присоеди-

нился и поэт Гурамишвили, рассказавший об этом в исторической поэме «Беды Грузии».

Урал (с. 144).— Отрывок из ненаписанной поэмы (см. примеч. к ст. «Лодейников»).

Творцы дорог (с. 149).— С начала 1939 г. до мая 1943 г. Заболоцкий отбывал заключение на Дальнем Востоке в районе Комсомольска-на-Амуре. Сразу после начала войны в июне 1941 г. он вместе с другими заключенными был переброшен в предгорья Сихотэ-Алиня на строительство железной дороги по направлению к Советской гавани. В первоначальной редакции стихотворение имело подзаголовок «Поэма» и было значительно больше по объему. Это было первое оригинальное произведение Заболоцкого, опубликованное после его возвращения из заключения (Новый мир, 1947, № 1). По свидетельству близких поэта, фактически написано в конце 1946 г. Известен автограф с датировкой «1946» (ЦГАЛИ, архив В. В. Гольцева, ф. 2530), но впоследствии Заболоцкий снял подзаголовок, сделал сокращения и стал датировать стихотворение 1947 г.

Завещание (с. 151).— Первоначальные названия «На склоне лет», «Напоминание». Одно из основных стихотворений Заболоцкого, выражающих его взгляды на проблему жизни и смерти.

Прохожий (с. 154).— Не имея собственного жилья, с лета 1946 и до лета 1948 г. семья Заболоцких жила в Переделкине сначала на даче В. П. Ильенкова, потом — В. А. Каверина. В стихотворении описана дорога от станции мимо кладбища, где теперь похоронен Б. Л. Пастернак, к писательскому дачному поселку. См. об этом кн.: Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л., 1972, с. 256—270.

Оттепель (с. 156).— При первой публикации в «Новом мире» (1953, № 10) по рекомендации А. Т. Твардовского последние две строфы были переделаны.

Приблизился апрель к середине (с. 156).— В аллегорической живописной картине взаимодействия человека, книги и окружающего мира, взаимодействия, в результате которого рождается человеческое знание, отразились взгляды Заболоцкого на процесс познания, его отношение к книге и воспоминания об отце-агрономе. В отцовском книжном шкафу стояла табличка с календарным назиданием: «Милый друг! Люби и уважай книги. Книги — плод ума человеческого. Береги их, не рви и не пачкай. Написать книгу нелегко. Для многих книги — все равно что хлеб» (СС. 1, с. 498).

Поздняя весна (с. 157).— *Пифагорово пенье светил...*— По представлениям пифагорейцев (VI в. до н. э.), небесные тела, гармонически расположенные в околоземном пространстве, при своем движении издают благозвучную музыку.

Сквозь волшебный прибор Левенгука (с. 159).— *Левенгук* (1632—1723)— нидерландский натуралист, один из основоположников научной микроскопии.

Гурзуф (с. 162).— В июле 1949 г. Заболоцкий с семьей жил в Гурзуфе в домике Томашевских, расположенном у самых прибрежных скал. Затем из Ялты Заболоцкие на теплоходе отправились в Сочи. По впечатлениям от



этого плавания написано стихотворение «На рейде». *Персефона* — в греческой мифологии богиня царства мертвых и плодородия. *Сирены* — полуптицы-полуженщины, завлекающие моряков в пучину своим пением.

Светляки (с. 163).— В 1949 г. Заболоцкий с семьей проездом из Гурзуфа в Тбилиси на несколько дней остановился у родственников в Сочи. Во время вечерней прогулки по берегу моря он наблюдал картину, воспроизведенную в стихотворении. Реалии южной природы используются как образная система, отображающая размышления поэта о художественном значении слова. Этот вопрос всегда интересовал Заболоцкого. В черновом наброске 50-х годов читаем:

Под поверхностью каждого слова  
Шевелится бездонная тьма.

В 1957 г. Заболоцкий писал: «Слово получает свой художественный облик лишь в известном сочетании с другими словами. Каковы же эти сочетания? Это прежде всего — сочетания смыслов <...>. Но смысл слова — еще не все слово. Слово имеет звучание. Звучание есть второе неотъемлемое свойство слова. Звучание каждого отдельно взятого слова не имеет художественного значения. Художественное звучание возникает также лишь в сочетаниях слов» (СС. 1, с. 590—591).

Башия Греми (с. 163).— К стихотворению Заболоцкий сделал примечание: «*Греми* — древняя столица Кахетии, развалины которой сохранились до сих пор. *Леван* — кахетинский царь, проводивший в XVI в. политику сближения с Московским государством. *Кизилбаши* — персы. *Марани* — погреб для вина».

Прощание с друзьями (с. 166).— Стихотворение посвящено памяти поэтов Д. Хармса, Н. Олейникова и А. И. Введенского (1904—1941), погибших в результате сталинских репрессий, а также других друзей литературной молодости Заболоцкого.

Сон (с. 166).— По свидетельству Е. В. Заболоцкой, однажды, проснувшись утром, Заболоцкий рассказал свой сон. Позднее он точно описал его в этом стихотворении, сделав попытку представить бездуховное, лишенное «воли и страстей», призрачное существование.

Портрет (с. 169).— В ряде стихотворений Заболоцкого ощутимо его увлечение живописью и включение живописного метода в изобразительную систему стиха. Интересно свидетельство З. А. Маслениковой о восприятии стихотворений Заболоцкого Б. Пастернаком: «Когда он (Заболоцкий.— Н. З.) тут читал свои стихи, мне показалось, что он развесил по стенам множество картин в рамках, и они не исчезли, остались висеть...» (Лит. Грузия, 1978, № 10-11, с. 267—293) *Рокотов* Ф. С. (1735—1808) — живописец-портретист. Портрет А. П. Струйской его работы находится в Третьяковской галерее. В библиотеке Заболоцкого была книжка А. В. Лебедева «Ф. С. Рокотов (Этюды для монографии)» с подчеркнутыми поэтом словами: «...то трепетанье живой жизни, та одухотворенность, которая удавалась только Рокотову и которая никогда не удавалась копировальщикам с него».

Поэт (с. 170).— Заболоцкий несколько раз бывал у Пастернака на его даче в Переделкине. Стихотворение является откликом на эти встречи.

Осенний клен (с. 180).— Вольный перевод стихотворения еврейского советского поэта С. З. *Галкина* (1897—1960). Это единственный случай включения автором переводного стихотворения в свод своих оригинальных произведений. Обращает внимание близость темы настроением поэта, о которых он писал из заключения жене в 1944 г.: «Для всего народа эти годы были очень тяжелыми. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких. Они не виноваты в этом. Мы с тобой тоже много пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь? Когда ты очнешься, отдохнешь, разберешься в своих мыслях и чувствах,— ты поймешь, что не даром прошли эти годы; они не только выматывали твои силы, но и в то же время обогащали тебя, твою душу,— и она, хотя и израненная,— будет потом крепче, спокойнее и мудрее, чем была прежде» (Знамя, 1989, № 1, с. 122).

О красоте человеческих лиц (с. 182).— Пояснением к стихотворению может быть фраза Заболоцкого из его заметки, написанной в 1957 г.: «Множество человеческих лиц, каждое из которых — живое зеркало внутренней жизни, тончайший инструмент души, полной тайн,— что может быть привлекательней постоянного общения с ними, наблюдения, дружеского сообщества?» (СС. 1, с. 592).

Последняя любовь (с. 184).— Цикл из десяти стихотворений отличается редкой для Заболоцкого душевной открытостью в сфере личных чувств и переживаний. «В общем — это рассказ о каком-то несчастье, огромной душевной боли, разделившей любящих, временном разрыве; затем, после каких-то также мучительных колебаний, происходит новое соединение и окончательное примирение...» (*Македонов*, с. 284).

Противостояние Марса (с. 190).— В 1956 г. наблюдалось очередное противостояние планеты Марс. Заболоцкий воспользовался этим образом, чтобы выразить трагизм разъединения и противопоставления разума и высокого нравственного начала души. В стихотворении тесно переплетаются отголоски личной судьбы автора с историческими и гражданскими мотивами, навеянными осуждением культа личности Сталина на XX съезде КПСС.

Детство (с. 193).— С конца июня до начала сентября 1957 г. Заболоцкий жил с дочерью в Тарусе на Оке, в домике с террасой, увитой хмелем. В. А. Каверин увидел в стихотворении «Детство» отображение творческого видения Заболоцкого: «...Я перечитал эту главку (о «детском зрении» в стихах Заболоцкого.— Н. З.) и задумался: да стоит ли трудиться, вглядываться в еще, мне кажется, не подмеченные черты поэзии Заболоцкого, если он сам раскрыл их с такой простотой и глубиной, о которой не приходится и мечтать исследователю литературы... Я говорю о его классическом «Детстве» (Каверин В. А. Вечерний день. М., Советский писатель, 1982, с. 389).

Болеро (с. 195).— В 50-х годах Заболоцкий любил слушать пластинку с записью «Болеро» французского композитора М. *Равеля* (1875—1937). Баск по матери, Равель использовал в своем творчестве народные испанские мотивы. *Долорес Ибаррури* — деятель испанского и международного коммунистического движения, в 1939—1977 гг. жила в эмиграции.

Одиссей и сирены (с. 196).— Эпизод из поэмы Гомера «Одиссея» использован Заболоцким для развития мысли, высказанной в его стихотворении «Облетают последние маки»: «Нет на свете печальней измены, // Чем измена себе самому».

Это было давно (с. 197).— В стихотворении Заболоцкий вспоминает случай из своей жизни, описанный им в письме к сыну от 6 июня 1944 г. (см. с. 374).

Казбек (с. 198).— В 1949 г. Заболоцкий с семьей и поэтом А. Гомиашвили совершил поездку по Военно-Грузинской дороге с ночевкой в селе Казбегу у подножия Казбека. Здесь рано утром он наблюдал картину, позднее описанную в стихотворении. В идейном отношении «Казбек» примыкает к стихотворению «Противостояние Марса».

Гомборский лес (с. 202).— Осенью 1950 г. Заболоцкий с женой, С. И. Чиковани и Е. А. Леонидзе (жена поэта Г. Н. Леонидзе) совершили поездку из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. «Николая Алексеевича не тяготила, как обычно, эта прогулка,— вспоминает Е. В. Заболоцкая.— Лицо его светилось чистотой, выражало восторг, и он без обычной замкнутости делился своими впечатлениями». Заболоцкий и Чиковани заключили договор написать стихи об этой прогулке, что и было сделано Заболоцким в 1957 г., Чиковани — в 1958-м.

Гроза идет (с. 204).— Стихотворение можно рассматривать в плане размышлений Заболоцкого о роли катаклизмов в судьбах людей и в формировании их душевных качеств (см. примеч. к ст. «Осенний клен»). Поэт как будто полемизирует со словами А. И. Герцена, которые он выписал из «Былого и дум» в начале 50-х годов: «Несчастье — самая плохая школа! Конечно, человек, много испытавший, выносливее, но ведь это от того, что душа его помята, ослаблена. Человек изнашивается и становится трусливее от перенесенного. Он теряет ту уверенность в завтрашнем дне, без которой ничего делать нельзя; он становится равнодушнее, потому что свыкается со страшными мыслями, наконец, он боится несчастий эгоистически, т. е. боится снова перечувствовать ряд шемящих страданий, ряд замираний сердца, память о которых не разносится с тучами».

Зеленый луч (с. 205).— Зеленый луч, изредка наблюдаемый при заходе или восходе солнца, по старинному поверью, приносит счастье. Заболоцкий вместе с венгерским писателем А. Гидашем (1899—1980) видели это явление летом 1953 г. на берегу моря в Дубултах (Латвия), где оба писателя жили в Доме творчества.

У гробницы Данте (с. 206).— Осенью 1957 г. Заболоцкий в составе делегации Союза писателей был в Италии и посетил в Равенне могилу Данте Алигьери (1265—1321). Латинская эпитафия на надгробии Данте заканчивается стихами:

Здесь покоюсь я, Данте, изгнанный с родной земли,  
Которого родившая его Флоренция лишила материнской любви.

Городок (с. 207).— Заболоцкий жил в Тарусе на Оке летом 1957 и 1958 г.

Подмосковные рощи (с. 209).— Осенняя среднерусская природа пробуждала у поэта ощущение исторического времени. *Стоят они*

у изголовья // *Далекой юности моей!* — Близ с. Сернур, где жила семья Заболоцких в 1910—1917 гг., были старые священные березовые рощи, в которых марийцы-язычники отправляли свои обряды; в Уржуме рядом с реальным училищем, где учился Заболоцкий, тоже была березовая роща — любимое место свиданий молодежи.

Рубрук в Монголии (с. 212). — Фактический материал для этого цикла Заболоцкий почерпнул в книге: Вильгельм де Рубрук. Путешествие в Восточные страны; Иоан де Плано Карпини. История монголов. СПб., 1911. «Рубрук в Монголии» завершает ряд произведений поэта, в которых он обращался примерно к тому же историческому времени. Так, в 1938 г. он начал писать поэму о нашествии Батыея — «Осада Козельска» (осталась незаконченной и не сохранилась), в 1938 и 1945 гг. он создал поэтическое переложение «Слова о полку Игореве», в 1951—1953 гг. изучал былины, намереваясь сделать поэтическую обработку русского эпоса (написал только «Исцеление Ильи Муромца»). В «Рубруке...», несомненно, преломились и личные впечатления Заболоцкого от пребывания на Дальнем Востоке, в Алтайском крае и Казахстане.

*Рубрук*<sup>\*1</sup> — Вильгельм де Рубрук (Рубруквис), монах ордена миноритов; в 1253 г. по поручению французского короля Людовика IX ездил в страну древних монголов, о чем оставил любопытные записки. *Ёги и Магоги*<sup>\*</sup> — мифические народы, населяющие северные страны. *Итиль*<sup>\*</sup> — Волга. *Цитадели из бревен рубленных капелл.* — Капелла — церковь, здесь — бревенчатые крепостные стены монастырей. *Гиперборейский интернат* — место жительства северных народов. гиперборейцы у древних греков — мифические народы, населяющие Крайний Север. *Плиний*<sup>\*</sup> — римский писатель I в., автор «Естественной истории». *S-dur* — музыкальный термин, обозначающий тональность фа мажор. *Онон и Керулен* — реки к юго-востоку от Байкала. *Каракорум*<sup>\*</sup> — древняя столица монголов. *Татаид*<sup>\*</sup> — Дон. *Коман*<sup>\*</sup> — половец. *Мокша*<sup>\*</sup> — племена финского происхождения. *Аланы* — ираноязычные племена. «*Ом, мани, надме кум*»<sup>\*</sup> — привет, сокровище в цветке лотоса — буддийская молитва. *Башибузук* — разбойник, сорвиголова. *Кол-звезда* — Полярная звезда, далее в тексте приведены восточные обозначения созвездий (*Бараны, Кони, Быки* и пр.). *Булла* — папский или королевский акт, грамота. *Вельзевул* — в Библии имя главы демонов. *Несториане* — христиане, последователи учения патриарха Нестория (ум. ок. 450 г.), распространенного преимущественно в азиатских странах.

## СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

### СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

Сердце-пустырь (с. 223). — Найдено и впервые опубликовано К. Грищинским и Г. Филипповым: «Так они начинали... О студенческом журнале «Мысль», о Н. Брауне и Н. Заболоцком». Звезда, 1978, № 11.

<sup>1</sup> Пояснения к словам, отмеченным звездочкой, сделаны Н. А. Заболоцким в авторских примечаниях к циклу. (*Примеч. составителя.*)

В стихотворении переплетаются две линии — горькое чувство неизбежного разрыва с миром уходящего отрочества, изображенного под знаком реки, и стремление к переустройству и совершенствованию мужающей личности.

Черкешенка (с. 224).— Первоначальное название «Столбец о черкешенке», откуда и произошло название книги «Столбцы». Стихотворения «Черкешенка», «Море», «Лето», «Пир», «Фигуры сна» входили в сборник «Столбцы».

Disciplina clericalis (с. 225).— В переводе с латинского — духовный устав, воспитание духа.

Поход (с. 233).— В 1926—1927 гг. Заболоцкий в течение года служил в армии, летом участвовал в учебных ночных походах.

Поприщина (с. 236).— В. А. Каверин вспоминает о встрече с писателями-оберутами в Институте истории искусств (предположительно в 1927 г.): «Кажется, именно в этот вечер Заболоцкий прочитал «Поприщина», которого он впоследствии не включил в основное собрание. Безумие Гоголя и Поприщина сопоставлено в этом стихотворении. Просвищенный метелью Петербург рождает не жалкого чиновника с «престранной фамилией», который в кабинете директора департамента чинит гусиные перья, а воинствующего мечтателя, недаром вообразившего себя королем Фердинандом. Вопреки воле департаментского Рока, торжествующая Севилья встречает своего короля. Ветер, опрокидывающий кареты, покорно ложится к его ногам. И он не сдаётся, не жалуется, не просит матушку «спасти своего бедного сына». «Испанский король» выбирает смерть» (*Воспоминания*, с. 180).

Мечты о женитьбе (с. 238).— И. М. Синельников свидетельствует: «Мне вспоминается чудесное стихотворение, которое привело в восторг Тынянова. Тема его — перерождение человека в старости. Я запомнил только два последних стиха: «...И под костлявым стариковским тазом // Две хари на стене причмокнув разом» (*Воспоминания*, с. 111). В СС. впервые печаталось по машинописному тексту, визированному Н. Заболоцким, из архива поэта А. Я. Сергеева.

Обед (с. 243).— Впервые в литературном приложении к газете «Ленинградская правда», 1928, № 8, но без восьми последних строк. Следовательно, дата 1929 г. может относиться только к написанию этих последних строк. Стихотворение свидетельствует, что еще до выхода «Столбцов» Заболоцкий обращался к натурфилософской тематике (см. «Лицо коня» и «В жилищах наших»).

Солдатская песня (с. 248).— Первый публикатор стихотворения Е. Биневиц пишет: «Солдатская песня» написана... в начале 30-х годов. И тоже продиктовала мне Э. С. Паперной. Теперь она рассказывает, что сомневалась — не народная ли это песня. Нет, сказал Николай Алексеевич, я ее сам написал. Паперная подобрала к ней мелодию, и «Песню» распевали в редакции Детского отдела ленинградского ГИЗа хором» (альманах «Поэзия», 1978, вып. 23).

[Пастухи] (с. 251).— С. В. Полякова отметила взаимосвязь этого отрывка с «Комедией на Рождество Христово» драматурга конца XVII — начала XVIII в. Димитрия Ростовского (Древнерусские литера-

турные памятники. XXXIII. Л., Наука, 1979). Можно предполагать, что фрагмент каким-то образом связан с несохранившейся поэмой Заболоцкого «Облака» (1933) и, с другой стороны, с замыслом задуманной незадолго до смерти поэмы «Поклонение волхвов».

Птицы. *Поэма* (с. 253).— В архиве Н. Л. Степанова сохранился текст поэмы с посвящением: «Памяти моего отца» и вариантом заключительной строфы:

Ходит сон по дворам... Земля моя, мать моя, знаю  
твой непреложный закон. Не насильник, но умный хозяин,  
ныне пришел человек, и во имя всеобщего счастья  
жизнь он устроит твою. Знаю это. С какой любовью  
травы к травам прильнут! С каким щебетаньем и свистом  
птицы птиц окружают! Какой неистленно прекрасной  
станет Природа! И мысль, возращенная сердцу,—  
мысль человека каким торжеством загорится!  
Праздник Природы! В твое приближение — верю.

Начало стройки (с. 258).— Тематически стихотворение близко к «Творцам дорог» и тоже написано под впечатлением от лагерных строительных работ. Заболоцкий абстрагировался от реальных условий подневольного труда и стремился любой труд воспринимать как деятельность по преобразованию противоречивого человеческого общества и природы в целом. При жизни автора не печаталось и сохранилось только в архиве Н. Л. Степанова.

В новогоднюю ночь (с. 259).— В письме от 18 февраля 1944 г. из алтайского лагеря Заболоцкий писал жене: «Друг мой милый, ведь это первые письма, из которых я узнаю, что было с вами в Ленинграде до эвакуации. Сердце дрожит за вас, хоть и прошло все это и стало прошлым. Сама судьба сберегла вас, мои родные, и уж не хочу я больше роптать на нее, раз приключилось это чудо. Ах вы, мои маленькие герои, сколько вам пришлось вынести и пережить! Да, Катя, необычайная жизнь выпала на долю нам, и что-то еще впереди будет...» (Знамя, 1989, № 1).

Песня дождя (*Подражание С. Чиковани*) (с. 261).— В письме к С. Чиковани от 28 августа 1953 г. Заболоцкий писал: «Твои стихи о дожде — прелесть. Я переводил их с наслаждением. Посылаю переводы. Есть в них и вольности, но в целом я доволен. Сообщи мне свои замечания». Речь здесь идет о трех стихотворениях: «Летний дождь», «Дождь идет» и «Под дождем». Перевод последнего показался Чиковани слишком вольным и был отвергнут. Сокращенный вариант этого перевода и стал стихотворением «Песня дождя».

«Во многом знании — немалая печаль...» (с. 263).— *Екклесиаст* — одна из книг Ветхого завета, по преданию, написанная царем Соломоном.

Две встречи (с. 264).— В авторской машинописи под цифрой 2 — стихотворение, вошедшее потом в основной свод под названием «Встреча».

Венеция (с. 265).— Это и следующее стихотворение связаны с поездкой Заболоцкого в Италию в 1957 г.

Исцеление Ильи Муромца (с. 273).— В начале 50-х годов Заболоцкий задумал создать поэтическое переложение русских былин. План остался неосуществленным.

## ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Из сборника «Ксении» (с. 279).— В архиве Заболоцкого сохранился рукописный сборник, включающий 11 стихотворений, которые были написаны в начале 30-х годов. В то время Заболоцкий работал в редакции детских журналов «Еж» и «Чиж». *Ксении* — у древних греков и римлян короткие стихотворения в форме эпиграмм и афоризмов.

Раздражение против В. (с.279).— Имеется в виду А. И. Введенский.

На расстояние между мной и Шварцем (с. 280).— Е. Л. Шварц, как и Заболоцкий, сотрудничал в редакции «Ежа» и «Чижа».

Улетание Олейникова от нас (с. 280).— Поэт Н. М. Олейников принимал деятельное участие в работе детской редакции ленинградского ГИЗа.

Вопрос Левину (с. 281).— Имеется в виду художник редакции «Ежа» и «Чижа» Генрих Левин.

Красота Груни (с. 281).— Г. Д. Левитина была секретарем редакции «Ежа» и «Чижа». Одним из развлечений сотрудников и посетителей редакции было сочинение шуточных объяснений в любви к ней. Вспомним, например, известное стихотворение Н. М. Олейникова:

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,  
А она в меня, кажется, нет.  
Ею Шварцу квитанция выдана,  
Мне квитанции, кажется, нет...

Г-же Екатерине Ивановне Шварц (с. 282).— ...*Ровно двадцать лет назад*...— В 1928 г. в день рождения Е. Л. Шварца на квартире Ю. Н. Тынянова произошло знакомство Екатерины Ивановны Обуховой и Евгения Львовича Шварца.

Похвальное слово о Колином телосложении (с.286). и последующие три басни.— Н. Л. Степанов вспоминает: «Он охотно писал шуточные стихи, в которых давал волю самому безудержному и вместе с тем милому юмору. Таковы, например, «Записки аптекаря» или шуточные басни, преподносимые мне обычно в день рождения, как исследователю Крылова» (*Воспоминания*, с. 175).

Картонный город (с. 297).— ...*очаговец*...— Ребенок, посещающий «очаг», теперь это учреждение называют детским садом.

## СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Журнальная публикация перевода (Октябрь, 1946, № 10-11) была снабжена написанными Заболоцким заметкой «От переводчика» и «Краткими пояснениями». В настоящем издании приводятся также дополнительные

примечания, сделанные с учетом дальнейшего изучения «Слова» и заимствованные нами из второго тома СС. (авторы — Е. В. Заболоцкая и Л. А. Шубин).

Об обстоятельствах перевода древнерусской поэмы см. в письмах Заболоцкого к Н. Л. Степанову от 20 июня и 4 июля 1945 г. (с. 377 и 379).

#### ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Моя работа над «Словом о полку Игореве» не претендует на научную точность строгого перевода и не является результатом новых текстологических изысканий. Это — свободное *воспроизведение* (курсив автора. — Н. З.) древнего памятника средствами современной поэтической речи. Оно предназначено для читателя, которому трудно разобраться в оригинале, но который хочет иметь о памятнике живое поэтическое представление. По мере своих сил я пытался воспроизвести древнюю героическую поэму русского народа во всей полноте ее социального и художественного значения.

#### КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

(Цифра перед объясняемым словом обозначает номер главки, в которой упоминается данное слово.)

#### ВСТУПЛЕНИЕ

*Боян* — русский поэт-певец XI века. *Ярослав* — великий князь киевский Ярослав Мудрый (ок. 978-1054). *Мстислав* — брат Ярослава Мудрого, князь тмутараканский (ум. 1036), прославившийся своим единоборством с косожским (черкесским) князем Редедей. *Роман Красный* (Красивый) — внук Ярослава Мудрого, князь тмутараканский (ум. 1079). «*Со времен Владимира княженья*» — со времен Владимира Мономаха (ум. 1125). *Траян* — по всей видимости, римский император Траян, завоевавший во II веке нашей эры царство даков, в состав которого входили древние славянские племена. *Велес* — славянский бог скотоводства и изобилия, покровитель певцов.

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

4. *Див* — вещая птица. *Болван тмутараканский* — речь идет о каком-то древнем изваянии в городе Тмутаракани, на берегах Азовского моря.

7. *Аксамит* — дорогая шелковая ткань.

8. *Гнездо Олега* — род князя Олега черниговского, деда князя Игоря. *Гзак* (Гза) и *Кончак* — половецкие ханы.

10. *Стрибог* — бог ветра у славян.

11. *Глебовна* — Ольга Глебовна, жена Всеволода.

12-13. В этих отрывках певец, отступая от своего повествования, вспоминает о событиях времен князя Олега Святославича (ум. 1115), деда князя Игоря. Великий князь Всеволод в 1077 году изгнал Олега из Чернигова. Олег ушел в Тмутаракань, соединился с двоюродным братом



Борисом Вячеславичем и с помощью половцев напал на Всеволода. В битве у Нежатиной нивы Борис, по преданию, оскорбил своего союзника и был убит в сражении на берегу Канина ручья. Распря князей продолжалась много лет и повлекла за собой великие народные бедствия. *Владимир* — Владимир Мономах, который в то время сидел в Чернигове. *Святополк* — князь Святополк — в 1096 году разбил половцев на реке Трубже. В битве был убит половецкий хан Тугоркан, тесть Святополка. Тело Тугоркана перевезли для погребения в Киев. *Даждь-бог* — бог солнца у славян, *внук Даждь-бога* — славянин, русский.

14. *Харалужные* — стальные.

17. *Карна* и *Желя* — олицетворения скорби и плача.

19. Речь идет о победоносном походе великого князя киевского Святослава (ум. 1194), который в 1184 году увел в полон семь тысяч половцев вместе с их ханом *Кобяком*.

20. *Кацей* — раб, невольник. *Кацеево седло* — седло невольника.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. «*Плыл мертвец в санях на сине-море*». — Умершего князя славяне относили в санях к месту погребения. Сине море — видимо, Азовское море, близ которого произошла роковая битва Игоря с половцами.

3. *Олег* и *Святослав* — очевидно, малолетние сыновья Игоря.

4. Остатки готов жили в Крыму под властью половцев. *Бус* — вероятно, король ангов Бооз, побежденный готами. *Шарукан* — половецкий хан, много раз битый русскими князьями.

5. «*О сыны...*» — Святослав по праву старшего князя называет своих двоюродных братьев Игоря и Всеволода сыновьями (сыновцами, «сыновчя»). *Ярослав* — князь черниговский Ярослав Всеволодович (ум. 1198). *Татраны*, *топчаки*, *ольберы*, *ревуги* — вероятно, осевшие племена кочевников, служившие в войсках князя черниговского. *Велжи* — шатры. *Город Римов* — был сожжен половцами после поражения Игоря. *Владимир* — князь переяславский Владимир Глебович, был смертельно ранен в битве с половцами.

6. *Всеволод* — великий князь суздальский Всеволод Юрьевич (ум. 1212), отец которого, Юрий Долгорукий, был великим князем киевским. Вместе с рязанскими Глебовичами ходил походом на волжских болгар, славился своим могуществом и был, по существу, старшим среди князей того времени. *Ногата* и *резань* — мелкие монеты.

7. *Рюрик* и *Давид* — Ростиславичи, правнуки Владимира Мономаха. Первый — князь перемышльский, второй — князь смоленский.

8. *Ярослав, князь галицкий* — Ярослав Владимирович (ум. 1187), владения которого простирались от Карпат и почти до устья Дуная. «*Королю дорогу заступаю*». — Певец говорит о короле венгерском. «*В салтанов с отчего стола ты пускаешь княжеские стрелы*». — Предполагают, что войска Ярослава принимали участие в походе Фридриха Барбароссы против султана Саладина.

9. *Роман* Мстиславич, князь волынский (ум. 1205), и его двоюродный брат *Мстислав* Ярославич, князь луцкий (ум. 1266), известные своей

борьбой с литовскими племенами. *Хинога* — в значении «враги». *Литва, ятвяги, деремела* — народы и племена, с которыми воевал Роман.

11. *Ингварь и Всеволод Ярославичи* — правнуки Мстислава Великого. О третьем Мстиславиче — Мстиславе — речь была выше.

12. Второе отступление певца. Речь идет о судьбе Полоцкой земли. Во второй половине XII века Полоцкая земля сильно страдала от набегов литовцев. Князья, обессиленные усобицами, не могли дать Литве решительного отпора. Один Изяслав городенский, правнук знаменитого Всеслава полоцкого, пытался выступить против врага, но был зарезан литовцами в 1185 году.

14. *Всеслав Брячиславич* — князь полоцкий (ум. 1101), был известен своей враждой с внуками Ярослава Мудрого. В 1066 году он взял Новгород, но был вскоре разбит Ярославичами на реке Немиге и заключен в киевскую темницу. В следующем году киевляне освободили Всеслава и посадили его на киевский престол. Однако князь киевский Изяслав с помощью поляков изгнал Всеслава из Киева. Всеслав с большим трудом сохранил за собой родной Полоцк. *Дудутки* — местечко близ Новгорода, *Немига* — приток Свислочи. *Хорс* — бог солнца у славян.

#### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1. *Ярославна* — Ефросинья Ярославовна, жена князя Игоря, дочь галицкого князя Ярослава Осмомысла. *Забрало* — крепостная стена. *Бобрин рукав* — бобровый рукав, рукав бобровой шубы.

2. *Овлур* (Лавор) — половчин, с помощью которого Игорь бежал из плена.

5. *Ростислав* — брат Владимира Мономаха. В 1093 году утонул в реке Стугне во время отступления от половцев.

8. *Боричев взвоз* — подъем от днепровской пристани к центру города в Киеве. *Пирогощая богородица* — название иконы «Башенной» богородицы, вывезенной из Константинополя.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

##### ВСТУПЛЕНИЕ

*Мстислав*. — Князь черниговский и тмутараканский (тмутароканский) Мстислав Владимирович Великий. Тмутаракань была русским княжеством, подвластным черниговским князьям. Тмутаракань — древний русский город на Таманском п-ве, современная станица Таманская, на северо-западном побережье Черного моря. *Со времен Владимира княжения*. — Правильнее, очевидно, считать, что здесь речь идет не о Владимире Мономахе, как иногда считают, а о Владимире I Святославиче (ум. 1015) (автор «Слова...» постоянно обращается к событиям прошлого, охватывая русскую историю более чем за полтора столетия). *Траян*. — Ученые по-разному определяют, кто такой был Траян (Троян), имя которого еще трижды упомянуто в «Слове...». Учитывая контекст всех

этих мест, Д. С. Лихачев приходит теперь к выводу, что речь идет о языческом боге Трояне, о котором говорится и в других памятниках.

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Тугоркан, тесть Святополка.*— В современной науке прежнее толкование, согласно которому считалось, что автор «Слова...» называет «отцом» тестя Святополка, хана Тугоркана, погребенного в Киеве, отпадает, поскольку в Софийской первой летописи найдено подтверждение факту погребения в киевском храме Софии и отца Святополка, Изяслава Ярославича, убитого в битве на Нежатиной ниве в 1079 г.

#### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

*Плыл мертвец в саях на сине море.*— Этот образ возник в переводе в соответствии с прочтением и толкованием одного из неясных мест в сне Святослава, которое было принято в 40-е годы («дебрьски сани»). Позднее, в 1950 г., учитывая иные прочтения этого места («дебрь Кисаню»), Заболоцкий отказался от спорного образа. Комментируя это место, Д. С. Лихачев пишет: «Какая имеется в виду «дебрь» (крепостной ров, лес)— неясно». *Олег и Святослав.*— Олег — действительно сын Игоря (род. 1175), но Святослав — племянник, князь Рыльский (род. 1166). *Остатки готов жили в крыму...*— Готы жили в Крыму и частично около Тмутаракани. Очевидно, именно эти, тмутараканские готы радовались победе половцев. *...смертельно ранен...*— При осаде Переяславля в 1185 г. Владимир Глебович был тяжело ранен, умер в 1187 г. *Всеволод.*— Всеволод Юрьевич Владимиро-Суздальский, по прозвищу Большое Гнездо, первым из владимирских князей принял титул великого князя и стремился утвердить за Владимиром значение центра Руси. *Рюрик и Давид.*— Рюрик Ростиславич (ум. 1215) — один из самых деятельных и примечательных князей XII в., семь раз добивался киевского «золотого стола», умер на княжении в Чернигове. В 1183 г. войска Рюрика и Давида Ростиславичей участвовали в битве с половцами на реке Орели, в 1185 г. Давид отказался выступить совместно с Рюриком. *Мстислав.*— По поводу Мстислава, который здесь упомянут, нет ясности: возможно, что речь идет действительно о Мстиславе Ярославиче Пересопницком, но не исключено, что это Мстислав Всеволодович Городенский, который тоже участвовал в походах на половцев и сражался с литовцами, ятвягами и деремелой. *Ингварь и Всеволод.*— Следуя за учеными, которые считали, что упомянутые здесь три Мстиславича названы так не по отцу, а по прадеду — Мстиславу Великому, Заболоцкий соответственно переводит и толкует это место. В прозаическом переводе Д. С. Лихачева иное прочтение текста: «Ингварь и Всеволод и все три Мстиславича...» В комментарии поясняется, что Ингварь и Всеволод — сыновья Ярослава Изяславича Луцкого, а три Мстиславича — сыновья Мстислава Изяславича — Роман, уже упомянутый «буй Романе», Святослав и Всеволод. Все они, как и Ингварь и Всеволод, были князьями вольнскими, чем и оправдано общее к ним обращение. *Изяслав Городенский* — не правнук, а внук Всеслава Полоцкого, сын Василько Полоцкого.

*Забрало* — не совсем точно. Д. С. Лихачев поясняет: «Забралы городских стен — это их верхняя часть, переходы, где сосредотачивались защитники во время осады. В более узком понимании — это бруствер, защищавший находившихся на верху стен воинов». *Бобрян рукав*. — Заболоцкий поясняет свой перевод: «И рукав с бобровою опушкой...» В 1969 г. Д. С. Лихачев дает новый комментарий: «Бебрь, бебер, как установлено в последнее время Н. А. Мещерским, — белая шелковая ткань особой выделки. Бебрян — шелковый». Соответственно дается и новый перевод: «...омочу шелковый рукав в Каяле-реке...» *Пирогощая богородица*. — По иконе названа и церковь Богородицы Пирогощей; была заложена в Киеве в 1132 г. и завершена в 1136 г.

## ПИСЬМА

М. И. Касьянову, 7 ноября 1921 г. (с. 349). — Это письмо отправлено одновременно со следующим.

М. И. Касьянову, 11 ноября 1921 г. (с. 351). — Михаил Иванович Касьянов — товарищ Заболоцкого по учебе в реальном училище Уржума Вятской губернии. В 1920 г. они вместе уехали в Москву и поступили на медицинский и филологический факультеты I и II университетов. Из-за голода Заболоцкий, не кончив первого курса, прервал учение и на следующий год поступил в Петроградский педагогический институт им. А. И. Герцена. Касьянов продолжал учение на медицинском факультете в Москве. *С журналом дело не ладится*. — Речь идет о студенческом журнале «Мысль», в редколлегии которого был Заболоцкий.

Л. А. Юдину, 28 июня 1928 г. (с. 353). — С художником Львом Александровичем Юдиным (1903—1941) Заболоцкий был близок в годы участия в литературном объединении Обериу и по работе в детской литературе. М. Павловой была найдена запись в дневнике Юдина от 23 января 1928 г.: «Завтра вечер Обериу. Жду с нетерпением... В Заболоцкого я влюбляюсь. Приятный малый. Он надежнее всех их...» Юдин сделал обложку к «Столбцам», но в издательстве она не понравилась, и первая книжка стихотворений Заболоцкого вышла в оформлении М. Кирнарского. *Стерлигов* Владимир — художник. *К-во* — кооперативное Издательство писателей в Ленинграде. *Малахов* — заведующий редакцией этого издательства. «3 обзриутских часа» — вечер в Доме печати, о котором говорится в дневнике Юдина, фактически назывался «Три левых часа».

К. Э. Циолковскому, 7 января 1932 г. (с. 354). — Письма Заболоцкого к К. Э. Циолковскому были обнаружены и впервые опубликованы А. И. Павловским (Русская литература, 1964, № 3).

К. Э. Циолковскому, 18 января 1932 г. (с. 355). — Заболоцкий получил 18 брошюр Циолковского, переплел их в единый томик и до конца жизни очень дорожил этой книгой. Отрывок из письма Заболоцкого Циолковский включил в раздел «Отзывы» своей брошюры «Стратоплан-полуреактивный» и прислал ее с дарственным автографом. Были и другие сохранившиеся письма ученого. В записке жене от 26 января

1932 г. Заболоцкий писал: «От Цюлковского получил очень приветливую открытку. Хороший старик!»

М. И. Касьянову, 10 сентября 1932 г. (с. 358).— *Книга уже принята к печати...*— Речь идет о книге «Стихотворения. 1926—1932», которая не увидела свет из-за резких политических обвинений Заболоцкого после публикации поэмы «Торжество Земледелия» (Звезда, 1933, № 2-3).

Е. В. Клыковой, 26 мая 1933 г. (с. 359).— Екатерина Васильевна Клыкова, жена Заболоцкого, до 1937 г. сохраняла свою девичью фамилию. ...*продолжаю новую поэму...*— Речь идет о поэме «Облака», текст которой был изъят при аресте Заболоцкого и не сохранился. Д. И. Хармс в письме к К. В. Пугачевой от 16 октября 1933 г. писал: «Сегодня был у меня Заболоцкий. Он давно увлекается архитектурой и вот написал поэму, где много высказал замечательных мыслей об архитектуре и человеческой жизни». Под архитектурой здесь подразумевается пространственная и внутренняя упорядоченность мироздания (см. стихотворение «Осень»).

Т. И. Табидзе, 1 июля 1936 г. (с. 360).— Табидзе Тициан Иустинович (1895—1937) — грузинский поэт, с которым Заболоцкого связывали дружеские отношения. Перевод поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» был выполнен Заболоцким дважды: в обработке для юношества в 1937 г. и полностью — в 1954—1955 гг. *Нина Александровна* — детская писательница, жена Т. Табидзе.

Т. И. Табидзе, 2 августа 1936 г. (с. 361).— Перевод поэмы Руставели был завершён летом 1937 г. и в том же году издан в Детиздате. Г. Е. *Цытин* — в то время директор Детиздата. Переводы стихотворений Табидзе см. в кн.: Заболоцкий Николай. На двух Арагвах пели соловьи. Тбилиси, 1975.

С. И. Чиковани, 14 ноября 1936 г. (с. 363).— *Чиковани* Симон Иванович (1902/03—1966) — грузинский поэт, близкий друг Заболоцкого. В начале письма речь идет о первой поездке Заболоцкого в Грузию в октябре 1936 г. Далее говорится о его стихотворении «Горийская симфония», посвященном природе и народу Грузии. Несколько строк в нем об отрочестве Сталина объясняют слова в письме к М. П. Бажану от декабря 1936 г.: «Это стихотворение будет играть значительную роль в моей литературной судьбе». Однако даже «Горийская симфония» стала мишенью для критических проработок Заболоцкого. В статье А. Тарасенкова говорилось: «Формирование гениальной личности Сталина рассматривается исключительно в одном только плане — под влиянием условий первобытной кавказской природы. К сожалению, социальная обусловленность развития личности вождя народов начисто игнорируется Заболоцким, о ней он не говорит ни слова» (Лит. газета, 1938, 26 февраля). *Мария Николаевна* — жена С. Чиковани.

М. П. Бажану, 11 декабря 1936 г. (с. 363).— Микола Платонович *Бажан* (1904—1983) — украинский поэт, с которым Заболоцкого связывали дружеские отношения. Стихотворение «Горийская симфония» было напечатано в газете «Известия» 4 декабря 1936 г.

Вечер, посвященный творчеству Заболоцкого, состоялся в Ленинграде 16 декабря, а не ноября, как ошибочно сказано в письме. ...*Ваш перевод...*—

М. Бажан перевел на украинский язык поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре». *Гайна Симоновна* — первая жена, *Галина Аркадьевна* — мать Бажана.

В. В. Гольцеву, 12 ноября 1937 г. (с. 364).— *Гольцев Виктор Викторович* (1901—1955)— критик, литературовед, председатель Грузинской комиссии при Союзе писателей, с 1939 г. редактор альманаха, потом журнала «Дружба народов». До конца жизни был в товарищеских отношениях с Заболоцким. ...*к торжествам выйдет часть тиража...*— Первое издание перевода «Витязь в тигровой шкуре» получили участники пленума Союза писателей СССР, посвященного 750-летию поэмы Руставели (Тбилиси, 24 декабря). На нем выступил Заболоцкий, его перевод был удостоен Грамоты ЦИК Грузинской ССР. А. М. *Аршаруни*— председатель комитета по организации руставелевского юбилея. *Я очень рад, что моя книжка...*— Речь идет о книжке стихотворений Заболоцкого «Вторая книга» (Гослитиздат. Л., 1937). *Юлия Сергеевна*— жена В. Гольцева.

Е. В. Заболоцкой, 5 октября 1938 г. (с. 366).— Комментарием к письмам из лагеря может служить автобиографический очерк Заболоцкого «История моего заключения» (с. 334). Всего с 1938 по 1944 г. семья получила около ста его писем. Значительная их часть опубликована в журнале «Знамя», 1989, № 1.

Е. В. Заболоцкой, 27 февраля 1939 г. (с. 366).— *Работаю на общих работах.*— Первые примерно два месяца после прибытия по этапу в Востлаг НКВД Заболоцкий работал на лесоповале и в каменном карьере. Затем, по счастливому случаю, был взят чертежником в проектный отдел строительства. Несмотря на то что он еще несколько раз попадал на общие работы, освоенная им профессия безусловно спасла ему жизнь.

Е. В. Заболоцкой, 15 сентября 1940 г. (с. 367).— В письме говорится о хлопотах по пересмотру дела Заболоцкого и по отмене несправедливого приговора. Эти хлопоты вели жена поэта и его друзья: А. И. Пिटович, В. А. Десницкий. М. М. Зоценко, В. А. Каверин, Н. Л. Степанов, К. И. Чуковский, В. Б. Шкловский и др. После первых обнадеживающих результатов Е. В. Заболоцкая получила ответ Прокуратуры СССР от 15 июля 1940 г., где говорилось: «На В/заявление Прокуратура сообщает, что дело Заболоцкого Николая Алексеевича перепроверено. Установлено, что он осужден правильно и оснований к пересмотру дела нет».

Е. В. Заболоцкой, 19 апреля 1941 г. (с. 369).—...*ответ относительно пересмотра дела...*— После отказа прокуратуры пересмотреть дело жена Заболоцкого, продолжая хлопоты, написала письмо Сталину. Ее вызвали в НКВД и сообщили, что дело ее мужа будет пересмотрено в Москве, однако это обещание осталось без последствий. Заболоцкий целиком отбыл свой пятилетний срок заключения и дополнительно полтора года, добавленных по условиям военного времени.

Е. В. Заболоцкой, 19 марта 1943 г. (с. 370).— Письмо написано в день, когда истек 5-летний срок заключения. *Лида*— сестра Е. В. Заболоцкой. *Евгений Львович*— Е. Л. Шварц. *Если будут известия о брате...*— Брат поэта гидробиолог А. А. Заболоцкий в начале войны вступил в народное ополчение и вскоре попал в немецкий плен.

Н. Л. Степанову, 4 февраля 1944 г. (с. 371).— Николай Леонидович *Степанов* (1902—1972)— литературовед и критик, ближайший друг

Заболоцкого. *Молотов* — название г. Перми (1940—1957), где после эвакуации из Ленинграда жили Степановы. *Писала она недавно о твоём разговоре с Фадеевым.*— Приехав в 1943 г. в Москву, Степанов говорил с А. А. Фадеевым о судьбе Заболоцкого. Фадеев сказал, что еще в 1939 г. видел дело осужденного поэта, из которого следовало, что он невиновен. В дальнейшем, в 1946 г. и позже, участие Фадеева в судьбе Заболоцкого значительно облегчило его участь. *Выздоровел ли Юрий Николаевич?*— Заболоцкий не знал о смерти Ю. Н. Тынянова 20 декабря 1943 г. *Лидия Константиновна*— жена Н. Степанова, *Алеша*— их сын.

Н. Л. Степанову, 29 марта 1944 г. (с. 372).— Тынянова (Каверина) *Лидия Николаевна*— писательница. Каверин *Вениамин Александрович*— писатель. *...получаю письма из Уржума.*— После эвакуации из блокадного Ленинграда семья Заболоцкого жила в Уржуме Кировской области. *...заявление на 11 страницах...*— Об этом см. в журн. «Аврора», 1990, № 8. *...напишу тебе особое письмо о природе...*— Такое письмо было написано, позднее Заболоцкий оформил его как очерк и назвал «Картины Дальнего Востока» (см. с. 345).

Никите Заболоцкому, 6 июня 1944 г. (с. 374).— *Мне было бы интересно прочесть твоё стихотворение целиком...*— В бумагах Заболоцкого сохранился листок письма, на котором детской рукой сына написано:

#### БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Свищут снаряды, бомбы летят,  
По улицам города люди спешат.  
Они спотыкаются, падают замертво.  
По гладкому снегу санки скользят,  
В санках трупы голодных ребят.  
В квартирах люди с коптилкой сидят  
И горькие отруби ложкой едят...

Далее Заболоцкий приписал: «Эти стихи 10-летний Никита сочинил в Ленинграде в январе 1942 года, сидя на антресолях в квартире Шварца (во время блокады). Продолжение было: И говорят все о том и о том, // Когда же нам хлеба прибавят». Рассказанный в письме эпизод со старушкой послужил основой для стихотворения «Это было давно» (1957).

Е. В. Заболоцкой, 28 сентября 1944 г. (с. 375).— Освободившись из заключения по директиве 18 августа 1944 г., Заболоцкий обязан был работать при лагере, но не решался выписать семью из Уржума ввиду скорого переезда лагеря. Тем не менее жена не захотела продолжать вынужденную разлуку и 17 ноября 1944 г. вместе с детьми приехала к мужу в Алтайский край. В марте 1945 г. все вместе они переехали в Караганду. *Коля*— Н. Л. Степанов.

Н. Л. Степанову, 20 июня 1945 г. (с. 377).— Работу над «Словом о полку Игореве» Заболоцкий начал накануне ареста в 1938 г. Рукопись переведенных частей поэмы сохранилась и была привезена Е. В. Заболоцкой в Алтайский край. Но только после переезда в Караганду Заболоцкий смог возобновить работу, которая стала как бы связующим звеном в его творчестве, прерванном годами заключения. *Ираклий*— писатель и литературовед И. Л. Андроников.

Н. Л. Степанову, 4 июля 1945 г. (с. 379).—Заболоцкий ждал вызова в Москву с тем, чтобы добиться разрешения жить в центральных городах, восстановиться в Союзе писателей и опубликовать свой перевод «Слова о полку Игореве». Только в самом конце года в ответ на ходатайство строительного управления лагеря он получил такой вызов от Союза писателей, подписанный Н. С. Тихоновым. *Минаев-отец* — «Слово...» в переводе Д. И. Минаева вышло в 1846 г. *Гербель* — перевод «Слова...», выполненный поэтом Н. В. Гербелем, вышел в 1854 г. ...*надежда получить здесь отпуск...*—Краевед Ю. Попов сообщает: «18 июля ему (Заболоцкому.— Н. З.) был предоставлен отпуск, часть которого он провел в доме отдыха Ак-куль, где и дорабатывал первый вариант своего перевода» (Индустриальная Караганда, 1982, 13 ноября). *У меня несколько своих чтений...*—Раздумья Заболоцкого над древнерусским памятником завершились написанием статьи «К вопросу о ритмической структуре «Слова о полку Игореве» (1951).

Е. В. Заболоцкой, 28 апреля 1946 г. (с. 380).—*Вы приедете сразу в Перedelкино.*—В Москве, куда Заболоцкий приехал в январе 1946 г., жить было негде, и семья поселилась в Перedelкино на даче писателя В. П. Ильенкова, потом на даче В. А. Каверина. Д. И. Чечельницкий — начальник Саранского строительного управления, командировавший Заболоцкого в Москву. М. К. Тихонова — жена поэта и в то время главы Союза писателей Н. С. Тихонова. *Стояновский* и П. М. *Цишевский* — сослуживцы Заболоцкого по работе в строительном управлении в Караганде.

И. Н. Томашевской, 8 августа 1946 г. (с. 381).—*Томашевская* (Медведева) Ирина Николаевна (1903—1973) — литературовед, историк литературы, жена литературоведа *Бориса Викторoвича* Томашевского. Начиная с трудного времени, наступившего после ареста Заболоцкого, семья Томашевских была близка семье Заболоцких. *Перевел поэму Гидаша...*— Речь идет о поэме «Стонет Дунай». С венгерским писателем А. Гидашем поэт познакомился в доме Тихоновых в 1946 г. Близкое знакомство поддерживалось до конца жизни Заболоцкого. *Николай Борисович* Томашевский — сын Ирины Николаевны и Бориса Викторовича, в то время студент, сейчас — литературовед.

С. И. Чиковани, 4 февраля 1947 г. (с. 382).—Упомянутая книжка поэта Рторика Ивнева вышла в Тбилиси в 1939 г. В первом издании «Грузинских романтиков» («Б-ка поэта». Большая серия. М.—Л., 1940) стихотворения Г. Орбелиани даны в переводах разных поэтов, в том числе и Заболоцкого («Заздравный гост»). А. П. *Рябинина* в то время была заведующей редакцией литератур народов СССР в Гослитиздате. ...*стихи мои идут в «Новом мире»...*— В № 1 за 1947 г. было напечатано стихотворение «Творцы дорог» (первая публикация оригинального стихотворения после возвращения поэта из заключения), в № 5 за 1947 г.—«Город в степи» и в № 10 за 1947 г.—«Воздушное путешествие» и «Храмгэс».

С. И. Чиковани, 26 марта 1947 г. (с. 384).—...*к нашей поездке...*— В мае того года в Грузию ездила бригада московских писателей, в которую входили П. Антокольский, В. Гольцев, Н. Заболоцкий, А. Межиров и Н. Тихонов. ...*подписываю договор на Орбелиани в Гослитиздате...*— Пе-



реводы Орбелиани вышли сначала в Грузии (Заря Востока, 1947), потом в центре (Орбелиани Г. Стихотворения. М.—Л., 1949). ...*в общую книгу моих переводов*...— Заболоцкий Н. Грузинская поэзия. Избранные переводы. Тбилиси, Заря Востока, 1948. После этого издания Заболоцкий продолжал работать над переводом грузинских классиков. Его фундаментальный труд завершился изданием двухтомника: Грузинская классическая поэзия в переводах Н. Заболоцкого. Тбилиси, Заря Востока, 1958. ...*ориентируясь на Сагурамо*...— в Доме творчества «Сагурамо» семья Заболоцких жила летом 1947 и 1949 гг. В. Д. Жгенти — критик, в те годы главный редактор издательства «Заря Востока».

В. А. Десницкому, 14 декабря 1947 г. (с. 385).— Василий Алексеевич Десницкий (1878—1958) — литературовед, профессор и декан филологического факультета Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, где в 20-е годы учились Н. А. и Е. В. Заболоцкие. 30 января 1948 г. отмечался его 70-летний юбилей. ...*я постараюсь приехать в Ленинград*...— Поездка не состоялась. После 1938 г. Заболоцкий был в Ленинграде только в 1956 г. ...*я послал свое стихотворение*...— Имеется в виду «Садовник», опубликованный в юбилейном выпуске «Ученых записок Ленинградского педагогического ин-та», т. XVII. ...*в Советском писателе*» принята к изданию книжка стихов...— Имеется в виду книга: Заболоцкий Н. Стихотворения. М., 1948. Изданию третьего прижизненного сборника поэта содействовал А. А. Фадеев. После выхода постановления ЦК ВКП(б) об опере Мурадели «Великая дружба» он писал редактору Тарасенкову: «Когда-то я читал этот сборник и в целом принял его. Но теперь, просматривая его более строгими глазами, учитывая особенно то, что произошло в музыкальной области, и то, что сборник Заболоцкого буквально будут рассматривать сквозь лупу,— я нахожу, что он, сборник, должен быть сильно преобразован». В результате из 25 стихотворений в книжке осталось 17.

Е. И. и Е. Л. Шварцам, 14 декабря 1947 г. (с. 387).— Это письмо — характерный образец дружеских шуточных посланий Заболоцкого.

С. И. Чиковани, 12 марта 1949 г. (с. 388).— ...*включена ли книга в изд. план 1950 года*...— Имеется в виду издание: Важа Пшавела. Поэмы. Тбилиси, Заря Востока, 1951. *Твоя книга в «Советском писателе»*...— Чиковани С. Избранное. М., 1949. Р. С. Шадури — в то время заведующий Отделом культуры при ЦК КП Грузии.

С. И. Чиковани, 6 июня 1953 г. (с. 389).— ...*принимался за перевод твоих стихов*...— Имеется в виду цикл «На польской дороге». У меня был творческий вечер...— Чтение Заболоцкого происходило 3 июня 1953 г. в Центральном Доме литераторов. Сам же я занимался русскими былинами.— Л. А. Озеров вспоминает, как Заболоцкий поделился с ним своим замыслом: «Хочу дать свод былин как некую героическую песнь, слитную и связную. Я смотрел профессора Водовозова, знаю и другие попытки. У нас нет еще своего большого эпоса, а он был, как и у многих народов, был, но не сохранился целиком. У других — «Илиада», «Нибелунги», «Калевала». А у нас что? Обломки храма. Надо, надо воссоздать весь храм» (*Воспоминания*, с. 319). Замысел остался неосуществленным (см. «Исцеление Ильи Муромца» и примеч. к нему).

А. К. Крутецкому, 2 января 1954 г. (с. 390).— Алексей Константинович *Крутецкий* (1902—1974)—рабочий и писатель. Заболоцкий с ним никогда не встречался, но письма его внушили поэту доверие и заинтересованность в переписке, поводом к которой послужила публикация стихотворения Заболоцкого «Жена» (Новый мир, 1953, № 10). *Что касается стихов Вашего сына...*—Речь идет о начинающем тогда поэте Викторе Крутецком.

С. И. Чиковани, 19 июля 1955 г. (с. 391).—В 1955 г. праздновалось 250-летие со дня рождения грузинского поэта Д. Гурамишвили, произведение которого переводил Заболоцкий. К юбилею он написал статьи: «Давид Гурамишвили» (СС.1, с. 560) и «Гурамишвили и его время» (Дружба народов, 1955, № 10). *...на даче под Москвой, где работаю и по-прежнему поправляюсь.*—В сентябре 1954 г. у Заболоцкого произошел обширный инфаркт. Летом семья жила в пос. Жаворонки, где Николай Алексеевич работал над полным переводом поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

С. И. Чиковани, 30 августа 1955 г. (с. 391).—С. Чиковани был редактором полного перевода поэмы Руставели, первое издание которого состоялось в 1957 г. (М., Гослитиздат).

А. Я. Сергееву, 16 февраля 1956 г. (с. 392).—Андрей Яковлевич *Сергеев*—поэт, переводчик. О своих встречах с Заболоцким он писал: «В начале 1956 года четверо молодых, подающих надежды послали Заболоцкому свои стихи <...>. Мы были очень юны, но достаточно начитаны в русской поэзии и не случайно хотели знать мнение о себе именно Заболоцкого <...> Мы нуждались в современнике, и из современников именно в Заболоцком видели наибольшие для себя возможности» (*Воспоминания*, с. 403).

Татосову Г. Г., 11 мая 1956 г. (с. 393).—Гурген Георгиевич *Татосов* (1902—1978)—юрист, был товарищем Заболоцкого в годы заключения в дальневосточном лагере. После освобождения они не встречались. Реабилитированный в 1956 г., Татосов из Грозного написал Заболоцкому и получил ответное письмо. *Оригинальной же книги покуда нет...*—Следующий после книги 1948 г. и последний прижизненный сборник Заболоцкого вышел в 1957 г. (Стихотворения. М., Гослитиздат).

А. К. Крутецкому, 6 марта 1958 г. (с. 394).—*Спасибо за журнал.*—Речь идет о присланном Крутецким журнале «Звезда». 1958, № 2, в котором опубликованы его рассказ «Отец и сын» и статья Д. Максимова «О старом и новом в поэзии Заболоцкого». *...здоровье моего сердца осталось в содовой грязи...*—В мае—июне 1943 г. после прибытия в лагерь в Алтайский край заключенный Заболоцкий работал чернорабочим на добыче озерной соды.

А. К. Крутецкому, 15 августа 1958 г. (с. 395).—*...с выходом в свет Вашей книжки...*—Крутецкий А. Капля в море. Рассказы и зарисовки. Л. Советский писатель, 1958. *...осенью буду в Ленинграде...*—Поездка не состоялась из-за ухудшения здоровья Заболоцкого. 14 октября 1958 г. он умер.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Никита Заболоцкий. Путь Заболоцкого</i> . . . . .	5
--	---

### СТОЛБЦЫ И ПОЭМЫ

1926—1933

#### ГОРОДСКИЕ СТОЛБЦЫ

Белая ночь . . . . .	15
Вечерний бар . . . . .	16
Футбол . . . . .	18
Офорт . . . . .	19
Болезнь . . . . .	19
Игра в снежки . . . . .	20
Часовой . . . . .	21
Новый Быт . . . . .	22
Движение . . . . .	23
На рынке . . . . .	23
Ивановы . . . . .	25
Свадьба . . . . .	26
Фокстрот . . . . .	28
Пекарня . . . . .	29
Рыбная лавка . . . . .	30
Обводный канал . . . . .	31
Бродячие музыканты . . . . .	32
На лестницах . . . . .	34
Купальщики . . . . .	36
Незрелость . . . . .	37
Народный Дом . . . . .	38
Самовар . . . . .	40
На даче . . . . .	40

Начало осени . . . . .	41
Цирк . . . . .	42

### СМЕШАННЫЕ СТОЛБЦЫ

Лицо коня . . . . .	45
В жилищах наших . . . . .	46
Прогулка . . . . .	47
Змеи . . . . .	48
Искушение . . . . .	49
Меркнут знаки Зодиака . . . . .	51
Искусство . . . . .	52
Вопросы к морю . . . . .	53
Время . . . . .	54
Испытание воли . . . . .	57
Поэма дождя . . . . .	59
Отдых . . . . .	60
Птицы . . . . .	61
Человек в воде . . . . .	62
Звезды, розы и квадраты . . . . .	63
Царица мух . . . . .	63
Предостережение . . . . .	64
Подводный город . . . . .	65
Школа Жуков . . . . .	66
Отдыхающие крестьяне . . . . .	69
Битва слонов . . . . .	71
ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. <i>Поэма</i> . . . . .	72
БЕЗУМНЫЙ ВОЛК. <i>Поэма</i> . . . . .	91
ДЕРЕВЬЯ. <i>Поэма</i> . . . . .	101

### СТИХОТВОРЕНИЯ

1932—1958

Я не ищу гармонии в природе . . . . .	109
Осень . . . . .	110
Венчание плодами . . . . .	111
Утренняя песня . . . . .	113
Лодейников . . . . .	113
Прощание . . . . .	118
Начало зимы . . . . .	118
Весна в лесу . . . . .	119
Засуха . . . . .	120
Ночной сад . . . . .	122
Все, что было в душе . . . . .	122
Вчера, о смерти размышляя . . . . .	123
Север . . . . .	123
Горийская симфония . . . . .	125
Седов . . . . .	127

Голубиная книга	128
Метаморфозы	129
Лесное озеро	130
Соловей	131
Слепой	132
Утро	133
Гроза	134
Бетховен	134
Уступи мне, скворец, уголок	135
Читайте, деревья. стихи Гезиода	136
Еще заря не встала над селом	137
В этой роще березовой	138
Воздушное путешествие	139
Храмгэс	140
Сагурамо	141
Ночь в Пасанаури	142
Я трогал листья эвкалипта	143
Урал ( <i>Отрывок</i> )	144
Город в степи	146
В тайге	148
Творцы дорог	149
Завещание	151
Жена	152
Журавли	153
Прохожий	154
Читая стихи	155
Когда вдали угаснет свет дневной	155
Оттепель	156
Приближался апрель к середине	156
Поздняя весна	157
Полдень	158
Лебедь в зоопарке	158
Сквозь волшебный прибор Левенгука	159
Тбилисские ночи	160
На рейде	161
Гурзуф	162
Светляки	163
Башня Греми	163
Старая сказка	164
Облетают последние маки	165
Воспоминание	165
Прощание с друзьями	166
Сон	166
Весна в Мисхоре	
1. Иудино дерево	168
2. Птичьи песни	168
3. Учан-Су	168
4. У моря	168

Портрет . . . . .	169
«Я воспитан природой суровой...» . . . . .	169
Поэт . . . . .	170
Дождь . . . . .	170
Ночное гулянье . . . . .	171
Неудачник . . . . .	171
Ходоки . . . . .	172
Возвращение с работы . . . . .	174
Шакалы . . . . .	174
В кино . . . . .	176
Бегство в Египет . . . . .	177
Осенние пейзажи	
1. Под дождем . . . . .	178
2. Осеннее утро . . . . .	178
3. Последние канны . . . . .	178
Некрасивая девочка . . . . .	179
«При первом наступлении зимы...» . . . . .	179
Осенний клен ( <i>Из С. Галкина</i> ) . . . . .	180
Старая актриса . . . . .	180
О красоте человеческих лиц . . . . .	182
Где-то в поле возле Магадана . . . . .	182
Поэма весны . . . . .	183
Последняя любовь	
1. Чертополох . . . . .	184
2. Морская прогулка . . . . .	184
3. Признание . . . . .	185
4. Последняя любовь . . . . .	186
5. Голос в телефоне . . . . .	187
6. «Клялась ты -- до гроба...» . . . . .	187
7. «Посредине панели...» . . . . .	188
8. Можжевельный куст . . . . .	188
9. Встреча . . . . .	188
10. Старость . . . . .	189
Противостояние Марса . . . . .	190
Гурзуф ночью . . . . .	191
Над морем . . . . .	192
Смерть врача . . . . .	193
Детство . . . . .	193
Лесная сторожка . . . . .	194
Болеро . . . . .	195
Птичий двор . . . . .	195
Одиссей и сирены . . . . .	196
Это было давно . . . . .	197
Казбек . . . . .	198
Снежный человек . . . . .	199
Одинокий дуб . . . . .	200
Стирка белья . . . . .	201
Летний вечер . . . . .	201

Гомборский лес . . . . .	202
Сентябрь . . . . .	203
Вечер на Оке . . . . .	203
«Кто мне откликнулся в чаще лесной?..» . . . . .	204
Гроза идет . . . . .	204
Зеленый луч . . . . .	205
У гробницы Данте . . . . .	206
Городок . . . . .	207
Ласточка . . . . .	207
Петухи поют . . . . .	208
Подмосковные рощи . . . . .	209
На закате . . . . .	210
Не позволяй душе лениться . . . . .	211
Рубрук в Монголии	
Начало путешествия . . . . .	212
Дорога Чингисхана . . . . .	213
Движущиеся повозки монголов . . . . .	214
Монгольские женщины . . . . .	216
Чем жил Каракорум . . . . .	217
Как было трудно разговаривать с монголами . . . . .	219
Рубрук наблюдает небесные светила . . . . .	220
Как Рубрук простился с Монголией . . . . .	221

СТИХОТВОРЕНИЯ,  
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ АВТОРОМ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

Сердце-пустырь . . . . .	223
Черкешенка . . . . .	224
Disciplina clericalis . . . . .	225
Дуэль . . . . .	226
Восстание . . . . .	228
Море . . . . .	230
Баллада Жуковского . . . . .	231
Лето . . . . .	232
Поход . . . . .	233
Пир . . . . .	234
Фигуры сна . . . . .	235
Поприщин . . . . .	236
Руки . . . . .	237
Мечты о женитьбе . . . . .	238
Падение Петровой . . . . .	239
Обед . . . . .	243
Сохранение здоровья . . . . .	244
Детство Лутони . . . . .	245
Солдатская песня . . . . .	248
Осень . . . . .	248

[Пастухи]	251
птицы. <i>Поэма</i>	253
Кузнечик	258
Начало стройки	258
В новогоднюю ночь	259
«Мир однолик, но двойственна природа...»	261
Песня дождя ( <i>Подражание С. Чиковани</i> )	261
«Когда бы я недвижимым трупом...»	262
«Медленно земля поворотилась...»	262
«Во многом знании — немалая печаль...»	263
«Разве ты объяснишь мне — откуда...»	263
Две встречи	264
Ненастье	264
Венеция	265
Случай на Большом канале	266
Тбилиси	267
Счастливый день	268
На вокзале	268
Генеральская дача	269
Железная старуха	271
После работы	271
«Собор, как древний каземат...»	272
Исцеление Ильи Муромца	273

#### ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Предсказание погоды	277
Из сборника «Ксени»	
Неправильное богатство	279
Что такое стишки	279
Бесплезная ученость	279
Уединение философа	279
Раздражение против В.	279
Неудачная прогулка	279
Отвращение к богеме	280
На получение зарплаты	280
Воспоминание о бане	280
Польза от молитвы	280
На расстояние между мной и Шварцем	280
Улетание Олейникова от нас	280
Покупка жене шубы	281
Вопрос Левину	281
Красота Груни	
«Я, как заведующий приложениями...»	281
Минута слабости	281
Безумное решение	281
Раскаяние в необдуманном решении	281
Возвращение к полезной жизни	282



«У некой дамочки с изъязном был роток...» . . . . .	282
Г-же Екатерине Ивановне Шварц (урожд. Обуховой)... . . . .	282
Счастливец . . . . .	283
«Мне жена подарила пижаму...» . . . . .	283
Наш праздник . . . . .	284
Похвальное слово о Колином телосложении . . . . .	286
Пишмашинка и автор . . . . .	286
Коля и блоха . . . . .	287
Догадливая курица . . . . .	287
Из записок старого аптекаря . . . . .	287

#### СТИХОТВОРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хорошие сапоги . . . . .	290
Сказка о кривом человечке . . . . .	293
Как мыши с котом воевали ( <i>Сказка</i> ) . . . . .	295
Картонный город . . . . .	297
Мистер Кук Барла-Барла . . . . .	298
О том, как мы на трамвайном языке разговаривали ( <i>Шутка</i> ) . . . . .	299
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ . . . . .	301

#### АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Ранние годы . . . . .	321
История моего заключения . . . . .	334
Картины Дальнего Востока . . . . .	345

#### ПИСЬМА

1921—1958

Касьянову М. И., 7 ноября 1921 г. . . . .	349
Касьянову М. И., 11 ноября 1921 г. . . . .	351
Юдину Л. А., 28 июня 1928 г. . . . .	353
Циолковскому К. Э., 7 января 1932 г. . . . .	354
Циолковскому К. Э., 18 января 1932 г. . . . .	355
Касьянову М. И., 10 сентября 1932 г. . . . .	358
Клыковой Е. В., 26 мая 1933 г. . . . .	359
Табидзе Т. И., 1 июля 1936 г. . . . .	360
Табидзе Т. И., 2 августа 1936 г. . . . .	361
Чиковани С. И., 14 ноября 1936 г. . . . .	363
Бажану М. П., 11 <декабря> 1936 г. . . . .	363
Гольцеву В. В., 12 ноября 1937 г. . . . .	364
Заболоцкой Е. В., 5 октября 1938 г. . . . .	366
Заболоцкой Е. В., 27 февраля 1939 г. . . . .	366
Заболоцкой Е. В., 15 сентября 1940 г. . . . .	367
Заболоцкой Е. В., 19 апреля 1941 г. . . . .	369

Заболоцкой Е. В., 19 марта 1943 г. . . . .	370
Степанову Н. Л., 4 февраля 1944 г. . . . .	371
Степанову Н. Л., 29 марта 1944 г. . . . .	372
Заболоцкому Н., 6 июня 1944 г. . . . .	374
Заболоцкой Е. В., 28 сентября 1944 г. . . . .	375
Степанову Н. Л., 20 июня 1945 г. . . . .	377
Степанову Н. Л., 4 июля 1945 г. . . . .	379
Заболоцкой Е. В., 28 апреля 1946 г. . . . .	380
Томашевской И. Н., 8 августа 1946 г. . . . .	381
Чиковани С. И., 4 февраля 1947 г. . . . .	382
Чиковани С. И., 26 марта 1947 г. . . . .	384
Десницкому В. А., 14 декабря 1947 г. . . . .	385
Шварцам Е. И. и Е. Л., 14 декабря 1947 г. . . . .	387
Чиковани С. И., 12 марта 1949 г. . . . .	388
Чиковани С. И., 6 июня 1953 г. . . . .	389
Крутецкому А. К., 2 января 1954 г. . . . .	390
Чиковани С. И., 19 июля 1955 г. . . . .	391
Чиковани С. И., 30 августа 1955 г. . . . .	391
Сергееву А. Я., 16 февраля 1956 г. . . . .	392
Татосову Г. Г., 11 мая 1956 г. . . . .	393
Крутецкому А. К., 6 марта 1958 г. . . . .	394
Крутецкому А. К., 15 августа 1958 г. . . . .	395
ПРИМЕЧАНИЯ . . . . .	397

**Заболоцкий Н. А.**

3-12 Избранные сочинения / Редкол. Л. Андреев и др.; Сост., вступ. статья, примеч. Н. Заболоцкого. — М.: Худож. лит., 1991. — 431 с. (Библиотека классики).

ISBN 5-280-01675-6

В том включены «Столбцы и поэмы. Стихотворения», собранные Н. А. Заболоцким в свой канонический свод, автобиографическая проза (в том числе «История моего заключения») и письма поэта.

3 4702010202-242  
028(01)-91 82-91

ББК 84Р7

БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

Советская литература

---

*Николай Алексеевич Заболоцкий*  
ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

\*

Редактор Н. Кузьмина  
Оформление «Библиотеки» И. Сальниковой  
Художественный редактор Л. Калитовская  
Технический редактор О. Ярославцева  
Корректор З. Тихонова

\*

ИБ № 6345

Сдано в набор 27.11.90. Подписано в печать 29.05.91. Формат 60 × 90<sup>1/16</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 27 + альбом = 28. Усл. кр.-отт. 31,12. Уч.-изд. л. 25,58 + альбом = 26,49. Изд. № III-4078. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1836. Цена 6 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени  
издательство «Художественная литература».  
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового  
Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография»  
Государственного комитета СССР по печати.  
113054, Москва, Валовая, 28

Scan Kreyder - 02.05.2019 - STERLITAMAK

